
С. Н.
ДУРЫЛИН
В СВОЕМ
УГЛУ

С. Н. ДУРЫЛИН

В СВОЕМ УГЛУ

Из старых тетрадей

• Московский рабочий •

1991

ББК77
Д84

Вступительная статья Г. Е. ПОМЕРАНЦЕВОЙ

Составление и примечания Е. И. ЛЮБУШКИНОЙ

Публикация А. А. ВИНОГРАДОВОЙ

Дурылин С. Н.

Д84 В своем углу: Из старых тетрадей.— М.: Моск. рабочий, 1991.— 336 с.

Читателю впервые предлагаются собранные воедино воспоминания, дневниковые заметы, записи разных лет замечательного русского просветителя, искусствоведа, доктора филологии Сергея Николаевича Дурылина.

Культурно-историческая, духовная, художественная среда России, Москвы начала века и 20-х годов оживает на страницах тончайшей мемуарной прозы повествователя. А вспоминает автор о своих духовных учителях и современниках: Льве Толстом, Владимире Соловьеве, Константине Леонтьеве, Павле Флоренском, Василии Розанове, Михаиле Нестерове.

Дурылина-мемуариста отличает самобытность, тонкость психологических характеристик, образность, искренность впечатлений, наблюдений и вместе с тем проницательность, философичность прозрений о судьбах культуры и человека в послеоктябрьской России.

Д $\frac{4702010201-134}{М172(03)-91}$ 87—91 **ББК77**

ISBN 5—239—01156—7

О СЕРГЕЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ДУРЫЛИНЕ

В октябре 1937 года, сообщая дочери, что вечером идет на именины к давнему своему другу Сергею Николаевичу Дурылину, писателю и археологу, историку литературы, театра, живописи, Михаил Васильевич Нестеров поделился с нею приятной новостью: Дурылины, «или, вернее, Ирина», построили «хижину» верстах в тридцати пяти от Москвы, и — «там будет комната, которая в любое время будет ожидать моего посещения...».

Дом строился в спешном порядке. Дурылин был болен—сдавало сердце, в марте 1936 года жене Дурылина Ирине Алексеевне врач-консультант сказал, что больного надо немедленно увозить из Москвы,— здесь, в городской сутолоке и домашней тесноте, он не проживет и трех месяцев. «Ужас охватил меня,— вспоминала Ирина Алексеевна,— и я все силы напрягла, чтобы спасти его» *. Удалось почти за месяц получить участок — в Болшеве. Устроив мужа в болшевский санаторий, Ирина Алексеевна принялась за строительство. Деньги были — у Дурылина только что прошла инсценировка «Анны Карениной», но не было строительных материалов. Шла как-то Ирина Алексеевна по Тверской, грустно опустив голову, в очередной раз раздумывая, где что взять, видит: чуть не под ногами рамы, много рам и дверей. Это взорвали Страстной монастырь. Рамы и двери ей охотно продали, но велели забирать их все — надо было очищать территорию,

* Статья написана на основе материалов семейного архива Дурылиных, предоставленных мне в свое время И. А. Комиссаровой-Дурылиной, а затем ее сестрой и наследницей А. А. Виноградовой. В статье, в частности, использованы копии материалов, оригиналы которых ныне хранятся в ЦГАЛИ.

близился первомайский праздник... К сентябрю, наконец, возвели сруб, настелили полы и потолок. Арочные рамы, да еще в большом числе, очень украсили жилище, придали ему необычный, своеобразный вид. 6 ноября Е. М. Шатрова и В. О. Топорков водрузили на новом доме флаг, красное полотнище, добытое по соседству в Мытищах. Так родилось «Дурылинское Болшево», которое Н. Д. Телешов назовет «Болшевским Абрамцевом». Почти на двадцать лет этот дом станет центром притяжения для многих театральных деятелей Москвы, актеров Малого и Художественного театров, ученых, писателей, художников, музыкантов.

По обычаю прежнего времени, строго соблюдаемому в доме, гости отмечались в альбоме прозой и стихами, и кто только не оставил тут своих автографов: Гудзий и Щепкина-Куперник, Козловский и Игорь Ильинский, Качалов, Хмелев, Рыжова, Елена Музиль, Леоненко, Чудинова, Свободин... Высокие бревенчатые стены болшевского дома слышали Н. А. Обухову, не единожды певшую здесь под гитару, видели Е. Д. Турчанинову, раз как-то даже в импровизированной роли сказительницы на рождественской елке. В болшевском яблоневом саду одна из скамеечек так и называется «нестеровской». Нестеров любил сидеть на ней, когда наезжал в Болшево *.

Хозяева вставали с восходом солнца, а то и до него, при срочной работе и в два-три часа. Вдвоем пили чай на террасе и расходились каждый по своим делам. До завтрака вместе с гостями — а в Болшеве постоянно кто-нибудь гостил — Дурылин успевал уже многое сделать и теперь был душевно раскрыт к гостю, готов к неторопливой и вдумчивой беседе с ним...

Когда Дурылина не стало и наступила пора воспоминаний о нем, возникла потребность «объяснить» его, понять секрет его притягательности для целой плеяды его блестящих современников.

История сохранила для нас первые впечатления А. А. Яблочкиной от посещения болшевского дома:

* По решению Министерства культуры РСФСР дом Дурылина в Болшеве станет музеем. Имя Дурылина носит болшевская библиотека, в основание которой положены книги из его собрания. Библиотека создана, во исполнение воли мужа, И. А. Комиссаровой-Дурылиной при поддержке артистов Малого и Художественного театров и местной общественности.

книги, книги, множество книг. Но истинным «кладезем» знаний был, как она тут же смогла убедиться, сам хозяин: «стоило назвать фамилию артиста, и сейчас же сыпались сведения: где служил, что играл и как играл...» По отзыву академика И. Э. Грабаря, «не было, кажется, ни одного сколько-нибудь заметного явления отечественного искусства, которого Дурылин не затронул бы в своих литературных работах, выступлениях, лекциях, никогда не повторяясь, всегда давая и новый материал, и новое освещение» *.

И все же не хлебосольство и радушие болшевского дома, не редкостная эрудиция хозяина как таковые привлекали к Дурылину его замечательных современников и даже не особая его ласковость к людям и мудрое жизнелюбие, которые отмечали все знавшие его, но прежде всего та атмосфера высокой мысли и высокого чувства, что постоянно сопутствовала ему,— то глубинное понимание им людей и явлений, которое Толстой ставил наперед всякого знания. Письма к Дурылину полны благодарности за «художественные наслаждения», полученные в его доме, а еще более — за возвышающие душу беседы об искусстве и жизни. «Искусство он понимал широко, хорошо и остро» — вот ценное для нас свидетельство А. А. Сидорова, искусствоведа и человека, с юности близкого Дурылину **. К этому следует лишь добавить, что сфера деятельности, и понимания, Дурылина — это, по определению Грабаря, вся русская художественная культура в ее прошлом и настоящем.

Источники своей многосторонней образованности указал сам Дурылин в одной из «повестей временных лет», как называл он автобиографии, написанные им в разное время и по разным поводам.

Истинным университетом для себя он почитал Румянцевскую библиотеку, где, еще юношей, день за днем, год за годом, «пожирал», по собственному его признанию, сотни томов — заполняя тетрадь за тетрадью выписками из прочитанных им историков, философов, критиков, поэтов. Стопкой рядом ложились тет-

* *Грабарь И.* Светлой памяти ученого и друга // Сообщения Института истории искусств АН СССР. М., 1955. № 6. С. 104.

** Из выступления члена-корреспондента АН СССР А. А. Сидорова на юбилейном заседании ученого совета Института истории искусств АН СССР 22 сентября 1972 г.

ради, куда он заносил живые впечатления от непосредственно увиденного — «Орлеанской девы» с Ермоловой в заглавной роли, «Горя от ума» с Ленским, «Доктора Штокмана» со Станиславским, от первых пьес Горького, поразивших его смелостью «мысли и слова». Театр, Малый и Художественный, он почитал своим вторым университетом. Своей Академией художеств называл Дурылин Третьяковскую галерею, где проводил долгие часы у полотен Репина, Сурикова, Крамского, Ге...

Знаменательный факт — Дурылин отметил здесь лишь те источники, из которых добывал знания сам, собственным своим трудом. А между тем он не миновал школы. Когда приспело время, был отдан в 4-ю, славную своим прошлым, мужскую гимназию — бывший благородный пансион при Московском университете. С 1910 по 1914 год слушал лекции в Археологическом институте. Но порог института Дурылин переступил уже двадцатичетырехлетним, вполне сложившимся человеком с ясным пониманием, для чего он здесь. Прельщали спецкурсы, читаемые академиком А. И. Соболевским, профессорами В. К. Мальмбергом, С. И. Соболевским, Н. И. Новосадским — по истории, первобытной археологии, древнерусской литературе, истории искусства, иконописи особенно (ее уже тогда он понимал как «пристанище русского народного гения», «и веры, и мысли, и красоты»). Что же касается гимназии, то Дурылин вышел из нее, будучи в шестом классе — в знак протеста против казенной рутины, как заявил он сам открыто и громко. «Этим я вверг в большое горе мою мать».

Восприимчивость к миру во многих его проявлениях — черта всей жизни Дурылина — пробудилась в нем очень рано. В шесть лет он уже писал стихи, в восемь увлекся древнерусской литературой — да так, что «Историю русской словесности» А. И. Незеленова знал наизусть. В десять вспыхнула в нем, детская пока еще, страсть к театру, к музыке. А в четырнадцать, живя летом в Ярославской губернии, он стал записывать, не прочтя еще ни одной этнографической книги, народные песни и присказки, зарисовывал и описывал бытующую старинную утварь. Надо ли удивляться, что юноше, готовому жечь свою свечу с обоих концов, казенная гимназия с ее неизбежным

формализмом показалась сковывающе тесной. «Страшное время» — так жестко определит Дурылин этот период своей жизни даже и четверть века спустя, в письме к фольклористу Г. С. Виноградову.

А между тем на поверхностный взгляд шестилетнее его пребывание под сводами пышного, в стиле рококо, растреллиевского дворца, где помещалась 4-я гимназия, могло показаться вполне благополучным. Правда, он не был в ладах с математикой, но зато «жил в дружбе» с латынью и греческим — преимущество в классической гимназии отменное. В четвертом классе вместо казенного сочинения он все чаще стал подавать словеснику свои собственные стихи и рассказы, за что А. Г. Преображенский, автор «Этимологического словаря русского языка», обычно выводил «пять». Все же «очень сильное» впечатление оставил по себе не словесник, а учитель чистописания А. Р. Артемьев, в недалеком будущем актер Художественного театра Артем — любимец Чехова.

К гимназическим годам относится первое выступление Дурылина в печати. То были стихи в честь Жуковского, воспитанника той же alma mater. Гимназическое начальство отнеслось с благосклонностью к дарованиям юного питомца — и стихи были помещены в «Московских ведомостях».

Гимназия вдохновила Дурылина и на первую в его жизни книгу. Однако то было сочинение совсем в ином роде — страстное обличение всего строя казенной школы, обоснование решения, которое пришло к нему в шестом классе,— бросить гимназию. Книга, однозначно названная «В школьной тюрьме», вышла в 1906 году в «Посреднике», где к этому времени уже работал ее автор. Перечитывая свой юношеский труд по миновению двух десятков лет, сам Дурылин отзовется о нем со смешанным чувством: «читаю наполовину со стыдом и наполовину не без радости». Но книгу заметили, болгары даже перевели, а издатель «Посредника» И. И. Горбунов-Посадов пригласил ее автора во вновь организованный им на базе «Посредника» журнал в качестве секретаря и «ближайшего сотрудника».

Журнал «Свободное воспитание», выходивший с сентября 1907 года, идейно восходил к педагогическим сочинениям Толстого и опирался на опыт Яснополянской школы, но отнюдь не замыкался в нем. Под

своей обложкой он объединил противников казенного воспитания самого разного толка. Для первого номера Толстой дал статью «Беседы с детьми по нравственным вопросам», что знаменовало собою возврат его к педагогической деятельности после перерыва почти в тридцать лет. Но сотрудники журнала ожидали с интересом и материалов Н. К. Крупской — время от времени они поступали из-за рубежа. Дурылин вел в журнале рубрику «Из книги и жизни». В его задачу входило повсеместно собирать — в России, Европе, Америке — крупицы опыта, которые работали бы на идею свободной трудовой школы. В основе этой идеи лежало признание в ребенке творческой личности. «Личность, творчество, самодеятельность» — так определял Дурылин принципы, которые новая педагогика противопоставила бытовавшему в школах «подражанию» и «пассивному восприятию».

В полном согласии с исповедуемыми принципами шло и собственное его самовоспитание. Он высоко ставил образованность, но не многознайство и был далек от мысли принимать за образованность калейдоскоп расхожих истин. Лишь добытое самим, пропущенное сквозь себя могло составить, как он полагал, фундамент для творящей по собственному внутреннему ходу личности. Соответственно и самодеятельность им понималась как право на творчество, сознательный разрыв со всякой и всяческой умственной рутиной, какими бы достойными именами она ни осенялась. Дурылину и потом всегда будет чужда профессиональная косность и одноплановость в любых их проявлениях. Список его работ, составивший около восьмисот названий, поражает не только широтой охвата материала, но и неожиданностью поворотов тем *.

Пытливостью оделила Дурылина сама природа. Но развитию редкой способности к сопряжению далековатых понятий, формированию широкого — и высокого — взгляда на искусство, научные и житейские проблемы способствовала, несомненно, его человеческая судьба. А она, в полном согласии со всем складом его натуры, отнюдь не была однолинейной. Порою, в гру-

---

* Список опубликованных работ Дурылина, правда, далеко не полный, см.: Сообщения Института истории искусств АН СССР. С. 110—118.

стную минуту, собственный путь представлялся ему и вовсе дробным, как бы распадающимся на отдельные разнохарактерные отрезки. Но как и чем бы он ни жил, он никогда, с ранней своей юности, не жил, затворившись от мира. И был предельно точен, когда говорил, что настоящая его школа — это сама русская жизнь, раскрывшаяся ему в самых различных ракурсах, во всей ее многоцветности и разноликости...

Сергей Николаевич Дурылин родился 27 (14) сентября 1886 года в купеческой семье средней руки. Отец его, Николай Зиновьевич, принадлежал к старому купеческому роду, издавна обосновавшемуся в Калуге, но почти всю жизнь прожил в Москве. Девяти лет он лишился матери, а в одиннадцать был отдан в «мальчики» к богатому московскому купцу Капцову, торговавшему шелком. Ревностным трудом дослужился до приказчика, и на свадьбу хозяин подарил ему лавочку — так, с торговли парчой у Ильинских ворот и началось торговое дело Николая Зиновьевича. «Мать моя... я имею некоторое основание думать,— писал Дурылин в частном письме,— что ее отец был не то лицо, которое значилось им официально,— не троице-сергиевский мещанин Кутанов, а один из представителей древнего русского княжеского рода». Имеется в виду род Дашковых.

Брак отца и матери Дурылина был вторым браком для обоих. Первая жена Николая Зиновьевича умерла, оставив ему одиннадцать детей. У Анастасии Васильевны от первого мужа детей не было. Мужа своего, умершего от чахотки через три года после свадьбы, она очень любила, после смерти его сильно горевала, и свекровь ее, женщина умная и волевая, сама вдова, нашла ей вдовца с одиннадцатью детьми, сказала: «Хотела идти в монастырь, вот тебе монастырь». Так Анастасия Васильевна стала женою Николая Зиновьевича.

Жили в Елохове, в Плетешках, в Плетешковском переулке, как бы в купеческой усадьбе. Анфилада просторных комнат, вместительные кладовые и чуланы, обширный «соловьиный сад». А вокруг сама русская история: слева, по преданию, обиталище Циклера, где тайно сходились противники Петра; позади — бывший дом Меншикова, а справа — помещичья городская усадьба с «лесом сирени» гвардии поручика

Ф. П. Макеровского, которого полвека как не было в живых, но в дни оны его писал сам Дмитрий Левицкий... В доме неукоснительно блюлись старинные обычаи — и общемосковские, и общекупеческие, и семейные. Радостью для детей были выезды на вольный воздух, на богомолье: в Тихонову пустынь, на Угреши (Николо-Угрешский монастырь на Москве-реке), к Троице.

Когда мальчику исполнилось шесть лет, отец и мать подарили ему письменный стол, настольную лампу с зеленым колпаком, простую чернильницу и собрание сочинений Лермонтова малого формата. Те, кому доводилось бывать у Дурылина в Болшеве, могли видеть в скромном кабинете тогда уже маститого ученого узкий письменный стол канцелярского типа, ту же лампу под зеленым колпаком и ту же простую чернильницу. Только Лермонтов («страстная любовь на всю жизнь») был представлен не одним, а многими изданиями, в том числе и теми, что были подготовлены и откомментированы Дурылиным.

Чуткое внимание родителей к сыну, его склонностям, позволившее им сделать поистине пророческий подарок, объясняется самой семейной атмосферой в доме, близостью к нему прежде всего матери. Недаром же Дурылин с такой почтительной, бережной нежностью заботился о матери всю ее жизнь.

Однако путь к письменному столу, под отъединяющую сень зеленого абажура, оказался тернист и долог. Благополучие рухнуло разом и бесповоротно — отец разорился, когда мальчику едва минуло десять лет, и вскоре умер. Жизнь сразу же обернулась своей изнаночной стороной. Сам ребенок, Дурылин уже начал репетировать состоятельных недорослей. Давал уроки за обед, за ужин, «а лучше бы хоть за пятачок», как с болью вспоминал он позднее.

Со временем число учеников стало расти, но крепнущее ощущение, что его призвание — литература, побуждало к действию. Уже были написаны исподволь «если не «горы», то «холмы» стихов и прозы», предприняты попытки историко-литературных экскурсов... И Дурылин послал в «Посредник» Горбунову-Посадову письмо, прося литературной работы. Был встречен здесь, по его словам, «с ободряющим приветом», зачислен в штат. И начались для него редакционные

будни: читка рукописей и корректур, составление сборников, переводы...

Историко-литературные экскурсы, в той части, в какой они могли служить целям педагогики, появились в «Свободном воспитании», в чреде чисто педагогических статей автора. В дальнейшем свою деятельность литературоведа Дурылин был склонен исчислять от 1908 года, когда в том же журнале была опубликована его работа о Гаршине — «Художник-праведник», отмеченная и Толстым, и друзьями Гаршина. А спустя год в журнале «Весы» выйдет его статья «Последнее письмо о. Матвея к Гоголю» и тем будет открыта для себя еще одна тема,— «любовь-вражда» к Гоголю не отпускала его затем всю жизнь. И то и другое укажет Дурылину, к чему влечет его душа — к биографическим разысканиям и разработке историко-литературных проблем на основании неизданных источников.

Не утихала и жажда собственного поэтического творчества. Кое-что из стихов и прозы увидело свет под маркой педагогической библиотеки Горбунова-Посадова. Но все это лишь подхлестывало желание овладеть магией слова. С тем и переступил он в 1910 году порог книгоиздательства «Мусагет», только что обосновавшегося на Пречистенском бульваре, в «трех комнатках квартиры неприметной, расписанной под стиль модерн...», как вспоминал Сидоров в стихах, посвященных им Дурылину шестнадцать лет спустя.

С редактором «Мусагета» Э. К. Метнером, литератором и философом, у Дурылина сложились добрые и все же далековатые отношения, правда, они обернулись приятным знакомством с его братом — композитором Н. К. Метнером. «Сблизился» же Дурылин с Андреем Белым и Эллисом — Львом Львовичем Кобылинским. У Белого только что вышел «Серебряный голубь» и уже замыслен был «Петербург». Белый надеялся, что «Мусагет» вдохнет в символизм, который переживал в ту пору кризис, живую душу, связывая это не в последнюю очередь с опубликованием своего важнейшего теоретического труда «Символизм». Он и был издан «Мусагетом» в 1910 году. Эллис — поэт-философ, переводчик Верхарна и Бодлера и страстный поклонник последнего, экономист по образованию и в качестве такового приверженец экономического учения Карла Маркса, почитатель Франциска Ассизского,

не обходивший вниманием и Игнатия Лойолу,— этот «фантастический» (слово Дурылина) по смеси идей человек был ярым защитником символизма. Однако уже в скором времени он изменил ему ради антропософии — увлечения, которое разделит с ним Белый. Позже столь же искренне изменил антропософии, приняв католичество... «Я между Дьяволом и Богом разорван весь»,— скажет Марина Цветаева от лица Чародея-Эллиса, старшего друга сестер Цветаевых с самого их детства,— в поэме, которую так и назовет «Чародей». А Дурылин напишет о нем, что был он смелый человек, самостоятельный и в своих исканиях, и в своих заблуждениях.

«Мусагет» виделся Дурылину «вольной академией литературы». В значительной мере, очевидно, он и был ею. Примерно так же — «нечто вроде академии» — определяет и Пастернак в автобиографическом очерке «Люди и положения» то, что сложилось вокруг «Мусагета». «Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовский, Эмилий Метнер, Шенрок, Петровский, Эллис, Нилендер занимались,— пишет Пастернак,— с сочувствующей молодежью вопросами ритмики, историей немецкой романтики, русской лирики, эстетикой Гете и Рихарда Вагнера, Бодлера и французскими символистами, древнегреческой досократовской философией. Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авторитет этого круга тех дней, первостепенный поэт...»

На занятиях у Андрея Белого, его «семинариях», изучалась ритмика и пластика стиха Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Делалось это с помощью «ритмического чертежа». Там «на фигуры и квадраты поэзию разметил карандаш»,— писал Сидоров, припоминая эти штудии, которых они с Дурылиным были большие поклонники. Сохранились несколько строк, написанных Андреем Белым на бланке «Мусагета». Письмо без даты, и трудно понять, о каком отъезде Дурылина и куда сожалеет Белый, но важны дальнейшие строки: «Надеюсь, что Вы будете мне писать. Не оставляйте нашего ритмического кружка. У меня на Вас и на Алексея Алексеевича (Сидорова.— *Г. П.*) вся надежда». Увлечение Дурылина ритмикой стиха нашло свой выход в большой работе «Академический Лермонтов и лермонтовская поэтика», опубликованной

позже, в 1916 году, в журнале «Труды и дни», издававшемся при «Мусагете» и выходившем при участии Блока, Брюсова, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Сергея Соловьева, Бориса Садовского, Густава Шпета, Эллиса... Дурылина в том числе.

На занятиях у Белого по ритму Дурылин видел однажды Блока — в 1911—1912 годах в «Мусагете» будет печататься трехтомное собрание его сочинений. Встречался он в «Мусагете» и с Владиславом Ходасевичем. «Сдержан, молчалив, укромен» — таким привык его видеть здесь Дурылин. Все же ему запомнилось одно майское утро, когда они с Ходасевичем «наперебой делились восторгами от стихов любимых поэтов»: Ходасевич открывал для себя Ростопчину, Дурылин — Щербину.

Мусагетские собрания бывали обычно в конторе издательства, но не только. По воскресеньям сходились в мастерской скульптора Константина Крахта на Пресне. Именно здесь Пастернак читал свой доклад «Символизм и бессмертие», Дурылин — о Вагнере и России. Обстановку, в которой это происходило, описал Пастернак. «В мастерской,— вспоминает он,— был жилой верх в виде неогороженных, свесившихся над ней полатей, а внизу задрапированные плющом и другой декоративной зеленью белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина». Когда читался доклад, часть публики слушала его сверху, свесив головы. Есть написанная в обычной пастернаковской стремительной манере записочка, где он просит Дурылина о встрече до того, как оба они будут у Крахта.

В 1911 году в «Мусагете» вышла поэтическая «Антология», где в обществе Владимира и Сергея Соловьевых, Блока, Андрея Белого, Волошина, Гумилева, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Владислава Ходасевича, Марины Цветаевой, Эллиса мы встречаем и Сергея Раевского, то есть Сергея Дурылина. Два года спустя четверо из молодых мусагетовских поэтов, Сергей Бобров, Семен Рубанович, Алексей Сидоров и Дурылин, издали на свои средства альманах «Лирика», пригласив в него четверых друзей. В альманахе дебютировали Николай Асеев и Борис Пастернак. Привел сюда Пастернака Дурылин...

Жена Дурылина, Ирина Алексеевна, ныне покойная, всю жизнь до последнего слова помнила решающий разговор со своим будущим мужем. Он спросил ее тогда: «Ты хотела бы быть богатой?» Она ответила: «Нет, вон висит на колышке одно платьице, другое на мне — и довольно». Слышать это от девушки из крестьянской семьи, рано лишившейся матери и родного дома, было неожиданно, странно. «Почему?» — «Богатство лишает нас свободы. А я бы хотела оставаться свободной».— «Зачем?» — «Чтобы всегда быть там, где я нужна людям».— «И давно так стала думать?» — «Всегда так думала...» Он благодарно сжал ее пальцы. С этого дня началось их очевидное сближение...

Дурылин «приобщился к революционным идеям», будучи еще гимназистом. Второе после панегирика Жуковскому его печатное произведение — стихи «Рабочая песня» — появилось уже в подпольном издании. Он и из гимназии вышел, понуждаемый не столько отвращением к казенщине, с которой все же кое-как мирился долгие пять лет, сколько возникшим вдруг совсем новым ощущением, что привилегиями, которые дает образование, пользоваться «стыдно и нехорошо». Ему было семнадцать лет, он учился в пятом классе, когда товарищ по гимназии Михаил Языков привел его в семью доктора Буткевича. Отец Миши, К. М. Языков, заведующий Измайловской земской больницей, умер три года назад. А. С. Буткевич стал его преемником. Это был образованный, революционно мыслящий человек, начитанный в политической и экономической литературе, современной тоже — он получал из-за границы нелегальные журналы. В прошлом толстовец, знавший Толстого лично,— Толстой бывал на хуторе Буткевичей в Русанове Тульской губернии — доктор Буткевич к тому же имел склонность к религиозно-философским исканиям. Все это, вместе взятое, делало его «духовным пастырем» в глазах молодежи, привлеченной в Измайлово не только содержательной беседой с хозяином дома, но и веселыми загородными прогулками в сопровождении его дочери, Т. А. Буткевич,— зимой на лыжах, а то и на розвальнях, в древний лес, называемый «Зверинец». Именно ей мы обязаны тем, что этот начальный период жизни Дурылина имеет некоторую документальную оснащен-

ность — она сохранила его письма к ней и отцу и оставила свои воспоминания о нем.

По свидетельству Татьяны Буткевич, в кругу своих товарищей Дурылин обращал на себя внимание какой-то особой «тихостью», серьезной сосредоточенностью, и Буткевич-отец выделял его из всех прочих своих подопечных. Сам же Дурылин, хотя и высоко чтил доктора Буткевича, прилепился душою к Мише Языкову. Буткевич оставила описание этой, казалось бы, несхожей пары: «Сережа был натурой созерцательной, мягкой, весь ушедший в себя, как бы боящийся внешнего своего проявления; Миша, напротив, был человек волевой, с мужественным красивым лицом, с какими-то широкими властными жестами и прекрасным голосом... В нем было что-то аристократическое и обаятельное, и, казалось, он был создан, чтобы властвовать и повелевать. Сережа явно ему подчинялся». В декабре 1903 года, пережив только что душевные бури, следы которых в письме Татьяне Буткевич от 23 февраля 1904 года, Дурылин месяц гостил у Языкова в Рязани. Потом еще два месяца интенсивно переписывался с ним, внутренно приводя себя в порядок. И наконец, принято решение: со следующего года он порывает со своей средой, будет жить с Мишей в Рязани и «исключительно своим личным трудом...». Возможно, душевные бури, потрясшие его в ноябре — декабре, были связаны с уходом его из гимназии и отношением к этому факту домашних. А может быть, с отъездом Языкова в Рязань. Как бы то ни было, но летом 1904 года Дурылин приезжал в Рязань, как приедет и в следующем... И жил он теперь, зарабатывая собственным трудом, но будущий, 1905 год застал его уже в «Посреднике».

Конечно, и в «Посредник», осененный именем Толстого, вели Дурылина не одни литературные чаяния. Он ценил отсутствие в «Посреднике» чисто коммерческого интереса и приверженность издателей идее народного просвещения. Копеечные книжки «Посредника», проделав нескорый путь в коробе офени, проникали в самую глубинку, неся туда Пушкина и Гоголя, Лермонтова, Толстого, Короленко, Горького...

Вокруг «Посредника», привлеченные сотрудничеством Толстого, группировались люди, искавшие случая послужить народу. Здесь, как, верно, ни в каком

ином месте, Дурылин смог увидеть великое множество народных заступников: одержимых поиском социальной истины «декабристов без декабря», сектантов...

Дурылин сдружился с толстовцем Н. Н. Гусевым, в ту пору секретарем «Посредника»,— он познакомился с ним в 1903 году в Рязани. Толстовская идея опрощения была не чужда Дурылину. Нравилось погружаться в «живую стихию народности». «Три года по летам,— писал он Виноградову,— я живал на Оке, в Рязанской губернии и там опять жил, общаясь с «народностью», хотя по-иному, чем в Ярославской губернии, ничего не записывал, а входя в жизнь, и жалел, жалел,— как жалели «народники». В эпоху 1904—1907 годов за разные формы «жаления» подвергался множеству обысков и трижды сидел в тюрьме месяцами. Все это было в Москве».

Тысяча девятьсот седьмой год, год подавления первой русской революции и начавшейся затем жесточайшей реакции, подвел подо всем этим черту. Мы не располагаем сведениями, которые позволили бы говорить о непосредственном участии Дурылина в Московском вооруженном восстании. Однако со слов Татьяны Буткевич известно, что, когда был схвачен Миша Языков и ему как члену боевой дружины грозил чуть ли не расстрел, спас его именно «тихий» Дурылин. С огромным самообладанием и страшным риском для себя он вошел с одеждой для Миши в часть, где тот временно содержался, и вышел оттуда вместе с ним... Но в 1906 году Михаил Языков вместе с товарищем, которого Дурылин тоже знал по кружку Буткевича, был убит жандармами в одном из провинциальных городков... Гибель друга была как обвал. Объясняя Татьяне Буткевич свою дружбу с Мишей, Дурылин сказал: «У нас с ним не только слова, мысли, чувства были общие, но мы как-то совсем были как один человек». Дурылин посвятил Языкову одно из самых проникновенных своих стихотворений, а тоска о друге так и осталась жить в нем.

Эта невосполнимая потеря заставила задуматься над тем, над чем ранее как-то и не думалось,— о жизни и смерти... Душа успокаивалась лишь на мысли о возможности бессмертия. Неизбежно вставал вопрос — ради чего были погублены эта и другие жизни. На письмо доктора Буткевича из Италии, из эмигра-

ции, откуда он побуждал своих последователей «дело делать» и укорял в отступничестве, Дурылин ответил не только от своего имени. Он обвинял старшее поколение в том, что они «натаскивали» молодых на революционное дело, не дав им времени самим выработать свою философию жизни, без которой невозможно какое-либо ответственное действие. С большой страстью, какой отмечено это письмо, он отводил упрек Буткевича в забывчивости. Нет, он ничего не забыл — ни голодных детей, ни цингу, ни мужиков, ищущих правды и ждущих ее от них, интеллигентов, но он уже не уверен, правда ли та правда, с которой они шли к мужикам, и в чем вообще правда. «А Вы знаете, что значит задуматься над этим всем и многим другим?» * Он не забыл ни тюрем, ни виселиц, ни погибших друзей, но он не хочет быть больше Дон Кихотом, он предпочитает видеть для себя образец в Гамлете с его мыслью о вечном, поскольку теперь он думает: «нельзя заниматься никакой политической деятельностью, нельзя проповедовать частных решений», когда мы не имеем решений общих и «нам неясны» коренные, «самые тревожно-властные» проблемы бытия. Для него Гамлеты — это «люди мысли, раздумья», они-то и есть создатели и двигатели всего, ибо это Джордано Бруно и Галилей, Кант и Герцен, Тургенев и Достоевский... Все они шли своим путем, и он отныне тоже пойдет своей самостоятельной тропинкой: пусть она будет узка и терниста, но она поведет его к цели, как он понимает ее, и риск его будет его риском. Ближайшие годы и станут для Дурылина поиском внутренних опор, как бы примериванием к себе то того, то иного, однако так, чтобы при этом остаться самим собой. Отсюда противоречивость интересов и устремлений, ясно видимая окружающим, и некая разноцветная радуга вокруг него, а в то же время наличие твердого центра, четко улавливаемого друзьями. Шло отталкивание от одномерности, «политэкономии»,— в сторону поэзии, искусства, философии, объемлющих весь многомерный мир. По сути, он высвобождался из связывавших его пут. Он ощущал себя поэтом, уже и был поэтом,— и даже автором приводившей друзей в восторг поэмы

* Письма Дурылина к Т. А. Буткевич и ее отцу, А. С. Буткевичу, цитируются по копиям, оригиналы их хранятся в ГБЛ.

«Дон Жуан». И стихийно поэтическое целостное восприятие мира со всеми его «да» и «нет» было самым естественным его состоянием.

В конце 1908 года, а может быть, несколько ранее, Дурылин начинает посещать кружок со странным названием «Сердарда». Собирались на Разгуляе, в мезонине старого деревянного дома, принадлежавшего генералу. Сын генерала, поэт и художник Юлиан Анисимов, объединил вокруг себя близких ему по духу молодых людей. О «Сердарде» рассказывает Борис Пастернак в очерке «Люди и положения». Здесь, по его словам, бывали поэты, художники, а также музыканты, и сам он именно в этом качестве — «читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом». Анисимов, Пастернак, поэт Сергей Бобров и Дурылин встретятся потом на страницах «Лирики». Вспоминая свой там дебют, Пастернак повторит в этом очерке сказанное им о Дурылине в «Охранной грамоте»: «Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах». «Сердарду» посещал, наезжая из Петербурга, редактор «Аполлона» С. К. Маковский, бывал тут А. М. Кожебаткин, с 1910 года секретарь «Мусагета»...

Казалось бы, жизнь обретала желаемые формы — появилась художественная среда. Как свидетельствует Т. А. Буткевич, Дурылин увлекся Пастернаком — не случайно же именно Пастернак отметил его «восторженную прямоту и убежденность». Дурылин даже напоминал ему Белинского, «как его рисует предание»,— для Пастернака Дурылин был открыт. Поправлялись материальные дела. Отныне он будет проводить лето в Пирогове, усадьбе купца-фабриканта Чернышева в качестве воспитателя двух его старших детей, с ними будет и путешествовать. Крепла дружба с семьей Разевигов, прежде всего с Всеволодом, Волей, студентом Московского университета.

Внешне все как будто устраивалось. Не было только поприща, как это называли в прежние времена, достойной точки приложения сил. «Свободное воспитание» могло удовлетворять эту жажду деятельности лишь в малой степени. Не вырабатывалась и общая идея. В душной атмосфере реакции Дурылин, как и большинство русских интеллигентов, ощущал себя

лишним человеком. И разочарование было тем острее, чем радужнее были упования. Приблизительно в это время Дурылин писал Татьяне Буткевич: «О, конечно, тут не мое одно несчастье и не мой один грех! Все мы, русские мальчики, поверив чуду, ждали, что вот оно над нами первыми свершится. И вот мы наказаны за это все от талантливых, гениальных, просвещенных, до самых простых, немудрых, от Белого и Блока до Северного и Воли... Увидеть первый задаток восхода, первую погасшую перед солнцем звезду, заметить и уже ждать, уже требовать почти, уже кричать с радостью, что солнце восходит — вот наш грех, вот наша кара: солнце для нас не взошло... Это не случайно, это не только литературная неумелость, это не бездарность моя, что я не мог написать второй части «Дон Жуана», что руки от нее отвалились, бумага становилась камнем, на котором тяжело было писать, ибо надо было чертить. 1-ая часть — ожидание чуда, луч, принятый за восход, за уверенность восхода, уже предтворчество восхода. И вот все смято: даже поэма, даже стихи... Что стихи!.. Страшно то, что так и в жизни. Вместо радостной чаши с вином — урна с пеплом. Тут ведь Белый только выразил, что и во мне, и в Воле, и в ком еще...»

20 октября 1909 года, в пору своей работы над жизнеописанием Гаршина, Дурылин посетил Толстого в Ясной Поляне. Горбунов-Посадов должен был быть у Толстого по делам «Посредника» и предложил ехать вместе. Встреча с великим старцем немного дала Дурылину как биографу Гаршина, Толстой не помнил приход к нему Гаршина, виновато улыбаясь, сказал: «Все забыл», и тут же: «Что-то прекрасное, чистое, доброе, страдающее». Но эта встреча заставила Дурылина наново перечесть страницы своей собственной жизни. В сущности, процесс этот шел подспудно все это время, но после поездки в Ясную перечитывание пошло как-то «прилежнее», «внимательнее». Что же открылось Дурылину в тот октябрьский день, целиком проведенный у Толстого? Об этом рассказал он сам в своих воспоминаниях о Толстом. Он уезжал от Толстого под «обаянием его личности», преисполненный «какого-то непротивления добру». Но смутное, хотя и сильное чувство это еще не было итогом, как не окончилось Ясной и его общение с Толстым. В течение не-

скольких недель тот словно стоял за его плечами — такой же, как в Ясной, «внимательный и уверчливый» — и под воздействием этого непреодолимого чувства стало мало-помалу выстраиваться новое мироощущение, где ожесточение и тоска уступили место любви,— любовь к людям становилась принципом, его новой жизненной позицией.

Нет, Дурылин не стал толстовцем. В воспоминаниях его о Толстом есть на этот счет вполне определенные строки. Старый ведун показался Дурылину «свидетелем и обитателем иной современности, чем наша», отдаленной от нашей «дальностями в столетия и тысячелетия». То, что для Толстого было «живой жизнью», Дурылину, человеку иного поколения, виделось «таким бесконечно дряхлым, ветхим прошлым, о котором мы не можем и помыслить». И сам Толстой для Дурылина — «последний мудрец, как был когда-то последний пророк, как будет, может быть, когда-нибудь, последний ученый». Здесь в каждом слове сквозь пиэтет к Толстому отчетливо проступает скептицизм: «последним» не может принадлежать будущее...

«1910 год — переломный»,— подчеркнул Дурылин в уже цитированном письме к Виноградову. Именно в этом, переломном году, отмеченном приходом сотрудника журнала «Свободное воспитание» в «Мусагет», и следует, очевидно, искать истоки устойчивого у Дурылина на протяжении последующих лет интереса к религиозно-философским проблемам. Суммируя в том же письме итоги гимназических лет, Дурылин указал среди прочего: «потерял веру в Бога». 1910 год вернул его, студента первого курса Археологического института, к «вере отцов». С осени 1912 года Дурылин становится секретарем Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева и остается им вплоть до прекращения деятельности его в 1918 году.

Религиозно-философское общество (или сокращенно РФО) объединяло последователей В. С. Соловьева, философа-поэта, религиозного мыслителя, стремившегося реформировать и церковь, создав единую вселенскую церковь, и само христианство, акцентируя этическую сторону учения и тем самым приближая его к современности.

Председателем общества был Г. А. Рачинский, он же редактировал религиозно-философский журнал

«Путь». Друг Соловьева, умершего всего двенадцать лет назад, друг Андрея Белого, поэт-философ, переводчик Гете и Ницше, Рачинский был старейшим в «Мусагете», и его, как вспоминал Дурылин, любили все, начиная от Вячеслава Иванова.

«Ум слишком обширный — противен» — так в раннюю пору записал в своем дневнике Толстой. Дурылин бы этого не написал никогда. В этом, несомненно, была иная современность; но и ясное осознание своих незаурядных аналитических способностей. А они обнаруживали себя тотчас, едва он прикасался к материалу, подлежащему научному исследованию. Поэт счастливо соседствовал в нем с ученым.

Летом 1911 года, имея при себе командировочное удостоверение Московского археологического института, Дурылин вместе с вологодской геологической партией отбыл в Архангельскую губернию. Сопровождал его в этом путешествии Всеволод Разевиг. Путь лежал через Архангельск на Соловки и Кандалакшу. Затем последовал двухсотверстный переход через Лапландию в Кемь, к берегам Норвегии и обратно. Конечная точка — Архангельск. Это была его третья по счету встреча с Севером. Впервые ему довелось побывать там пять лет назад, в 1906 году, в последний раз — в 1917 году. То была «покоряющая встреча» и с русской природой, и с «русской народностью», которые предстали перед ним в той удивительной чистоте и красоте, что, как замечает Дурылин, бывают только на Севере. С тех пор его «влекло туда неудержимо». Он даже и псевдоним себе выбрал тогда — Сергей Северный.

Книга путевых очерков, которую Дурылин привез из Лапландии, была написана пылко и романтично, что отразилось в самом названии ее — «За полуночным солнцем. По Лапландии пешком и на лодке». Она вышла в 1913 году в библиотеке Горбунова-Посадова. Но ни романтизм, ни желание видеть как можно больше не мешали Дурылину смотреть внимательно и углубленно. К путевым очеркам он приложил главу о лопарях, основанную в значительной мере на собственных наблюдениях. В том же путешествии 1911 года им был открыт на кандалакшской губе и описан доисторический вавилон, лабиринт из невысоких камней. Так появился его «Кандалакшский «вавилон», три го-

да спустя опубликованный в качестве приложения к «Отчету Московского Археологического института за 1911—12 гг.». Поездки на Север отложились и в исследовании «Древнерусская иконопись и Олонецкий край», напечатанном в 1913 году в Петрозаводске — в «Известиях общества изучения Олонецкой губернии» и, конечно, в серии докладов, где Дурылин стремился привлечь внимание общественности к русской художественной старине.

Однако все это были лишь частные решения. Ограниченность и относительность научных знаний не давали ответа на главный вопрос — что есть истина. А Дурылин стремился к истине, истине абсолютной и целостной. Недаром же доктор Фауст был страстной его привязанностью еще с юных лет. Его и символизм привлекал прежде всего потому, что он выходил далеко за рамки поэтической школы. Это был способ мышления, целостная теория познания мира... Во второй половине 1910 года Дурылин прочтет в семье Буткевич свою новую работу «Судьба Лермонтова». Он будет рассматривать Лермонтова в свете идей Владимира Соловьева, учения о «вечно-женственном» в связи с философией Платона (его изначальными сущностями) и Гете (финал «Фауста»). Позже он выступит с докладом на эту тему в РФО, а еще позже, в 1914 году, в виде статьи она увидит свет в «Русской мысли».

Летом 1912 года Дурылин впервые совершил поездку на озеро Светлояр. Он был там в «китежскую ночь», с 22 на 23 июня, в канун праздника Владимирской Божьей матери, собиравшего на берегу толпы паломников. Молились паломники, плыли по озеру, мигая, свечи, прикрепленные к обрубкам деревьев. По преданию, тому, кто поглядит на рассвете в тихие воды с верою, явится в смутных очертаниях отражение града Китежа, послышится глухой звон колоколов, отдаленное пение и привидится рать святого князя Георгия и китежские старцы в белых ризах... Согласно так называемому «Китежскому летописцу», имевшему широкое хождение среди старообрядцев, когда рать князя Георгия полегла у стен стольного города, защищая его от полчищ Батыя, город стал невидим по молитвам праведников. У легенды еще две версии: по одной — город ушел под воду, по другой — надежно укрыт землей.

Посещение Китежа послужило для Дурылина сильным импульсом к исследованию религиозно-философского смысла и значения Китежа в его прошлом и его настоящем, которые он увидел прежде всего в неиссякаемой вере народной в существование праведной, божеской церкви, невидимой, но доступной каждому, кто идет к ней путем духовного подвига. Результатом явилась работа «Церковь невидимого града», которая выйдет в издательстве «Путь» в 1914 году. Но до того, в марте 1913-го, Дурылин выступит с докладом на эту тему на заседании Религиозно-философского общества. Это будет его первый здесь доклад, и Дурылин сохранил приглашение, коим он извещался, что заседание имеет быть в квартире М. К. Морозовой на Новинском бульваре. Пройдет всего несколько месяцев, и в качестве секретаря общества он ближе познакомится с Маргаритой Кирилловной Морозовой, женой фабриканта М. А. Морозова, героиней «2-й симфонии» в прозе Андрея Белого. Она финансировала книгоиздательство «Путь».

В том же 1913 году «Мусагет» издаст книгу Дурылина «Рихард Вагнер и Россия». Здесь он впервые скажет печатно о Китеже как верховном символе русского народного религиозного и философского сознания. Однако в этой книге, в целом посвященной будущим путям искусства, предметом рассмотрения явится не сам Китеж, взятый в плане философии религии, а «Сказание о Китеже», его мифотворческая, «христиано-мифотворческая», как уточняет автор, сила. Что же касается будущих путей искусства, то они, по идее Дурылина, лежат там, где их прокладывал еще Вагнер, и современное русское искусство, по Дурылину, подтверждает это, ибо оно «бессознательно жаждет правды возрожденного мифа, правды искусства символического, мифотворческого и религиозного одновременно». А в этом, считал он, и есть «весь подлинный Вагнер». Сказанное Дурылиным соотносимо с мыслями Вячеслава Иванова, изложенными им в докладе «Заветы символизма», прочитанном в марте 1910 года в Обществе ревнителей художественного слова. Он говорил там о желательности для символизма как поэтической школы нового этапа, который назвал *синтетическим* символизмом.

В 1911—1913 годах Дурылин сближается с добро-

любовцами — П. П. Картушиным и Н. Г. Сутковым, в недавнем прошлом издателями запрещенного Толстого. Оба они пришли к Добролюбову от Толстого, после его смерти в 1910 году. А. М. Добролюбов, один из ранних русских поэтов-символистов, «крайний декадент не только на словах, но и на деле», как отзывался о нем Мережковский, был тем «китежанином», для которого встреча с Китежем перевернула всю жизнь. Он стал странником, «искателем невидимого града, града воцарившегося Христа». «Огромно и действенно,— пишет Дурылин,— было устремление этого человека к народной душе и вместе с нею к душе вселенской...» О Добролюбове и избранном им «древнем» пути сочувственные, полные уважения строки в дневниках Блока. Толстой говорил: у него «прекрасное лицо». То, что, как ему казалось, он понял там, в самой гуще народной жизни, Добролюбов попытался рассказать всем в книге, названной им «Из книги невидимой», она вышла в 1905 году в издательстве «Скорпион». А к 1913 году уже существовали братские земледельческие колонии добролюбовцев.

Облаченное в поэтическую символику учение добролюбовцев о божьей, «невидимой» церкви оказалось созвучным Дурылину. Хотелось верить, что через народ, его веру открывается сама истина. Увлекала идея братства, казалось, что на новой религиозной основе появилась возможность преодоления чреватой социальными катаклизмами разобщенности народа и интеллигенции. Дурылин ощущал это учение родственным толстовскому «по высоте и характеру нравственных требований», и здесь тоже ставили во главу угла «закон любви». Да и сам Толстой считал учение Добролюбова близким себе, но отмечал у добролюбовцев чуждую ему примесь мистицизма. Те же толстовцы, что примкнули к Добролюбову, превыше всего ценили его цельность — Добролюбов проповедь свою подтверждал самой жизнью. Это ценил и Дурылин, ставивший еще Гаршину в особую заслугу, что у него, говоря словами Жуковского, «жизнь и поэзия одно».

Вещественной памятью тех лет тесного общения с добролюбовцами остались издания, предпринятые Дурылиным совместно с ними на средства Картушина. Среди них: Лао-Си «Тао Текинг, или Писание о нравственности» (в современной транскрипции: Лаоцзы

«Дао дэ цзин. Книга о дао и дэ») в переводе японца Д. П. Конисси и под редакцией Л. Н. Толстого. Это было отдельное издание перевода, печатавшегося еще в 1894 году в журнале «Вопросы философии и психологии». Книга вышла в 1913 году в обложке работы В. А. Фаворского со вступительной статьей и примечаниями Дурылина, сделанными по китайским источникам — материалы дал Конисси. Картушину очень хотелось выпустить Лаоцзы, он сам любил эту книгу и знал, что ее «очень одобрял» Добролюбов. Предполагалось издавать серию книг по мистике — «Слово», Лаоцзы открывал собою эту серию.

Напечатали и «Цветочки Франциска Ассизского» в переводе со староитальянского А. П. Печковского и снова с предисловием Дурылина. Оно-то и позволяет увидеть, чем прежде всего привлек добролюбовцев этот памятник XIV века. «Цветочки» поняты ими не только как восхваление пути бедности и простоты, но и как заповедь бесконечной любви ко всему сущему на земле, единения с ним. Ведь и Добролюбов писал: «Пока погибает хотя одна последняя, самая презренная былинка степей, я не могу забыть: и она сестра моя...» Что же касается Дурылина, то его путь к «Цветочкам» был долог. Первое сильное впечатление он получил от Франциска Ассизского еще в детстве, когда прочел книжку о нем Свешникова в издании «Посредника». Он снова встретился с ним в кризисном для себя 1907 году, в тюрьме — там в руки ему попалась книга П. Сабатье о Франциске. Наконец, в 1911 году он вместе с Печковским издал сборник «Сказание о бедняке Христове», отмеченный Брюсовым в «Русской мысли». Здесь под псевдонимом Сергей Северный Дурылин поместил свое «Житие Франциска Ассизского».

«Цветочки» были изданы в 1913 году «Мусагетом», но без его марки. Изданы дешево, чтобы обеспечить им путь в народ. Для дурылинского предисловия были специально выписаны книги из Италии. Но кое-что было и в Москве. Дурылин открыл «Speculum perfectimos». («В чем радость совершенная») Франциска Ассизского, чтобы взять несколько цитат для предисловия, и захотелось перевести книгу целиком. Война 1914 года оборвала работу... Как положила предел и всем прочим широким замыслам добролюбовцев.

В 1916 году Картушин, будучи призван в армию и находясь в санитарной команде, покончил с собою, не в силах вынести ужасов войны.

В канун 14-го года, 1 декабря 1913 года, Дурылин прочел в РФО публичную лекцию о Лескове, что означало для него переход к новой теме. (В том же году он читал своего «Лескова» у Бердяевых.) На лекции в РФО присутствовали Г. А. Рачинский, С. Н. Булгаков, правовед и философ Е. Н. Трубецкой, Вяч. Иванов, М. В. Нестеров. Была здесь и мать Дурылина Анастасия Васильевна, которую он познакомил с Нестеровым, словно предвидел, что именно Нестеров станет уже в недалеком будущем близким ему человеком. Летом 1914 года Дурылин еще успеет по командировке Археологического института пропутешествовать в Олонецкий край, в Пудож. Объявление войны застанет его за окончанием первой части книги о Лескове, которая предназначалась для издательства «Путь». Он побывает еще по делам издательским в Ярославле, вместе с Э. К. Метнером послушает ростовские колокола... Полный самых тягостных предчувствий, съездит на несколько дней в калужское имение Морозовых. 11 ноября внезапно, от удара, умерла Анастасия Васильевна.

Жизнь не вдруг изменила свое русло, но уже очень скоро оказалось, что источники, питавшие ее, со смертью матери разом обмелели. По прошествии более чем десяти лет, разбирая в Муранове автограф письма Тютчева к матери, Дурылин сделал в дневнике следующую запись: «О как мне знакомо это чувство! Как мне страшно и беспомощно, гибельно и больно без матери! Как «послал» бы я себя к ней! Некуда...»

Внешне все оставалось, как прежде: доклады, РФО, преподавание, журнал «Свободное воспитание» — в армию из-за сильной близорукости его не взяли. Но в июле 1915 года он напишет Т. А. Буткевич: «Я был на пороге двух аскетизмов: в юности рационалистического интеллигентского, теперь стою на пороге полумонашеского... И я знаю, что должен стоять, постояв, переступить этот порог и уйти... А во мне борется что-то, я люблю молодость, красоту...» И тут же: «Со смертью мамы я потерял самую оправдывающую нужность своего существования, и теперь мне не найти ее...» Он начинает собирать материалы о Кон·

стантине Леонтьеве, словно присматриваясь к его пути от консула в Солониках и автора любимых им «восточных повестей» к тайному постригу в Оптиной пустыни и месту последнего упокоения его души — Троице-Сергиевой лавре. Теперь уже сам ход работы ведет Дурылина в Оптину пустынь и к Троице. Летом и 16-го и 17-го года он часто встречается с Нестеровым, который живет в Абрамцеве, в версте от абрамцевской усадьбы Мамонтовых. В самой усадьбе, в бывшем домашнем театре, был размещен лазарет для слепых солдат — жертв отравляющих газов, примененных немецким командованием в той войне. Нестеров ходил к солдатам побеседовать и писал с них этюды. В его картине «На Руси», посвященной «трудникам исторического дела России», слепой солдат займет место на первом плане. «Война, Россия. «Что будет?» — это и стало, отодвинув остальное в сторону, вопросом жизни»,— писал Нестеров в письме другу еще в 1915 году. Судьбы России, ее пути были главной темой размышлений и в его встречи с Дурылиным, в их совместных долгих прогулках по абрамцевским лесам и перелескам.

В один из дней после длительной бессонницы, в состоянии крайнего нервного истощения Дурылин приехал к оптинскому старцу Анатолию с решимостью уйти в монастырь. Но мудрый старец, поговорив с ним, посчитал, что пока он не готов к этому...

Еще в январе 14-го года Дурылин написал письмо В. В. Розанову. Он писал, что много лет собирался это сделать и теперь хочет сказать ему, что «во многом, самом важном, с чем ни к кому не обратишься», он был ему «врач» и «помощник», потому что на свою «прилежно таимую» боль и скорбь он получал отзвук у Розанова, у него же находил и подтверждение своей радости. Он писал далее, что, если бы так случилось, что подлежали бы уничтожению все книги за прошедшие десять лет и ему разрешили бы оставить себе только две, он выбрал бы Флоренского и «Уединенное» Розанова. Флоренского, очевидно, «Столп и утверждение Истины. Опыт православной Феодицеи». А если бы одну, то «Уединенное», а если бы и вообще ни одной, то он украл бы и, смяв в комочек, засунул себе куда-нибудь в ухо страничку «Уединенного». Теперь рядом с ним, в Лавре, были и Флоренский и

Розанов. Как свидетельствует С. Н. Булгаков, однажды узнав Флоренского, Розанов «затем не мог уже от него оторваться, как от источника жизни...» *.

Дурылин близко узнал Розанова на самом «кончике» его жизни — Розанов умер в 1919 году. К этому времени многое отстоялось и в самом Розанове. Да и Дурылин, вопреки безоглядному этому письму, не склонен был «канонизировать» всего Розанова. Но несомненно, что он воспринимал Розанова шире, а понимал глубже многих и не обманывался резкой сменой его верований, сопровождавшейся громкими о том публичными заявлениями, его рискованными парадоксами и полемическими крайностями — всем тем, чем Розанов так удачно эпатировал современников. Мудрым змием называл Розанова Горький. Дурылину оказалась дорога и розановская любовь к Лермонтову, и его «религия брака», и чуткость к «вещному миру» — вообще открытость Розанова всем «поворотам бытия», каждым из которых он способен был «зачаровываться». «Это,— замечает Дурылин,— называют «импрессионизмом мысли» — одни, перевертничеством — другие». В свете сказанного будет понятна и мысль Дурылина, что писательство Розанова, где в художественном сплаве слиты воедино и философия, и религия, и социология, и литература,— это и не писательство в обычном понимании этого слова, но «совокупление с человеком, с природой, с миром, с Богом»...

В 1917 году, летом, «у Троице», Нестеров написал двойной портрет Флоренского и Булгакова и дал ему обобщенное название «Философы». В своей книге о Нестерове, не расшифровывая прототипов, Дурылин описывает этот портрет, по сути, ведет рассказ о людях, которых знал в жизни. Два философа воспринимаются им как воплощение двух разных темпераментов: Флоренский — «темперамента мысли», Булгаков — «темперамента сердца». Если один в постоянном напряжении «мыслительного внимания ко всему, что видит, слышит, знает», то другой — в неустанных душевных волнениях о «проклятых вопросах», о смысле жизни, сущности религии, судьбах родины... Впер-

---

* Цит. по ст.: *Игумен Андроник (Трубачев), Флоренский П. В.* П. А. Флоренский // Литературная газета. 1988. 30 ноября.

вые Дурылин увидел Флоренского именно у Булгакова, в Москве, в крещенский вечер 1913 года. Днем дома, на Переведенском («в зальце стояла елка, мама хлопотала...»), он еще только дописывал свою книгу о Китеже, а вечером уже читал из нее у Булгакова, и там был Флоренский. Прошло всего пять лет — и все разительно переменилось внутри и вокруг. В 18-м году Дурылин видел Флоренского каждый день и выбор тем для бесед был обширен, так как Флоренский, профессор кафедры истории философии Московской духовной академии, занимался в ту пору одновременно богословием, философией, математикой, иконографией, искусством, филологией, историей литературы. Следуя своему методу универсального мышления, Флоренский в каждой специальной области, к которой он подходил строго научно, стремился выявить общие закономерности, указывающие на связь основных законов мироздания. А это вкупе с анализом исключений, где природа «проговаривается»,— чем Флоренский интересовался особенно — позволяло ему подойти к созданию целостной картины миропорядка.

В 1918—1920 годах в Троице-Сергиевой лавре работала комиссия по охране памятников искусства и старины. Флоренский в комиссии — ученый секретарь и хранитель ризницы. Была произведена опись историко-художественных ценностей Лавры, результатом чего явился декрет за подписью В. И. Ленина о превращении Лавры в музей. В 19-м году, оставив брату свою комнату, Дурылин переселяется жить в Сергиев Посад. Он член комиссии и занимается описью лаврских реликвий XVII века. Одновременно готовится к принятию священнического сана. Это его решение принять священство определит жизнь Дурылина на ближайшие пятнадцать лет, если не сказать, на все последующие годы, хотя священником он был всего два года и три месяца, со 2 марта 1920-го по июнь 1922 года.

Когда-то Толстой, просматривая номер «Свободного воспитания», обратил внимание на замечание Дурылина, что свободой должен обладать в равной мере и тот, кого воспитывают, и тот, кто воспитывает. Через Горбунова-Посадова Толстой передал Дурылину свое мнение на этот счет: «Я согласен: свобода. Свобода нужна. Но свобода всегда бывает для чего-нибудь и от чего-нибудь. Свобода от насильствен-

ного обучения — это понятно, но для чего нужна человеку свобода? Можно ею воспользоваться для чего угодно. Настоящая свобода возможна только при соблюдении нравственного закона. Только религиозный человек — свободный человек». Так, поясняет Дурылин, рассказывая этот эпизод, Толстой сформулировал свой «окончательный взгляд» на «верховную задачу воспитания и образования». В связи с новым своим умонастроением Дурылин, по существу, возвращается к этой мысли Толстого, а в 18-м году обращается к редактору журнала «Свободное воспитание» с открытым письмом. Постулату Руссо, который он и сам исповедовал прежде,— что искусство воспитания состоит в том, чтобы не воспитывать,— Дурылин противопоставляет теперь утверждение о необходимости сознательного и целенаправленного воспитания себя самого и окружающих в том нравственном законе, которое дает христианство. Вот этот свой новый взгляд на воспитание он и намеревался теперь подтвердить практикой. Знавшие Дурылина в его молодую пору говорят, что у него был особый педагогический дар. Татьяна Буткевич свидетельствует, что его занятия ничего не имели общего с обычными уроками и поэтому у него были не ученики, а воспитанники.

Для прохождения «стажировки» Дурылина определили к отцу Алексею Мечо́ву, в церковь «Никола-Кленики». Сын регента знаменитого митрополичьего Чудовского хора, Алексей Мечов и сам по себе был человеком известным и глубоко почитаемым в своем кругу. Оптинский старец Анатолий говорил москвичам: зачем едете к нам, у вас самих на Маросейке есть Алексей Мечов. Именно Мечову, своему приходскому священнику, его пониманию человечьей души, беседам с ним, Дурылин был обязан тем, что так и не стал монахом, а принял священство.

Здесь, в «Клениках», Ирина Алексеевна и познакомилась со своим будущим мужем. Она вспоминает: «1920 год — первый год священства Сергея Николаевича. Это был самый разгар в народе бедствий, болезней и голода... Отец Алексей Мечов, очень хороший,— подобрал себе штат священнослужителей, хороших проповедников с высшим образованием и руководил ими. Совершались службы, особые, по древнему уставу, ночные богослужения для подкрепления и ободре-

ния народа». Оказывалась помощь «бедным, беспомощным и больным» прихожанам. Их держали на учете и каждую субботу выдавали паек — горох ли, картофель, что удавалось достать, «с таким расчетом, чтобы неделю можно было варить суп для подкрепления сил». По домам ходили «сестры», Ирина Алексеевна в их числе. «Первое,— рассказывает она,— приводили в порядок комнату, а затем живущих в ней. Помоешь, бывало, стекла, вымоешь пол, наладишь топку печурки, обогреешь комнату, выстираешь, вымоешь; тифозно-больных всех острижешь и обреешь, избавишь от насекомых, накормишь — и так посещаешь дня три, покуда кто-нибудь из больных не начнет вставать, чтобы ухаживать за лежащими...»

Дурылин вел с прихожанами «назидательные беседы» и два раза в неделю занимался с детьми. Жил в четырехметровой холодной комнате, при постоянных «стуках» — люди шли один за другим; «просьбы, слезы...». Дурылин «недосыпал, надоедал, был плохо одет, а если что и появлялось у него из одежды, то у него крали,— например, плед матери, он же служил и одеялом». В этих и для всех тяжелых условиях непрактичность Дурылина особенно чувствовалась. «Сергей Николаевич был очень беспомощен, неприспособлен к жизни». После голодного обморока, которому Ирина Алексеевна была свидетельницей, она стала подкармливать его. Работала она тогда в Москвотопе, часто дежурила в столовой. Там варили ржаную кашу, распаренную рожь, «ее ели плохо, и всегда много оставалось, мне давали ведро, а то и два». На эту кашу по воскресеньям к Ирине Алексеевне сбегалась знакомая молодежь. Ею кормился теперь и Дурылин...

20 июня 1922 года Дурылин был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму, а затем полгода провел во Владимирской тюрьме. Через А. В. Щусева хлопотали перед Луначарским. Ответ его был таким: он сможет помочь, если только Дурылин снимет рясу. Луначарский знал то, чего не знал Дурылин: он разделил участь многих. В августе 1922 года из России были высланы 160 человек, в том числе наиболее яркие представители религиозно-философской мысли — Бердяев, Булгаков... Не без душевных борений решился Дурылин на этот вынужденный шаг. Уже по-

сле возвращения его из ссылки Нестеров в два сеанса написал его портрет в священическом облачении. Это был едва ли не последний раз, когда он надел рясу. Портрет назван «Тяжелая дума».

В ссылку, в Челябинск, вместе с Дурылиным уезжала Ирина Алексеевна. На это ее благословил Мечов, сказал: «Поезжай с ним, он нужен народу». Так начались с перерывом в два с половиной года восьмилетние ссылки Дурылина. В Челябинск приехали с рекомендательным письмом из Главмузея. Здесь организовывался краеведческий музей. Дурылин стал одним из основателей, а затем и заведующим археологическим отделом музея. Он возвратился к своей археологической специальности. Летом вел раскопки курганов под Челябинском. Результаты раскопок отложились в двух специальных работах: одна увидела свет в Челябинском краеведческом сборнике, другая в «Записках уральского общества любителей естествознания».

В Челябинске, не оставляя «Лескова», Дурылин начинает работать над «Суриковым» и «Врубелем». Тогда же он предпринимает труд, которому суждено стать уникальным благодаря многолетней дружбе и редкому взаимопониманию автора и его героя. Он пишет важнейшие разделы будущей книги о Нестерове, посвященные циклу картин о Сергии Радонежском, основателе Троице-Сергиевой лавры. Рукопись послана на отзыв Нестерову. Проходят томительные дни ожидания — и, наконец, получен удовлетворяющий ответ. Нестеров не скрывает своей радости от прочитанного, его итог: «Словом, так о моих «Сергиях» еще не писали...»

К середине декабря 1924 года Дурылин возвращается в Москву. До следующей ссылки времени всего ничего, но он этого, естественно, не знает. Однако, когда читаешь его записи, которые он начал вести в Челябинске и продолжал в Москве, ощущение, что он как бы зависает в невесомости. В эти годы он — внештатный сотрудник ГАХН, Государственной Академии художественных наук, ученый секретарь ее — А. А. Сидоров. Но и ей осталось существовать пять лет... Бюллетени академии рисуют благополучную картину — Дурылин читает много докладов. К старым темам, прежде всего «Леонтьеву», получающим

иные ракурсы, присоединяются новые: Достоевский (в частности, «Моление старца Зосимы»), А. Добролюбов, И. Ф. Горбунов. Но штатной работы нет, в Москве жить негде, в Посад возвращаться не к чему, советоваться, как привык, о жизни своей, не с кем — ни оптинского старца отца Анатолия, ни Алексея Мечова в живых уже не было. Дурылин живет все больше в Муранове. Занимается Тютчевым, что выльется затем в ряд статей, по-прежнему зарабатывает на жизнь преподаванием. На этот раз его воспитанник — К. Пигарев, правнук Тютчева по матери, будущий литературовед. Лето 1927 года Дурылин проводит в Коктебеле. На короткий срок Коктебель возвратил его в прошлое. В Коктебеле был Сидоров, Сергей Соловьев, был, конечно, Волошин — словно опять вернулся «Мусагет»...

Но глубокая осень застала Дурылина уже на пути из Новосибирска в Томск, да и это была удача, что Новосибирск поменяли на Томск,— здесь была фундаментальная библиотека и можно было продолжать научные занятия. Правда, негде было печататься. Получив от Н. К. Гудзия письмо с очень высокой оценкой его работы «Из семейной хроники Гоголя», корректуру которой читал в это время Гудзий, Дурылин записал в дневнике: «Вот какие книги — не хуже «Гоголя» — я мог бы немедленно издать...» И дальше перечень: «Лермонтов», «Лесков», «Три очерка о Достоевском», «Художники живого слова», «К. Леонтьев», «Из эпохи русского символизма», «Воспоминания (Толстой, Розанов, Артем, Кожевников, Фудель и др.)», «Нестеров», «два-три тома рассказов и томик стихов»... Более других повезло «Лермонтову» и «Нестерову». Пользуясь любой возможностью прикоснуться к заветной теме, Дурылин развернул ее в ряде книг. Они и стали выходить начиная с 1934 года: «Как работал Лермонтов», «Герой нашего времени», «Лермонтов» (серия «Великие русские люди»). «Нестеров» осуществился при жизни Дурылина лишь в форме краткого обобщающего очерка в военном 42-м году и позже — книги «Нестеров-портретист». Через одиннадцать лет после смерти Дурылина его фундаментальная монография о Нестерове увидит свет в серии «Жизнь замечательных людей», но и она явится в урезанном виде, сообразно времени и месту издания. И поныне

рукопись в полном объеме еще ждет своего издателя. А многолетняя работа над Константином Леонтьевым нашла применение лишь в комментарии, правда, обширном, к автобиографическому очерку самого Леонтьева, опубликованному в 1935 году в «Литературном наследстве». И это — все... В декабре 1926 года Нестеров в письме А. П. Остроумовой-Лебедевой, художнице и доброй своей знакомой, сказав, что давно знает и любит Дурылина, далее писал: «К сожалению, в наши дни его труды обречены надолго быть под спудом. Он как писатель обречен на безмолвие... А между тем многое из написанного им — прекрасно, оригинально, глубоко по чувству и совершенно по форме. С. Н.— прирожденный лирик с умом и чутким сердцем. Им хорошо усвоено все лучшее, что дала старая школа наших художников слова; а все им пережитое так богато, так много дало ему матерьяла. Темы его охватывают огромный духовный мир».

В сложившейся ситуации что-то, очевидно, что могло быть написано, и не было написано. Но записки, которые Дурылин ведет начиная с Челябинской ссылки и которые уже имеют название «В своем углу», ему не мешают вести мысли о невозможности их скорого издания. Он продолжает писать их и в Томске, и в Киржаче... Следовало, правда, опасаться пропажи, и Ирина Алексеевна прятала их в бельевую корзину на случай обыска. Записки были отдушиной, это был разговор с самим собой. Позади — целый пласт жизни, ко многому в нем возврата не было, в этом Дурылин имел возможность убедиться в недолгий промежуток между ссылками. Но все в нем — и отошедшее, и имевшее будущее — подлежало тщательному и бескомпромиссному обдумыванию. Следы этого обдумывания — в записках. В одной из тетрадей 1932 года Дурылин отметил, что если раньше он читал мемуар В. Печерина, чтобы узнать, как он, блестящий ученый, из славной плеяды «лишних людей» сороковых годов, пришел в католичество, то теперь читает, чтобы понять, как он из католичества ушел. И заключил: «вот вся *моя* история». Мысли о Боге и церкви занимают в записках малое по числу страниц, однако весомое место. Они не однозначны. Среди них такая, от осени 1926 года: «Вера прекрасна, но... не верится», «всему человечеству не верится». И как

предположение: вера — это «состояние», быть может, человечество, перейдя некий рубеж, вступило в тот возраст бытия, когда не верится просто потому, что не верится, как в старости не спится, хотя в юности спалось... Не оставляет его боль от сознания упадка церкви, ее несостоятельности, возникшей не сегодня, вдруг, но обернувшейся перед лицом грядущих социальных потрясений трагической неспособностью противостоять вражде и насилию, предотвратить их. Снова и снова он обращается к образам тех, кто заблаговременно пытался реформировать церковь «видимую», как В. Соловьев, или искал «невидимую», как А. Добролюбов, кто публично и резко выражал свою неудовлетворенность официальной церковью, как Мережковский и Розанов. Правда, Розанов кончил дни свои в лоне этой церкви, примиренный с нею, но способность в свои «да» поставить «нет» и наоборот Дурылин всегда считал признаком мужества.

К Розанову он обращается чаще, чем к кому-либо. «Я многое читаю как бы под его взором, как бы с ним рядом — над одной книгой...» Это ощутимо в записках. Ведь и название их — «В своем углу», как Дурылин и сам обнаружил, оказалось словно заимствовано у Розанова, хотя и было придумано им в качестве возможного названия для журнала задолго до того, как, пересматривая «Новый путь», увидел его у Розанова. Да и сам характер записок, где прихотливо переплетено «высокое» и «низкое», духовное и житейское, при непременном возвышении «низкого», их диапазон от Феодицеи Флоренского до огорода, потоптанного курами, их исповедальность — здесь многое перекликается с Розановым, его «Уединенным», «Опавшими листьями». Даже мелькающие у Дурылина пометы в конце записей, фиксирующие не только дату, но обстоятельства, в которых пришло соображение, воспоминание, типично розановские: «В вагоне, ожидая отправления в Мураново», «За чтением «Из восточных мотивов» или «Проезжая Лосиный остров»...

Однако если можно думать, что форма записок навеяна чтением Розанова, то содержание их доподлинно дурылинское. Отложившиеся в записках занятия — выписки из источников, рассуждения по их поводу, литературные ассоциации — позволяют видеть: Дурылин в ссылке продолжает сосредоточенно работать

как литературовед. 1929 год: «Тютчев, Пушкин и Лермонтов на столе...» Для Пушкина у него особая рубрика, названная характерно — «Мой Пушкин». И во всем, кого бы и чего он ни касался,— Пушкина ли, целого ли периода литературы,— принципиальное утверждение бытия литературы во всей присущей ей полноте и многомерности. Заметив с горечью, что историки литературы за отсутствием своих мыслей занимают их у критиков, он продолжает: «Но почему всегда и вечно у Белинского, Добролюбова, Михайловского,— и никогда у К. Леонтьева, Страхова, Говорухи-Отрока, Розанова, Перцова...»

Сознательно противостоя самим названием записок — «В своем углу» — уже наметившейся ставке на усреднение мысли и единообразие душ, насильственно выключенный из привычного потока жизни, Дурылин тем не менее с нею не разобщился, жизнь имела для него цену в любом ее проявлении. Его мир по-прежнему включал все, что попадало в поле зрения, а сердце вмещало всех, кто к нему тянулся. Именно потому столь удобной оказалась для него та широкая форма записок, которую он избрал. Она позволила ему фиксировать самые разные проявления этой жизни и даже включить сюда переписку с друзьями, которые не оставляли его в ссылке,— письма Нестерова, Волошина, Богаевского, Пастернака, Звягинцевой (иногда в стихах), Фалька, Гусева, Гудзия, Георгия Чулкова...

Да и в самой ссылке появлялись новые друзья — друзья на всю жизнь. В один из дней раздался робкий стук у входной двери, и через минуту хозяйка, у которой Дурылины снимали комнату, встревоженно сообщила: «Вас спрашивает какой-то монах». Но то был не монах, а этнограф и фольклорист Георгий Семенович Виноградов, профессор Иркутского университета, сотрудник журнала «Сибирская живая старина». Обманула внешность: вид скромный, подстрижен «под скобочку»... Оказалось, будучи командирован в Новосибирск и зайдя в местную редакцию, Виноградов увидел на полу какую-то бумажку, поднял ее — и то был томский адрес Дурылина, приславшего сюда свои воспоминания о Толстом. И вот приехал познакомиться.

Виноградова свел с Дурылиным счастливый слу-

чай, но не случайным было то, что, узнав Дурылина, он до конца жизни сохранил к нему глубокую привязанность, черпая в беседах с ним, помимо всего, и душевные силы. Ведь сняв рясу священника, Дурылин не изменил своей сущности. И хотя он пытался уговорить себя, что путь духовного пастыря, с которого его насильственно столкнули, не единственно возможный для него путь, и хотя вера его перед лицом всего происходящего, не столько с ним, сколько вокруг, подвергалась тяжелому испытанию, он до конца дней своих останется глубоко верующим человеком, живущим по заветам Христа. Да и пасторство было его призванием, он и сам осознавал это, только применительно к новым условиям предпочтет обозначать его в иных терминах — *педагогика.*

Многие возле него, ссыльного, отогревались в эти страшные годы. Однажды он записал: «Человек — это то, что должно быть отогреваемо. Говорят, отогревает религия, искусство, наука. Нет: человек — человека». Ему самому постоянной и неизменной опорой была Ирина Алексеевна. И, несомненно, свой опыт имеет в виду Дурылин, когда в 1926 году заносит в записную книжку такие слова: «Есть таинственное материнство жены к мужу». Свято выполняя волю Мечова и действуя сообразно велению своей любящей души, Ирина Алексеевна взяла на себя все тяготы их жизни, храбро заслоняя собою брата по духу и мужа от ударов судьбы, насколько это было в ее возможностях. За два года до кончины, ноябрьским днем 1952 года, как бы подводя итог своей совместной с Ириной Алексеевной жизни, Дурылин напишет в тетради, куда жена, по его просьбе, заносила свои отрывочные воспоминания: «Четверть века назад... Был тогда такой же серенький день, как сегодня... как вот сейчас, в полдень, но не снежняло, не дождило, да и снега еще вовсе не было: ровная, осенняя, спокойная погода. Я вышел и встретил тебя... И вот с этой встречи началась новая жизнь,— и вот уже четверть века эта жизнь вся обласкана, озабочена, выношена, выстрадана, выпасана тобою,— одной тобою. Ты и есть название и смысл этой жизни».

В 1930 году при содействии И. С. Зильберштейна и В. Д. Бонч-Бруевича удалось перебраться поближе к Москве, в Киржач. Зильберштейн заказал Дурылину

для «Литературного наследства» исследование о Гете. Впереди была столетняя годовщина Гете, и работа оказалась срочной. Из Германии прибыли книги — при тусклом свете керосиновой лампы трудно было читать готический шрифт. Все же тридцатилистный труд «Русские писатели у Гете в Веймаре», выполненный в полгода, Дурылин сдал в срок. Близость к Москве позволяла Ирине Алексеевне ездить к Зильберштейну за материалами, которые добывали через ВОКС (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей),— работа основывалась на документах русских архивов и архива Гете в Веймаре. Зильберштейну и Бонч-Бруевичу к тому же удалось выхлопотать Дурылину поездку в Москву. В альбоме Дурылина сохранились две записи от 23 мая 1933 года. Одна — стихи Звягинцевой, с которой Дурылин был знаком еще со времени «Мусагета», другая — строчки Пастернака: «На счастье Сереже среди раздорожья».

В конце 1933 года и в самом деле перебрались в Москву. Но при переезде багаж, где были рукописи, бесценные книги, многие с автографами,— все, что Ирина Алексеевна успела перевезти в Киржач из Москвы, сгорел. Загорелся пакгауз, не горевший до того чуть ли не пятьсот лет. Дурылин слег, пришлось поместить его в Новодевичью нервную клинику, пробыл он там всего восемь дней — больше не выдержал... Однажды на книжном развале Ирина Алексеевна увидела комплект театрального ежегодника. Человек, от природы раскрытый миру, не поддающийся унынию, она сразу же поняла — его надо купить, и купила на последние деньги. Ежегодник вернул Дурылина к жизни. Несколько дней он не отрывался от чтения, и понемногу силы стали прибывать к нему. Это было как перст судьбы. Ежегодник словно указал путь, которым надлежало следовать дальше. Увлечению театром Дурылин отдался с тем большей страстью, что оно тронуло живые струны воспоминаний: воскресли собственные еще юношеские театральные впечатления, рассказы матери о театральных спектаклях и театральных людях, виденных и узнанных ею в детстве. Эти материнские воспоминания были столь дороги Дурылину, что когда, уже завершая свой путь, он обратился, наконец, к Ермоловой, к которой шел медленно, исподволь, словно взвешивая

всю огромность темы, то посвятил эту капитальнейшую из своих работ памяти матери своей Анастасии Васильевны.

В середине 30-х годов Дурылин — старший научный сотрудник Музея Малого театра. Он продолжает давно им задуманную и начатую в Киржаче, трудом о Гете, серию фундаментальных исследований на тему «Из истории литературных отношений России и Западной Европы», останавливаясь на тех связях, которые наименее освещены в русском и европейском литературоведении: «Г-жа де Сталь и ее русские отношения», «П. А. Вяземский и Revue encyclopédique», «Александр Дюма-отец и Россия»,— все в значительной мере по неизданным источникам. Но тогда же он обращается к работам, которые, не выпадая из рамок литературоведения, относятся уже к области театроведения. Это прежде всего обстоятельное исследование «Пушкин на сцене» и ряд монографических работ, посвященных сценическому воплощению драматургии Островского и Горького. Переход этот от литературоведения к театроведению совершился для Дурылина естественно, так как он не мыслил себе углубленного занятия драматургией без четкого представления о ее сценическом воплощении. Уже в предвоенные годы Дурылин становится одним из самых популярных театральных критиков *. Он широко ведет лекционную работу, выступая в Москве и многих других городах,— от Всероссийского театрального общества, Московского университета, Союза писателей, членом которого является с 1934 года.

В 1944 году по ходатайству Института мировой литературы имени А. М. Горького, где начиная с 1938 года Дурылин работает в двух группах — Лермонтовской и Толстовской, ему присваивают звание доктора филологических наук. В следующем году Дурылин становится одновременно профессором, заведующим кафедрой истории русского и советского театра ГИТИСа, Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, и старшим научным сотрудником сектора истории театра вновь организованного Института истории искусств АН СССР.

* См.: *Кузьмина В.* С. Н. Дурылин: Краткий очерк научной деятельности // Сообщения Института истории искусств АН СССР. С. 106.

В 1949 году Дурылин награжден орденом Трудового Красного Знамени.

С Институтом истории искусств он будет тесно связан до самой своей кончины 14 декабря 1954 года. Дурылин постоянный и непременный участник обобщающих трудов, предпринимаемых институтом,— исследований по истории русского, советского театра, истории Малого, Художественного театра... Произошел некий синтез. Многоодаренная натура Дурылина, всесторонняя образованность, все его прежние данности историка, философа, этнографа, поэта, литературоведа, искусствоведа, в добавление к новым, нашли счастливое применение в занятиях театром. «Я всегда поражаюсь,— говорил Дурылин на одном из заседаний в Институте истории искусств,— что многие, пишущие о театре, считают возможным жить келейно, они не общаются в широкой форме с сопредельными искусствами. Возьмите типичную театральную рецензию, как правило, она не говорит о живописной стороне дела, о декорациях, о костюмах, о музыке. Почему? Да потому, что автор совершенно не знает соответствующих областей».

В отличие от большинства своих коллег Дурылин эти области знал и излюбленную свою идею о важности — ради понимания целого — изучения связей на любом уровне мог подтвердить практикой. Свободно перемещался в своих исследованиях по *вертикали* — от века к веку, и *горизонтали* — переходя из страны в страну, от одного вида искусства к другому, будь то поэзия, музыка, живопись или архитектура. Он замысливает и частично осуществляет цикл работ «Пушкинское тридцатилетие в русской литературе». Параллельно разработке литературных связей России и Западной Европы занимается выявлением взаимосвязей в русской литературе и живописи. «Врубель и Лермонтов», опубликованная Дурылиным в 1948 году в «Литературном наследстве» глава обширного исследования «Врубель», которое он писал, начиная с Челябинска, послужила ему поводом для утверждения плодотворности метода сравнительного изучения литературы и живописи. Он считал этот метод настолько перспективным, что оговорил свой приоритет, отсчет сравнительному изучению повел от своей работы 1926 года «Репин и Гаршин».

Но как ни манили Дурылина широкие обобщения, учитывающие по возможности все основные области культуры, они для него никогда не заслоняли собою самого носителя культуры — человека. В длинном списке работ Дурылина — редкое обилие имен. По подсчету искусствоведа Н. А. Солнцева, он оставил около восьмидесяти портретов и зарисовок одних лишь артистов. Многим посвящены отдельные книги. Это прежде всего кроме упомянутой «Ермоловой» обстоятельные монографии о П. Садовском и М. Заньковецкой, это целая галерея портретов, куда вошли Айра Олдридж и Радин, Щепкин, Корчагина-Александровская, Качалов, Рыжова, Москвин, Пашенная, О. Садовская, Хохлов, Яковлев... В бумагах Дурылина остались два плана задуманной им и неосуществленной книги «Театральные портреты», в более полном — свыше сорока имен.

Человек привлекал Дурылина тем больше, чем своеобразнее, сложнее, насыщеннее был его внутренний мир. Две взаимосвязанные вещи стремился он уловить, вглядываясь в жизнь своего героя,— *стержень характера* и *мотив внутренней жизни*. Предельно проявить этот мотив, не дать времени поглотить работу человеческого духа — в свете этой как бы по долгу совести взятой на себя задачи следует рассматривать и тщательный труд Дурылина по подготовке к изданию сочинений Лермонтова, и комментирование им писем Гоголя (для полного собрания сочинений Гоголя он отдал все свое собрание его автографов), и его борьбу за возможно полное, вплоть до речей, издание академического Островского. В этой связи стоит и серия работ, которую можно было бы определить общим названием «В мастерской художника», и его деятельное сотрудничество в «Литературном наследстве».

Дурылин продолжает вести биографические разыскания. Еще в 1935 году, как бы подводя итог своим занятиям Гаршиным, помещает в «Звеньях» большую работу, освещающую наименее известные к тому времени эпизоды жизни Гаршина. На протяжении ряда лет он публикует в различных изданиях материалы к биографии Гоголя. И целенаправленно пополняет свой архив. Архив этот он вел еще со времен «Посредника». Многое из того, что сбрасывалось тогда в редакционную корзину, изымалось им оттуда и вна-

чале оседало в ящике письменного стола, а затем, когда появился Болшевский дом, размещалось на полках в специально предназначенных для этого картонных папках.

Архив рос прежде всего за счет современников, и Е. Д. Турчанинова была совершенно права, когда говорила, что каждый из болшевских гостей мог бы на полочке у Дурылина найти себя. Пытаясь спасти от забвения то, что, пока живы люди, еще можно спасти, Дурылин всех своих знакомых побуждал писать воспоминания: вдову Г. С. Виноградова — о муже, Шатрову и Обухову — о себе, Н. А. Прахова — о тех, кто бывал в их доме в Киеве: о Врубеле, Мурашко, Васнецове, Нестерове. Самого Нестерова — о себе и других... «Давние дни», эти «портреты пером» Нестерова увидели свет при деятельной поддержке Дурылина.

Во время войны, отрезанный в Болшеве от Москвы болезнью, Дурылин обращается к своим мемуарам, деля время между ними и новым исследованием — «Русские писатели в Отечественной войне 1812 года». Он возвращается мыслью к своему истоку, к отчему дому, и пишет две части задуманных и начатых еще в Киржаче воспоминаний — «Родное пепелище» и «Родные тени». Тогда же перечитывает свои записки «В своем углу». Кое-что поясняет, но ничего не правит.

К этим запискам, выдержки из которых вместе с его воспоминаниями об отчем доме предлагаются вниманию читателя, Дурылин относился как к документу своего времени. Для него в них был запечатлен опыт человека двадцатых годов, который имел ту биографию, которую Дурылин имел тогда, а не в сороковые годы, когда просматривал текст. Если же при этом учесть, что опыт этот был глубок и разносторонен, а написаны записки раскованно и с предельной искренностью, то не будет преувеличением сказать, что записки Дурылина «В своем углу», взятые в их полном объеме,— это одна из главных его книг, которую еще предстоит открыть.

Г. Померанцева

В РОДНОМ УГЛУ

Часть первая

РОДНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как. . . . . пустыня
И как алтарь без божества.

Пушкин

Глава 1

У БОГОЯВЛЕНИЯ В ЕЛОХОВЕ

«Николаевская, 72» — так, еле научившись писать, писал я в Петербург к любимой сестре своей (по отцу) Варе, вышедшей туда замуж, и мне, ребенку, казался скучен такой адрес. Я тогда еще не получал писем, но отцу или матери писали так: *«В Москву, у Богоявления, что в Елохове, в Плетешках* (или *в Плетешковском переулке), в собственном доме»*.

Петербургский адрес и нынешний московский (Полянка, 23, 14) — это не более, как телеграфный значок. Старый московский адрес был сгустком исторически сложившейся народной жизни, был живым свидетелем этой жизни.

«У Богоявления, что в Елохове»!

Этим не только назывался церковный приход, к которому мы принадлежали: церковь, где нас крестили, венчали и отпевали,— этим указывалась живая связь нашей местности с историческими судьбами Москвы.

Когда отец отправлялся в лавку, в Богоявленский переулок (ныне Куйбышевский проезд.— *Е. Л.*) между Никольской и Ильинкой, или, когда мама собиралась за покупками в ряды, на Красную площадь,— это называлось ехать *в город*. Это и действительно значило ехать *в город,* за каменные стены Китай-города, через Ильинские или Владимирские ворота, крестясь на образа с теплящимися лампадами над этими городскими старинными крепостными воротами. Это же значило, что в Елохове, где мы живем, не город, а что-то другое. Так это и было в старину. Елохово в XVI веке было пригородным селом. Свое имя оно получило от елохи, ольхи; соседняя местность, на северо-запад от Елохова, и в конце XIX века называлась Ольховцы. Подмосковное Елохово было родиною подвижника, высоко чтившегося старою Русью, пред кем безмолвствовал Иван Грозный и о ком англичанин Д. Флетчер [1] с уважением и удивлением писал в своем «Сказании о Московии» как о праведнике, «который решался упрекать покойного царя в его жестокости и во всех угнетениях», каким он подвергал народ. Елохово было родиной Христа ради юродивого, блаженного Василия, чьим именем народ назвал место его погребения — великолепный Покровский собор, воздвигнутый зодчими Бармой и Постником по приказу Ивана Грозного. В Святцах 1646 года сказано: бл. Василий «родился от отца Иакова и матери Анны в Царствующем Граде Москве у Пречистыя Богородицы Владимирския на Елохове». Это было в 1468 году. В одном из списков жития Василия Блаженного писано: «Егда деспе возраста того внеже обычно отроку навыкати научитися рукоделию, грамоте бо не учися, но отдан бысть родительми рукоделию сапожнину». Эта старинная запись описателя жития была жива в народной памяти исконных насельников Елохова; памятовали и то, что блаженный, обличавший царя, родился в Елохове, и указывали место рождения, во владении Сохацкого (80-е годы), на границе между Елоховым и Красным Селом, памятовали и то, что блаженный Василий был простец родом и сапожник по ремеслу.<...>

Памятовало Елохово и другое, более близкое событие из своей жизни — избавление от холеры в 1830 году. Ежегодно ранней осенью в храме Богояв-

ления * совершалось в воспоминание этого избавления торжественное богослужение... <...>

Храм Богоявления, что в Елохове, считался в Москве самым поместительным из всех приходских церквей. Любители спорить утверждали, что больше Богоявления был храм Василия Неокесарийского на Тверской, но им возражали, что не больше, а равен. По величественности здания с высоким светлым куполом, свидетельствующим, что строивший его талантливый архитектор Тюрин[2] помнил о Петре в Риме. Церковь Богоявления казалась не приходским храмом, а собором большого города.

Да Богоявленский приход и был по пространству и населению равен хорошему процветающему уездному городу.

Вокруг Елохова были расположены слободы и села, также не входившие некогда в пределы Москвы: с запада — две Басманных, Старая и Новая, некогда слободы «басманов», дворцовых пекарей; с северо-запада — Ольховцы с рекой Ольховкой, с прудами и дремучими садами, сохранившимися от времен стародавних; на север было Красное Село с церковью Покрова, с Красным Прудом, примыкавшим непосредственно к Ярославскому вокзалу и засыпанному уже после 1905 года; на северо-восток и восток Елохово упиралось в то самое Покровское-Рубцово, о котором сложена известная песня «Во селе Покровском», приписываемая народной молвой императрице Елизавете Петровне, которой принадлежало Покровское-Рубцово; на юго-восток лежала знаменитая Немецкая слобода (или Кукуй), вскормившая Петра Первого; на юг было Гороховое поле (ныне улица Казакова.— *Е. Л.*), с бывшим *загородным* дворцом Разумовского, превращенным в женский институт, и с церковью Вознесения, построенной самим М. Казаковым; юго-западный угол занимал Разгуляй, некогда при московских царях славившийся разгульным кабаком, а в наше время вмещавший «храм науки» — Вторую классическую гимназию.

---

* История храма Богоявления была историей роста самого Елохова. До 1722 г. здесь существовала деревянная небольшая церковь. В 1739 г. была выстроена и освящена каменная, а к половине XIX века уже воздвигнут великолепный храм. (Здесь и далее по тексту постраничные примечания С. Н. Дурылина.)

Приход Богоявленский был шире и больше самого Елохова: он включал бывшую Немецкую слободу, превратившуюся в густо населенный фабричный район, и огромную «палестину» (это слово было в ходу для обозначения большого пустынного пространства) между Красносельским (ныне Средняя Переяславская улица.— *Е. Л.*) и Рыкуновым переулками (ныне Балакирев переулок.— *Е. Л.*), застроенную лабазами и амбарами, питавшими Москву мукою и крупою, поступавшею с товарной станции Рязанской железной дороги. От Яузы, отделявшей Немецкую слободу от Лефортова, до Басманных, от Красносельской до Вознесенской (ныне улица Радио.— *Е. Л.*) — это по плану Москвы был здоровый кус города, пестрый по населению и еще более пестрый по жизненному укладу. Усталый ветеран старинной Немецкой слободы лютеранская «кирка» св. Михаила; осколки петровской эпохи в виде домов Брюса, Меншикова, Менса, давным-давно перешедших к купцам и фабрикантам; Головинский дворец, в котором останавливалась при наездах в Москву «Елизавет 1-я» и Екатерина II и в котором Александр I взывал к дворянству и купечеству о помощи против Наполеона, дворец, давно превратившийся в холодное угрюмое пыльное здание Военного архива; остатки Лефортовского дворцового сада с неподвижными прудами, затянутыми зеленой ряской, с темными одичалыми липовыми аллеями, с многоколонной беседкой Миловидой с изломанной Эоловой арфой; загрязненное, захудалое, застроенное мещанскими домишками «владение Ананьиных», на пустыре которого стоял некогда дом, в котором родился Пушкин. И бок о бок, вперемежку с этими остатками Петровской Московии, изнеженной эпохи императриц и дворянской Москвы XVIII — начала XIX столетия, возвышались высокие, обидно-безобразные кирпичные корпуса фабрик, трехэтажные рабочие спальни, каменные купеческие лабазы с кулями муки, холодные мрачные амбары со свиными и бычьими тушами, кокетливо-безвкусные купеческие особняки с резными металлическими навесами над подъездами, безархитектурные, все на один пошиб доходные дома, в три, редко в четыре этажа, бесцеремонно, как хищники, ввалившиеся в спугнутую стаю одноэтажных домиков и домушек с антресолями и с бельведерами, оставших-

ся от того времени, когда эта местность вблизи Головинского дворца была модной в дворянском кругу. К характеру местности, начинавшей жить усиленной промышленно-торговой жизнью, очень шло, что в ней — и для контраста — на Коровьем броду! — находилось Высшее техническое училище, где уже начинал читать лекции будущий отец русского воздухоплавания профессор Н. Е. Жуковский, славившийся тогда больше своею феноменальной рассеянностью, чем своими научными заслугами. В Техническом училище уже в 1890-х годах начинали пробиваться первые ключи революционного движения, а в 1905 году оно на несколько дней, пока там лежало тело убитого большевика Баумана, стало революционным очагом для всей Москвы: оттуда направилась через весь город знаменитая похоронная демонстрация с гробом Баумана.<...>

Под боком была Рязанская железная дорога, но с «городом» Елохово соединялось тихоходной конкой, которую обывательницы предпочитали называть «каретой», да ямщиками, немногим более скороходными «линейками», а в зимнюю пору — широкими, развалистыми санями, называемыми «узелками».

Как густо было заселено простым народом, мастеровыми и фабричными (слово «рабочий» в широком просторечьи редко употреблялось) Елохово, можно было видеть, если войти в церковь Богоявления в храмовой праздник или, еще лучше, в Светлую заутреню.<...>

...Стоят плечо с плечом, грудью в спину, спиной в грудь. Несколько тысяч человек в церкви — и все «простого» народу: в армяках, в чуйках, в высоких сапогах, с волосами в скобку, густо промасленными деревянным маслом. <...> Для порядка при свершении религиозных церемоний (раздача вербы или святой воды, прикладывание к «празднику» — к вынесенному на середину церкви образу, христосование с духовенством) в церковь вводился наряд полиции во главе с околоточным, и городовые были сущими мучениками: так сжимала, давила и теснила их необъятная толпа.

<...> Для воров тут был простор; в жуткой тесноте они проделывали невероятные вещи: например, наметив даму в чернобурой лисьей шубе, или ротонде, они, плотно прижавшись к ней сбоку, спереди и сза-

ди, преблагополучно вырезывали из ротонды большой клин драгоценного меха и исчезали с ним в толпе. <...>

Крестины и похороны были непрерывным ежедневным явлением у Богоявления, а каждое воскресенье, часов в 3, в 4, в церкви венчали пара за парою новобрачных, богатых и бедных, и всегда находились зрители, любители этих торжеств. <...>

Со времени чумы 1772 года было запрещено хоронить покойников подле церкви внутри города, и все городские погосты были закрыты, но на тенистом «монастыре» (так назывались участки земли при церквах, обнесенные оградой) — погосте Богоявления в Елохове были приметны еще следы могил под зеленым дерном, а над одною могилою еще стоял простой деревянный крест.

Это многолюдство прихода было так велико, что не в пример прочим приходам у Богоявления вместо одного священника было трое, а четвертый, так называемый ранний батюшка, не занимая штатного места, с приходскими доходами, получал от старосты ежемесячное вознаграждение: он служил ранние обедни и был особенно любим простонародьем.

И колокол на высокой колокольне под нерушимым соколиным гнездом был у Богоявления как на соборной колокольне: могучий, широкогласый. <...>

Таково же было и духовенство: важное, голосистое, осанистое, что твои соборяне. <...>

Диво дивное для того, кто знает старый церковно-приходской быт: целых три просвирни питались «даянием благим» богоявленских прихожан — так много потреблялось просфор за обедней, а во многих московских приходах прихожане еле «поднимали» одну захудалую просвирню, перебивавшуюся если не с хлеба на квас, то с карася на окуня. Богоявленские же просвирни были сами подобны хорошо выпеченным румяным крупным просфорам. <...>

Про Елохово говаривали в Москве *«народный* приход». Если требовалась какая-нибудь благотворительная или патриотическая жертва, вызываемая нуждами времени... то митрополит главные надежды свои возлагал на такой народный приход, как Богоявление. <...> На дворянские приходы между Пречистенкой и Никитской надежда была плоха: приходская сума

здесь давно оскудела, да и никогда не была, должно быть, особенно таровата.

Прошло много лет, в течение которых я не заглядывал в церковь Богоявления. Прогремела неудачная японская война. Прошумела первая революция. Не за горами была уже и новая война. Вспомнив старину, я решил пойти с мамой к Светлой заутрени к Богоявлению. Все было то же: так же гудел густой и звучный богоявленский колокол, так же сиял огнями величественный храм, так же торжественно служил все еще бодрый протоиерей, еще более уподобившийся ветхозаветному Аарону, но я поразился, войдя с мамой в храм. Мы совершенно спокойно в него вошли и также спокойно, никем не теснимые, стояли утреню... Теперь в просторнейшем храме было не море народу, а разве что озеро, разбившееся на несколько отдельных заливов, рукавов, заводей и проливов, и этого общего «великого дыхания» народного уже не слышалось. Я поразился своему наблюдению. Куда же ушел этот народ, некогда наполнявший храм до почти смертельной тесноты? Елохово стало еще многолюднее: застроились бывшие пустыри, выросли дома в четыре, в пять, в шесть этажей, открылись новые фабрики, а храмов в окрестностях не прибавилось.

Очевидно, народу не убыло, а прибыло в Елохово, но он начал уходить из храма, и не в другие храмы, а совсем в другую жизнь, вне всякого храма.

После первой революции началась новая эпоха в жизни старого Елохова.

Глава 2

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Как стал себя помнить, привык я слышать разговоры о том, что «все вздорожало», под Рождество «к гусям приступу нет, поросята-то кусаются», а под Пасху — «ветчина-то станет в копеечку».

Как теперь соображаю, в этих слезницах было больше хозяйственной лирической словесности, чем дела. Совсем старые люди, правда, помнили совсем баснословные цены крепостных времен, когда поросята и целые свиньи не только не «кусались», а Христом-Богом просили, чтобы их взяли почти даром с Немец-

кого рынка, где от них под Рождество свету божьего не было видно. Но и в 80-х, 90-х годах, даже в начале 1900-х годов жизнь в Елохове была необыкновенно дешева, и цены этих лет сравнительно с 1870-ми годами возросли на самую малость.

Прежде всего поражало в то время обилие тех мест и углов, где можно было поесть и купить съестное и все нужное для жизни.

Гаврикова площадь (ныне Спартаковская площадь.— *Е. Л.*) с серой деревянной водоразборной будкой посредине, с городовым, который больше озирал окружающую «злобу дня», чем вмешивался в нее,— была вся пропитана тонкою белою пылью: эта пыль слоилась между крупными булыжниками площади, ею были прочерчены линии фасадов, белая пыль носилась в воздухе, серебря широкую бороду монументального городового, убеляя ломовых извозчиков и прохожих. Эта тончайшая пыль неслась из бесчисленных мучных лабазов, амбаров, складов, окружавших Гаврикову площадь со всех сторон, вылетала с огромной паровой мельницы, стоявшей за полотном Рязанской железной дороги, сочилась в воздух из товарных вагонов, подвозивших к товарной станции, имевшей специальную платформу-элеватор на «Николаевке», соединительной ветке Курско-Николаевско-Рязанской ж. д., неимоверное количество муки, крупы и зерна из черноземной глубины России. Белые пасти амбаров и лабазов были раскрыты часов с 7—8 утра до 6—7 вечера, и в них бойко, упорно суетились в течение 10—12 часов люди в поддевках, в чуйках, в рубахах, пожилые и молодые, толстые и тонкие, но все до одного с белыми, бледными лицами. Это были хозяева и работники лабазов. Когда же по субботам они шли в баню в Девкин переулок (ныне Бауманский переулок.— *Е. Л.*), все эти бледнолицые превращались в румяных парней, пышущих здоровьем, или в плотных крепких стариков, про каких говорят «ему веку не будет». <...>

И это громадное количество муки, хлебных злаков притягивало неимоверное количество грызунов — мышей, крыс. Помню, летом, поздней ночью, вернее ранним утром, после чудесного дождя, который я пережидал в одной из сокольнических беседок, я шел через переезд Гавриковым переулком домой. Подходя почти

к дому, я увидел, что городовой делает мне какие-то знаки рукой. Я подошел к нему, а он и говорит: «От крыс предостерегаю. Больно много, опасно затронуть».— «Какие крысы?!» — «А вон!» — указал он рукой. Я глянул, не сразу сообразил, а когда присмотрелся, то прямо остолбенел. На мостовой была лужа, она была окружена во много рядов черными спинками, а в последнем ряду палочками-хвостами. Умные животные пили по очереди, ряд за рядом, друг друга терпеливо ожидая и сменяя. Было их здесь, верно, не одна тысяча. Я долго смотрел издали на движение их спин и хвостов, стоя рядом с городовым, смотрел молча, сосредоточенно... «Опасные животные,— сказал наконец городовой.— До свидания». И пошел мерным шагом вдоль лабазов, дергая замки, висевшие на массивных дверях.

Отсюда, с Гавриковой площади, где после 1905 года было построено большое дорогое здание Хлебной биржи, мука и крупа текли в лавки и хлебопекарни всей Москвы. «Хлеб насущный» был необыкновенно дешев в старой Москве... <...>

Фунт отлично выпеченного ржаного хлеба из муки без малейшей примеси стоил до первой революции всюду в Москве одну копейку. Это был так называемый *кислый* хлеб, тот самый черный хлеб русской деревни, что вызвал у народа благодарное признание: «Матушка рожь кормит всех дураков сплошь, а пшеничка — по выбору».

Другой сорт ржаного хлеба был сладкий. Он выпекался из той же муки, что и кислый, но был заварной, на солоде, и стоил в Москве в те же годы и повсюду же на полкопейки дороже кислого — полторы копейки за фунт.

Цены эти я помню твердо, я проверил их по расходной книге мамы, сохранившейся у меня о сю пору, и их легко проверить по «Ведомостям Московского полицеймейстера» за 1880—1890-е годы, где из номера в номер печатались цены на хлеб.

Копейка — фунт хлеба — это великое дело. Это значит, что в те давние годы ни один человек в Москве не умер с голоду, ибо кто же при какой угодно слабости сил и при самой последней никчемности не мог заработать двух копеек в день, шестидесяти копеек в месяц? А за них он уже приобретал два фунта хлеба —

иначе сказать, обретал никем неотъемлемое право не умереть с голоду.

Матушка рожь кормила всех сплошь — всех неработяг, всех убогих, ленивых, неспособных к труду или немощных на труд — «всех дураков», и цена фунта ржаного хлеба всегда была в России мерой — быть или не быть, жить или не жить этим беднякам и дуракам. Если крестьянин видел в урожае как бы застраховку своей жизни, гарантию своей независимости: «Не кланяюсь богачу, свою рожь молочу», то малый городской житель — фабричный, мастеровой, ремесленник, мелкий и мельчайший «служащий», бездетный или, наоборот, многодетный угловик-коечник, наконец просто нищий бездомовник видел в цене ржаного хлеба самую возможность своего существования и признавался: «Когда рожь, тогда и мера». Русский человек кланялся черному хлебу: «Ржаной хлебушка калачу дедушка». И у него были все основания, живя в Москве, отвесить этот низкий поклон: не всем по карману была увесистая белая, так называемая французская булка, стоившая пять копеек, не всякому доступен был знаменитый московский большой калач из белейшей муки, мягкий, поджаристый, хрусткий и стоивший всего-то пятачок. Но ржаной хлебушка по копейке за фунт был доступен всякому, даже наиничтожнейшему и наибеспомощнейшему человеку в Москве...

Когда нищий просил в давней Москве на улице: «Подайте, Христа ради, на хлеб»,— и ему первый встречный подавал всего *копейку,* он мог уже утолить на эту копейку голод, а *вторая* — всего только вторая копейка от второго встречного прохожего — давала ему уже возможность получить хлебный паек, который считался достаточным даже в армии. <...>

Но хлеб без соли не едят. И соль эта, лучшая, баскунчакская, стоила в Москве двадцать копеек за пуд, в розничной продаже на две копейки отвешивали три фунта.

Так легко было в Москве быть с хлебом-солью!

В любой харчевне «гостю», спросившему глубокую, с краями, тарелку щей за пятачок (щи были мясные, наваристые, но за эту цену без куска мяса), к этим щам подавали целую груду черного хлеба — и есть его можно было без всякого ограничения, досыта.

В любой пекарне никакому нищему ни один продавец не отказывал в даровом ломте черного хлеба: отказ в таком ломте считался бы делом зазорным и для продавца и для хозяина, да и при дешевизне хлеба и нуждавшихся в даровом хлебе было немного.

В подмосковных монастырях любого богомольца три дня безданно-беспошлинно кормили постными щами с хлебом, а на дорогу «благословляли» фунтовым ломтем хлеба.

Хлеб продавался всюду: пекарни (в них не держали кондитерского товару) и булочные (с таким товаром) были на всех крупных перекрестках. Самые знаменитые из них были Филиппова (по всей Москве), Савостьянова (тоже) и Чуева (на Маросейке), но были и небольшие пекарни, например Прыткова на Разгуляе, славившиеся своим хлебом. Ржаной хлеб выпекался квадратными ковригами в пять и в десять фунтов весом. Верхняя корка посыпалась либо тмином, либо анисом.

Но черный хлеб в любом количестве можно было достать во всякое время дня и в любой мелочной лавочке, торговавшей «колониальными» товарами. Лавочки эти были на всяком углу, думается, в минуте, в двух от любого покупателя по его месту жительства. «Колониальных» товаров в лавочках этих было не так уж много: чай, кофе, перец, гвоздика, но товаров «рассейских», нужных для повседневного житейского обихода, было полным-полно: хлеб, баранки, мука, крупа, сахар, конфеты, печенье; дешевые сорта рыбы (сельди, вобла); колбасы, свиная грудинка, сыр, масло — русское, сливочное, постное; грибы сушеные и соленые, соленые огурцы, капуста, крахмал, синька, мыло, керосин, даже дратва. Все это было под рукой у любой хозяйки, и все это вдобавок отпускалось с охотой в долг на заборную книжку, уплата по которой производилась в дни получек жалованья.

Первым и главнейшим товаром и здесь был хлеб — черный и белый и баранки.

В пекарнях же выпекалось множество сортов хлеба. Из ржаной муки выпекали пеклеванный (из намелко смолотой и просеянной ржаной муки), бородинский, стародубский, рижский. Из пшеничной муки сорта были неисчислимы: «французские булки» простые, с поджаристым загибом, обсыпанные мукою; малень-

кие копеечные французские хлебцы, именовавшиеся попросту «жуликами»; витушки из перевитых жгутов крутого теста; саечки, обсыпанные маком или крупной солью; сайки простые, выпекавшиеся на соломе, с золотыми соломинками, приставшими к исподу; калачи крупные и калачи мелкие и т. д. и т. д. Самым распространенным сортом пшеничного хлеба в народе был ситник (или ситный) по пяти и по семи копеек за фунт. Семикопеечный выпекался с изюмом. Первый, без изюму, испокон веку в Москве. Второй обладает недавней историей.

Первейшим хлебопеком в Москве был «придворный пекарь» Филиппов. Он так прославился калачами, что поставлял их к «высочайшему двору» в Петербург, и молва утверждала: сколько ни старался он печь калачи в Петербурге на невской воде, вкус был не тот, что на ключевой, громовой мытищинской воде, на коей замешивалось тесто в Москве. Кто же из настоящих прирожденных москвичей не знал стихов Языкова:

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждой был томим;
Боги сжалились над ним:
Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева;
Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол — и ключ кипучий
Покатился... Пей, Москва! [1]

Москва и пила мытищинскую громовую воду — лучшую воду, которую пил русский народ в те времена, и по праву хвалился москвич своей водой до тех пор, пока с начала 1900-х годов, с ростом города, не пришлось пустить в водопровод москворецкую воду. Знатоки хлебного дела уверяли, что и в хлебе с той поры «вкус был уже не тот». Придворный же пекарь Филиппов знал это давно и в курьерских поездах Николаевской железной дороги возил дубовые кади с мытищинской водой, дабы на ней месить тесто в невской столице для придворных хлебов. А калачи — шла молва — с пылу, с жару, укрытые под особыми пуховичками, важивал прямо с Тверской в Зимний дворец к царскому кофию.

В Москве, в течение 35 лет, до 1891 года правил князь Вл[адимир] Андр[еевич] Долгоруков. Кому-то из

его близких со шпорами придворный пекарь Дмитрий Иванович Филиппов (его хорошо знала моя мать) чем-то не угодил — вероятнее всего, обидел взяткою. «Близкий со шпорами» устроил так, что к князю был допущен некий мещанин — едва ли не в гороховом пальто — и принес жалобу на придворного пекаря, и тут же предъявил ситный с запеченным в нем тараканом. Князь, любивший по временам являть себя крайним народолюбцем, воспылал гневом и тотчас же призвал к себе Филиппова.

— Это что? — указал ему сиятельнейший (а может быть, и светлейший) князь на злополучный ситник.

— Изюм-с! — спокойно ответствовал придворный пекарь и тут же проглотил таракана, как наисладимейшую снедь.

Сиятельный развел руками от изумления, а затем, пригрозив десницей неизвестно кому — не то придворному пекарю, не то «близкому со шпорами», и мещанину в гороховом пальто, проследовал во внутренние покои.

Филиппов же тотчас ринулся в свою пекарню, бросился к чану, где месили тесто для ситников, потребовал, чтоб принесли пуд изюму и приказал сыпать его в чан с тестом.

Пекари подумали, что хозяин их лишился рассудка. А оказалось совсем наоборот.

Наутро пришедший в себя Долгоруков, под наущением «близкого со шпорами», разослал мещан в гороховом пальто по филипповским булочным — и все они через некоторое время явились в генерал-губернаторский дом с весомым филипповским ситным, но в крайнем смущении: ситник был с изюмом.

Когда «хозяин Москвы» явился в приемную в сопровождении «близкого со шпорами» и обозрел собственноглазно коллекцию ситников, он ткнул в один из них пальцем и грозно спросил «близкого со шпорами»:

— Это что?

— Изюм-с,— пришлось «близкому со шпорами» поневоле повторить ответ Филиппова.

— Как же ты смел?..

И тут раздалось столь властное и не совсем удобное к печати слово, что мещане в гороховом пальто присели от страху.

Филиппову на другой же день была назначена особо почетная аудиенция у сиятельного князя и выражена в присутствии многих особ сугубая благодарность за то, что он снабжает население Москвы по умеренным ценам превосходным хлебом лучшей выпечки.

— Я сам вчера имел удовольствие отведать один сорт вашего хлеба,— заметил в заключение генерал-губернатор,— с изюмом. Отменный вкус!

С тех пор московский мастеровой и ремесленник получили ситник с изюмом и попить с этим ситником чайку в трактире было любимым развлечением московского «малого» человека.

Москва — все равно какая: дворянская, купеческая, ремесленная, мастеровая — исстари любила съесть некупленное и угостить некупленным.

Какой бы сладкий хлебец ни выпекался в пекарнях, как бы ни славился Филиппов калачами и ситным, Чуев — крутыми кренделями, а всякая хозяйка считала своим делом чести уметь поставить тесто и порадовать себя и близких по воскресным дням пирогами, к именинам — кулебякою, на масленицу — блинами, на Пасху — куличами.

В давнее время — я этой поры уже не помню — в нашем доме даже черный хлеб пекли свой... и пекли так отлично, что когда перешли на покупной у Савостьянова, вспоминали свой хлеб с похвалой.

Ржаная мука в Москве в 80—90-х годах стоила 3 рубля за пятипудовый мешок, следовательно, 60 копеек пуд — самого лучшего мелкого помола. Пудовый мешочек пшеничной муки стоил рубль девять копеек.

Можно было при этих ценах изощряться в пекарном искусстве!

<...> С чем только не пекли тогда пирогов!.. Не перечесть!

Пеклись пироги скоромные, на русском масле, и постные — на подсолнечном, на горчичном, пеклись и полупостные — на скоромном масле, но с грибами или с рыбой. В именинные дни непременно пеклись кулебяки с начинкой, любимой именинником или именинницей. В чаянии разных гостей и желании угодить на разные их вкусы заботливые хозяйки пекли кулебяки о четырех концах, один конец был с капустой, другой — с морковью, третий — с луком с яйцами, четвертый — с кашей.

В «помянные дни», в дни кончин и именин близких родственников, пекли блины поминальные. А так как суббота, по уставу церкви, постоянный недельный день поминовения усопших, то во многих семьях по субботам пекли блины. Обычай этот был так тверд, что и в трактирах по субботам можно было поесть блинов, и даже рестораны в субботнее меню обязательно и постоянно включали блины.

В «Обжорном» же ряду между Ильинскими воротами и Владимирскими блины были постоянной снедью, продаваемою блинщиками и блинщицами. Точно так же и пироги со всякою начинкою постоянно подавались в трактирах, в харчевнях, на рынках разносились пирожниками по торговым рядам и по сенным и другим базарам. Пара пирожков в пирожной-закусочной в подвале Новых торговых рядов стоила пять копеек. Пирожник с деревянным лотком, укрытым стеганым одеяльцем, и блинщик со стопочками блинов на лотке, с жестяным кувшинчиком с маслом, с жестянкой же с сахарным песком были постоянными фигурами на московских улицах, площадях и рынках, в особенности там, где были люди, которым нужно было поесть «на лету»: у извозчичьих бирж, на базаре у возов крестьян, приехавших из Подмосковья, и т. д.

На масленице все Елохово, вместе со всею народною Москвою, было пропитано масленичным духом. Пятница и суббота на масленой неделе — никакие праздники — ни церковные, ни официальные, а между тем кто же в Москве из фабричных и ремесленников работал в эти дни? Даже учащихся «распускали» на масленицу на пятницу и субботу.

Иван Федорович Горбунов, великий и чуткий знаток старой Москвы, любил рассказывать, как некий поздравитель-вертопрах разлетелся к купцу с поздравлением:

— С широкой масленицей! Блины изволили кушать?

Но встретил грозную отповедь:

— Уйди ты! Разве я не православный?

На слух этого истого москвича вопрос «Блины изволили кушать?» звучал так же еретично, как если б его, прихожанина от Богоявления в Елохове, осмелился кто-нибудь спросить: «Креститься в купели изволили?»

Действительно, вопрос был глуп и излишен: блины в те времена «изволила кушать» вся Москва — от генерал-губернатора и митрополита до последнего оборванца, который ел за копейку блин на Хитровом рынке, до последней нищей старухи, которой подавали блин Христа ради. Блинов непременно давали отведать даже цепной собаке на дворе, да и бродячему псу не может быть, чтоб не перепадало что-нибудь от масленичных яств.

На Пасху пеклись куличи по всевозможным рецептам, и как ни хорош был покупной кулич от Филиппова или от Чуева, в церковь несли освящать кулич своего печенья.

Больше всего жаловались тогда на дороговизну сахара, но он стоил 11 копеек фунт (его звали обычно «мелюс») и 13 копеек колотый. Пиленый сахар был не в фаворе и стоил тоже 11 копеек.

Постное масло — подсолнечное — отпускали в розницу по 12—13 копеек за фунт самое чистое. Сливочное масло стоило 20 копеек фунт, самое лучшее — 23 копейки. Русское, топленое, масло — 18 копеек фунт. При таких ценах на масло можно было справлять масленицу так масленно, как она справлялась в ушедшей Москве!

Но можно было в то время столь же хорошо справлять и «мясоед», и рождественский, и светлый, и какой угодно, коли фунт самой лучшей, черкасской, говядины (вырезка, огузок, филе) стоил 12—13 копеек фунт (я все время справляюсь с записной книгой матери, веденной в 80-х — 90-х годах), а остальные части говядины шли по 11, по 10 копеек. Лучшая свинина, заплывшая салом, отпускалась по 15 копеек фунт. Самая тонкая по заготовке, нежного засола, ветчина продавалась по 30—35 копеек фунт.

Легко было и соблюдать посты в прежней Москве, если белуга стоила 18 копеек фунт, а осетрина — 20, а более обычные сорта рыбы — судак, лещ — были нипочем. Сомовину — хоть и жирную — многие не ели, брезговали, доверяя деревенской молве, что сомы, случается, утаскивают и пожирают детей; в малом уважении была и зубастая щука, ее покупали неохотно.

Селедка, при штучной продаже, самая лучшая, голландская или королевская, стоила 7 копеек, были

и за 5 и за 3 копейки. Астраханская вобла стоила копейку штука.

Тысячи раз я видел такую картину: тянется с Гавриковой площади обоз с кулями муки или тушами. Возчик, бегом обежав обоз, забежит в угловую мелочную лавочку и, купив там фунт хлеба и жирную воблу, спокойно идет подле обоза, завтракая на ходу. Всего на весь завтрак ему понадобилось минуту времени и две копейки денег.

Овощная часть была уже совсем нипочем: фунт лучшей квашеной капусты стоил 3 копейки, десяток соленых огурцов — пятак. Сушеные белые грибы, лучшая приправа всех постных яств, стоили четвертак (25 копеек) за фунт. Соленые грибы — рыжики, грузди и пр.— 10—12 копеек.

Москву кто усмешливо, кто ласково звал «чаевница». Москва любила попить чайку. Всевозможные «искусственные воды», мнимые «ситро», «вишневые» напитки и «клюквенные морсы» были тогда не в ходу: любителей отравлять ими свои желудки не находилось. Зато чай пили всюду: дома и в гостях за самоваром (никаких чайников, вскипяченных на «примусах» не было в помине), в трактирах, харчевнях, в гостиницах, на постоялых дворах, на вокзалах, в буфетах при театрах, клубах. Удовольствие это было самое дешевое. В любом трактире за пятачок (пятачок был вообще важной денежной единицей в московском старом быту, весьма полноценной *) — за пятачок пода-

---

* Татьяна Львовна Щепкина-Куперник однажды, в начале 1890-х годов, побилась об заклад с приятельницей А. П. Чехова Л. С. Мизиновой, что на один рубль подарит ей 20 нужных предметов и каждый из них будет ценою в *пятачок*. Мизинова заранее считала себя выигравшей пари. Но вот что подарила ей Татьяна Львовна: из съедобных вещей: 1) французскую булку, 2) пеклеванный хлеб, 3) большой вяземский пряник, 4) медовую коврижку («батон»), 5) плитку шоколада; из предметов туалета и хозяйства: 6) казанское мыло, 7) кокосовую мочалку, 8) черный английский пластырь, 9) розовый пластырь, 10) катушку ниток, 11) пачку иголок, 12) пачку булавок; из предметов писательского обихода: 13) тетрадь, 14) 10 листов почтовой бумаги и 10 конвертов, 15) 5-копеечную городскую марку, 16) карандаш Фабера, 17) красный карандаш его же, 18) ручку-вставочку, 19) дюжину стальных английских перьев, 20) резинку для стирания карандаша и чернил. Каждый из этих 20 предметов, полезных, высокодобротных, стоил пятачок. Мизинова должна была признать, что проиграла пари. (Со слов Т. Л. Щепкиной-Куперник, август 1942). Такова была покупательная сила пятачка полвека назад!

вали «пару чая» — два фарфоровых чайника — один, средних размеров, с заваренным накрепко чаем, другой, очень большой, вроде белого лебедя с носом, изогнутым наподобие лебединой шеи, с кипятком, из тут же непрерывно кипевшего огромного самовара. При «паре чая» полагалось четыре больших куска сахара на блюдечке. Выпив целый лебединый чайник кипятку, посетитель имел право требовать кипятку еще сколько угодно, докуда не «спивал» весь заваренный чай...

Чайные и трактиры были на любом перекрестке, в особенности в таких народных окраинах, как Елохово, и весь зябнущий на труде народ — извозчики, возчики, разносчики, приказчики — мог греться чайком всюду, всегда и постоянно, так как некоторые чайные торговали всю ночь напролет.

Чай был сущим благодетелем этого трудового люда. Вместо того, чтобы обогреться на спиртовых парах, что не вело к добру ни прежде, ни теперь, когда так широко была развернута (до войны) продажа водки распивочно в киосках и буфетах, этот озябший люд обогревался мирно чайком, не ведущим ни к какому буйству и разорению. Не раз приходилось мне слышать от пожилых рабочих и от извозчиков:

— Каждый день Богу молюсь за того, кто китайскую травку выдумал.

За чаем в трактирах и харчевнях делались важные дела, заключались торговые сделки на большие тысячи, происходили юридические консультации с ходатаями по делам, составлялись и писались прошения и завещания.

За парою же чая с лимоном (он стоил самый лучший мессинский 5 копеек) происходили на Елоховской фабричной окраине и любовные встречи — вроде той, о которой поется в прелестной частушке, сложенной какой-нибудь девушкой с ткацкой фабрики.

Чайник чистый, чай душистый,
Кипяченая вода.
Милый режет лимон свежий —
Не забыть мне никогда!

А бесконечные домашние чаепития! Принято думать, что они были уделом одних купцов и купчих, «баловавшихся чайком» до седьмого поту. Но это неправда. В елоховские времена я вспоминаю бесконеч-

ные чаепития, длившиеся часами, не только не в купеческих, а противокупеческих местах: в комнатушке бедняка-студента где-нибудь на антресолях домика, трясущегося от ветхости, в еще более или менее тесной комнатке рабочего, к которому студенты пришли по «путаному» делу, как выражалась няня.

Фунт настоящего китайского чая, байхового, привезенного в Россию сухим путем через пустыню Гоби *, стоил 1 рубль 20 копеек; но чай продавался в самых малых «развесках» — и восьмушка стоила всего 15 копеек. Этот пятиалтынный был неразорителен ни для какого студента, живущего грошовыми уроками, или рабочего, не уступающего ему в малосостоятельности.

Борис Садовский[2] посвятил целую книгу стихов «Самовару», но у него нет ни этого студенческого самовара, за которым всю ночь решался один вопрос, есть Бог или нет? ни этого рабочего самовара, за которым, тоже всю ночь, составлялся текст прокламации, которую надо отпечатать на гектографе к завтрему, чтобы расклеить завтра же по елоховским переулкам и закоулкам.

А эти самовары так памятны своим бодрым крепким чаем и своим, еще более бодрым юношеским бурленьем и шуменьем: под их шум так хорошо бурлила наша не очень рассудная, но честная юность!

Об этом милом идеалистическом самоваре сказал только один поэт, но хорошо и, главное, верно сказал. Это бездольный и нищий Фофанов[3]; вот отчего и его стихи эти запомнились мне в юности. У них нет заглавия.

Потуши свечу, занавесь окно.
По постелям все разбрелись давно.
Мы одни не спим, самовар погас.
За стеной часы бьют четвертый раз!

До полуночи мы украдкою
Увлекалися речью сладкою.
Мы замыслили много чистых дел,
До утра б сидеть,— да всему предел!..

Ты задумался. Я сижу,— молчу...
Занавесь окно, потуши свечу[4].

* Такой чай ценился выше чая, привезенного морским путем из Шанхая вокруг всей Азии, так как при морском пути чай овлажнялся и терял ту драгоценную ароматную сухость, которая сохранялась при переезде через сухую пустыню Гоби.

С чем мы пили чай за таким самоваром? Не помню: не вприглядку и не вприлизку, а вприкуску, а многие и внакладку; я уже сказал, что пиленый сахар и мелюс стоил 11 копеек, а колотый — 13 копеек. Но пили чай и с дешевой карамелью, и с леденцами — ведь в те времена хорошая карамель от Яни (кондитерский магазин этого Яни Панаиота был у Ильинских ворот и в Лубянском пассаже, а фабрика в одном из переулков, выходивших на Немецкую улицу) стоила всего 20 копеек в коробке, а у Эйнем самая дорогая 50 и 60 копеек.

При любом чаепитии — случайном и внезапном — так было заведено у нас в товарищеском кругу в «дни учения», можно было свободно требовать только одного угощения — черным хлебом.

— Чай да сахар! — это приветствие пьющим «китайскую травку» дома ли, в трактире ли было так же всеобще на устах елоховского москвича 80—90-х годов, как общерусское приветствие человеку, вкушающему пищу:

— Хлеб да соль!

Я не припомню в старой Москве места и случая, где бы и когда бы ни уважалось или не принималось в расчет желание доброго или даже недоброго человека «попить чайку».

Теперь покажется странно, но в ученых заседаниях Московского археологического общества [5] и на собраниях Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева всех присутствующих непременно «обносили чаем», с лимоном, со сливками и с печеньем. Человеку, пришедшему в наш дом по делу и никому в доме решительно не знакомому, немедленно предлагали стакан чаю. Бывало, придет из города мальчик с покупкой, сделанной матерью в таком-то магазине, и она непременно спросит няню: «А чаем его напоили?» Полотеры, натиравшие у нас в доме полы, неизменно чаевничали с кухаркой Марьей Петровной на кухне. Почтальон, принесший письма, не отпускался без стакана, другого чаю. «С морозцу-то хорошо погреться!» — говорилось ему, ежели он вздумывал отказываться, ссылаясь на спешку, и он с благодарностью принимал этот, действительно, резонный резон.

Когда я был однажды арестован по политическому делу и отведен в Лефортовскую часть — а было это

ранним утром — помощник пристава, заспанный и сумрачный субъект, вовсе не чувствовавший ко мне никаких симпатий, принимаясь за первое утреннее чаепитие, предложил мне:

— Да вы не хотите ли чаю?

И, не дожидаясь согласия, налил мне стакан. К чаю я не притронулся, но поблагодарил совершенно искренне: приглашение его было чисто московское.

И когда пришлось мне впервые, в те же годы, попасть в более серьезное место — в охранное отделение, — там мне тоже — и опять без всякой задней или передней мысли — предложили стакан чаю. Я от него отказался: мне было не до чаю, но ничуть не удивился приглашению — кто же в Москве, распивая чай, не предложил бы стакан другому, хотя бы и совершенно постороннему человеку? Не угостить захожего человека чаем — считалось в Москве верхом ненужной жёсточи и скаредности.

— Он (или она) чаем не напоил! — такая, чья бы то ни была жалоба на нерадушного или скаредного человека принималась всеми в Елохове и во всей Москве с полным и безусловным сочувствием к жалующемуся и со столь же решительным осуждением обидчику.

Выйдя с Гавриковой площади вслед за обозом с мукой, я далеко зашел — вплоть до пустыни Гоби, через которую везут в Москву лучшую «китайскую травку» — и как будто миновал Немецкий рынок, на который должен был пойти после Гавриковой площади, но в действительности я уже давно на нем нахожусь, рассуждая «вспоминательно» о всяких скоромных и постных снедях.

Все эти снеди, скоромные и постные, продавались на Немецком рынке в необъятном, казалось, неисчерпаемом количестве. Ими набиты были магазины, лавки, лавчонки, амбары, лотки, поставцы, ларьки, возы, телеги.

Взять хоть бы мясные лавки. Холодные, насквозь пропитанные морозом, мрачные, с огромными чурбанами для разрубки туш, напоминавшими кровавые плахи для казни преступников, лавки эти были набиты всякими мясами до тесноты. Иссиня-красные ту-

ши — бычьи, свиные, бараньи — вздымались от полу до потолка. К потолку же были привешены, распустив крылья, тетерева, глухари, куропатки, рябчики. На полках по стенам, как на тесных нарах в ночлежном доме, лежали гуси, индейки, утки, куры. Для немногих любителей «непоказанной законом» снеди висели несколько зайцев: их редко кто покупал, считая погаными. Здоровенные мясники, засучив рукава, с огромными ножами и топорами за ременным поясом, прохаживались по лавке, греясь взаимными тычками и забористыми словечками.

Таких лавок были десятки, и покупатель мог выбрать то, что ему нужно,— на всякий едальный вкус — от потомственного наследника Собакевича, охочего до бараньего бока, до утонченного любителя вальдшнепа.

Когда я вспоминаю мясную линию Немецкого рынка, я думаю: «Вот бы туда старых голландцев и фламандцев, любителей мясных nature morte'ов: какую бы удивительную по разнообразию и кровавой мясной сочности картину нашли они там! Вот бы туда милейшего Петра Петровича Кончаловского с его падкостью на иссиня-красные мяса̀, вызывающие у него на полотнах неудержимый размах буйной киновари, сурика и жженой охры.

Но для меня эти мясные лавки с детства были предметом отвращения, я спешил поскорее пройти мимо них, и, не чувствуя никакой привязанности к мясной пище и по целым годам становясь вегетарианцем, никогда за всю жизнь не мог взять в руки куска сырого мяса.

Рыбные лавки на Немецком рынке были особая статья. Многопудовые осетры с острейшими, как иглы, носами; грузные, не в подъем одному человеку, белуги; розово-желтые семги, каких не увидишь и в Архангельске, на их родине, занимали здесь то место, которое в мясных лавках принадлежало бычьим и свиным тушам. Судаки, караси и лещи «пылкого заморозу» соответствовали здесь крупной птице — гусям и индейкам: эти еще были на виду и на счету, а весь прочий рыбий народ был без счету, им были набиты огромные многопудовые плетенки и короба из щепы, стоявшие на полу. Тут же стояли целые мешки с белозерскими снетками — мелкой сушеной рыбкой, из ко-

торой варили сытные вкусные щи и картофельную похлебку, фунт их стоил копеек 15. За все последние 24 года я не видел в Москве ни единого снеточка; куда они девались — ума не приложу: не высохло же Белоозеро, не вымерла же в нем вся рыба? А снеток был великим подспорьем малоимущим хозяйкам. С ним пекли и блины. В полутемных помещеньицах при рыбных лавках стояли большие деревянные чаны с живой рыбой — тут в жуткой тесноте рядом со смиренной подмосковной плотвой извивалась кольцом стерлядь, уроженица Оки или Волги.

Целые кади были полны черным жемчугом икры — зернистой и паюсной. Я говорю «черным», потому что красной кетовой икры тогда и в помине не было, она появилась в Москве после японской войны, и сначала на нее недружелюбно косились, как на щуковину или сомовину: эта рыба-де для нехристей, а эта икра-де, икра для нехристей, недаром, мол, она добывается из «кита-рыбы». Да и какая была особая нужда в этой новой красной икре, когда лучшая черная паюсная осетровая икра стоила рубль — рубль двадцать, а зернистая — рубль-полтора за фунт?

В пост сам протопоп жаловал в рыбные лавки и отбирал себе рыбку для ушицы и для заливного. Посты соблюдались в то время строго, и на постный стол были тогда истинные знатоки и мастера.

Волга, Кама, Шексна, Дон, Обь, Белоозеро, Ладога, Онега и четыре моря — Белое, Балтийское, Черное и Каспийское — слали в Москву лучшую рыбу — живую, вяленую, сушеную, малосольную, соленую, копченую — и нигде в мире рыбный стол не был так обилен, разнообразен и изыскан, как в Москве. Мне было смешно читать в дневнике Гете торжественные записи о том, что в такой-то день он отведал у своего sirenissimus'а (герцога) черной икры, а в такой-то кушал осетрину. Вот невидаль для старой Москвы! В трактире Егорова в Охотном ряду или у Тестова пышный, «дышущий» расстегай с осетриной, с тарелкой ухи стоил 35 копеек!

Однажды мы с моим приятелем поэтом Мешковым, бродя по Москве, забрались за Семеновскую заставу, пошли по шоссе мимо укромных мещанских домишек и забрели так далеко, что захотелось есть. Мы зашли в первый попавшийся трактир (синяя вывеска с золо-

тыми или белыми буквами) и, продолжая разговор о поэзии, я броском, будто в хорошем ресторане, спросил:

— Дайте белугу под хреном.

И не успели мы решить, кто ближе к чистому лиризму, Полонский или Фет, как уже явилась белуга под хреном, с красным виноградным уксусом.

Много лет спустя я прочел в записной книжке Чехова, которому не было ничего чужого и неинтересного в его России:

«Грязный трактир у станции. И в каждом таком трактире непременно найдешь соленую белугу с хреном. Сколько же в России солится белуги!»

В 1913 году в Россию приехал Эмиль Верхарн. Он был в восторге от Москвы, от ее «лица необщего выражения» и написал об этом в «Русских ведомостях». Его возили по московским достопримечательностям — и всюду потчевали то завтраком обыкновенным, то завтраком à la fourchette, то обедом, то чаем с фруктами и шампанским, то ужином. Сухонький старик с большими усами, изящный, стройный, живой, скромный — вместе с такой же супругой, седой, сухенькой, живой, любезной и скромной,— благодарил и кушал, кушал и благодарил. Но когда на банкете, данном Верхарну Литературно-художественным кружком[6], его «ввели в зал» и он быстро, сквозь пенсне оглянул парадный стол, сверкающий белоснежной скатертью, серебром, хрусталем, и увидал на нем огромную серебряную лохань, а в ней четырехугольный куб льда с выдолбленной серединой, сплошь наполненной зернистой икрой, с погруженной в нее серебряной лопаткой, впечатлительный фламандец не мог сдержать своего изумления и воскликнул:

— C'est colossal!

По-московски это не было «colossal»: в ледяной глыбе всего-навсего было с полпуда осетровой икры!

Кругло-желтые, как яичный желток, круги русского масла, точно жернова с неведомой мельницы, исполинские плиты-кирпичи сливочного масла, будто выточенные из слоновой кости; сорокаведерные бочки с подсолнечным маслом — смотря на них в масляных лавках, казалось, что это запасы для великанов, глотающих масло глыбами, а не для мирных обывателей Елохова.

В «колониальных магазинах и лавках», наполнявших Немецкий рынок (самым знаменитым был братьев Рудневых, откуда брали товар в наш дом), можно было в любое время достать все — от рябины в сахаре до бородатого кокосового ореха из Африки, от сушеной малины и земляники до финика из Аравии и сигар из Гаваны. В колониальных магазинах высились целые пирамиды из цыбиков чаю, увернутых в зеленоватые циновки — тонкого плетения, с китайскими письменами, написанными резко-черной тушью. Каких-каких только сортов чая не продавалось в Москве — от драгоценного «императорского» Лян-Сина «Букет китайской императрицы», дающего настой бледно-лимонного, почти белого цвета, до крепких, как куски черного гранита, плиток «кирпичного чаю»! Любители чая (а кто в Москве не был его любителем?), истые знатоки искусства чаепития знали в точности всю иерархию чаев — «черные ароматические», «цветочные ароматические», «императорские — зеленые и желтые», «императорские лянсины» и «букетные белые чаи». Среди черных чаев славился у знатоков «Черный перл», употреблявшийся при дворе богдыхана. Самым дешевым среди «лянсинов» был «Инжень, серебряные иголки» в 2 р. 50 к., а самым дорогим «Букет китайских роз»: он стоил 10 рублей за фунт; дороже этого сорта не было чаев. «Из «зеленых» чаев любители пили «Жемчужный отборный Хисон», а из «желтых» — «Юнфачо с цветами». Были еще, так называемые, «резанистые чаи» для любителей особо душистого чая. <...> Чай продавался всюду — в чайных магазинах, в колониальных, в мелочных лавочках, но кто хотел, так сказать, подышать самым воздухом далекой родины чая, тот отправлялся в китайские магазины. Один из таких магазинов — Та-Шен-Юй — был на Покровке, неподалеку от Земляного вала. В нем была всегда тишина, стоял чистейший сухой и нежный запах чая, на прилавках размещались большие китайские фарфоровые вазы и невозмутимо улыбающиеся китайцы (без лет: невозможно было решить по их лицам, старые они или молодые), в длинных балахонах из белого шелка, в кофтах из чесучи, с длинными, до пят, черными как смоль косами, продавали, еле говоря по-русски, чай, только чай, да еще чесучу и фанзу — шелковые материи несравненной прочности.

Но я все говорю о лавках, магазинах, амбарах, лабазах, а ведь Немецкий рынок был сверх того и базар — ежедневный, непрерывный базар, весь заставленный телегами и возами, приехавшими из ближайшего, а часто и далекого Подмосковья со всевозможной снедью, производимой подмосковными огородниками и крестьянами.

Тут все — и мясо, и битая птица, и рыба, и масло, и сметана, и творог, и овощи, и плоды, и грибы — было еще дешевле, чем в палатках и лавках. Кто же из сколько-нибудь хозяйственного люда в Елохове покупал огурцы, морковь, капусту, картофель в лавках? Все это покупалось с воза, от огородника, от пригородного крестьянина, все это было не лежалое, не мятое, не вялое, а самое свежее, еще с блестками росы, еще с запахом вольного простора. <...>

Москвич, живший лет сорок и даже тридцать тому назад, удивился бы, если бы ему предложили купить огурцы на вес: он покупал их или десятками (в июне), или мерою (в июле, в августе).

То же было с яблоками: покупателя, который попросил бы «отвесить» ему «фунт» антоновки или белого налива, засмеяли бы приказчики, все равно как если бы он предложил на дровяном складе отвесить ему пуд дров или десять фунтов угля. Яблоки и груши также покупали десятками или мерою. Продажа их настоящая начиналась после «второго Спаса», после Преображенья (6 августа по ст. ст.). До этой поры, до церковной молитвы над яблоком, «вкушать от плодов» считалось грехом. <...>

...Кто хотел уж самого дешевого огурца, яблока или ягоды, тот шел «на Болото» — на Болотную площадь между Большим и Малым Каменным мостом. Там уж цена была такова, что даже в шутку и «к слову» нельзя было молвить, что «огурец кусается», а к «боровинке приступу нет». «Приступ» был там так открыт для всех, хотя бы обладающих капиталом «на десерт» всего размером в пятачок, что «десерт» этот был доступен всякому. На гривенник можно было купить фунтов шесть красной или фунта четыре черной смородины. Вишня была дороже — от пятачка за фунт.

Немецкий рынок — это был в столичном городе кусок уездной России, где пахло огородом, садом, лесом,

полем и всем, что они давали человеку. <...> Что говорить! — шумно, гамно, тесно, грязно, юровато, иной раз и воровато, но зато всем доступно, всем обильно, сытно, сочно, маслено, дешево.

Но кто не любил тесноты, кому претил базарный шум, не люб был разговорчивый торг, кто любил сидеть дома, к тому все это, или почти все, что было на рынке, приходило под самое окно, стучалось в самую дверь тихомирного домика.

Торговля «вразнос» и «вразвоз», слабая в центральных, «дворянских» околотках Москвы, в кольце бульваров, бурно процветала за пределами этого «благородного» кольца.

Невозможно представить себе любую улицу и переулок в Елохове без живого, въедливого в уши, бодрого крика разносчиков и развозчиков, сменяющих один другого, другой — третьего и т. д. с утра и до сумерек.

По крику этому, сидя в комнате, можно было узнать, какое время года и какой церковный уповод времени: «мясоед», «мясопуст», «сырная неделя» (попросту — масленица) или «сыропуст» и сам великий пост.

— Стюдень говяжий! — рвется в окно с улицы крепкий доходливый голос, а на смену ему через час-другой голос, столь же звонкий и зычный, заявляет на весь переулок:

— Я — с ветчиной!

Это, значит, «мясоед» на дворе — весенний или рождественский, или на дворе сама «сплошная неделя» (перед масленицей), когда даже самым постным людям разрешается «сплошь» все мясное, и в среду, и в пяток.

Но вот те же голоса, а то и другие, такие же бодрые, зазывно-вкусные выкликают на весь переулок: кто белорыбицу с балыком провесным, кто «бел-грибы-сушены». Это, значит, на дворе великий пост.

Весну легко узнать по веселым вскрикам с улицы:

— Щавель зеленый! Шпинат молодой!

Как не порадоваться наступлению лета, когда в двери, в окна, в форточки беспрестанно несутся все новые и новые крики:

— Горошек зеленый! Огурцы, огурцы зеленые! Картофель молодой!

А еще более радостные, по крайней мере для нас, детей, вести в переулке:

— Клубника! Садова малина! Садово ви-шеньё!

Ко второму Спасу по всем переулкам Елохова появляются двухколесные тележки с поставленным на них ящиком с яблоками, тележку катит здоровый парень в кумачовой рубахе, в белом фартуке, в картузе с глянцевым козырьком и весело возглашает на весь переулок:

— Яблоки, яблоки, яблоки!

За этим первым следует второй с возглашением сорта яблок:

— Анисовые! Белый налив! Боровинка! Коричнево!

<...> В августе вся Москва была полна арбузами. Их продавали во фруктовых магазинах, в мелочных лавочках, в палатках, с лотков, с тележек, развозимых молодыми парнями, задорно, заманчиво возглашавшими:

— Арбузы! Арбузы! Арбузы!

На сладкие эти звуки выбегали из подворотен стаи мальчишек и выступали степенные хозяйки, зачинавшие упорный торг с продавцами, больше из любви к искусству спора, чем из нужды. Отличный камышинский арбуз, смотря по размеру и месту покупки, стоил от четвертака до рубля, на вырез — на пятачок дороже. Можно было полакомиться арбузом и походя: лотошники продавали на углах улиц арбузы кусками, по две копейки, по пятачку кусок. А кому и это казалось дорого, тот шел на товарную станцию Рязанской железной дороги: там арбузы, прямо из ящика, из вагона продавались дешевле пареной репы.

За яблоками и арбузами вслед — так в сентябре, в начале октября — высоким тенором разливается новость-весть:

— Орехи, клюква! Орехи, клюква!

Это, значит, пришла осень золотая.

Так круглый год сменяются эти неумолкающие веселые голоса. А есть и бессменные.

— Баранки! Сахарны баранки! Бара-на-ки хоро-ош!

До сих пор слышу голос старого «баранщика», с таким чудесным уверчивым напевом предлагавшего свои баранки (действительно превосходные), что не слушать его было невозможно, а заслушавшись, труд-

но было его не позвать и не купить этих «сахарных баранок» из какого-то особого теста на шафране, и крутого и рассыпчатого одновременно.

Разносчики были не для одних людей, но и для животных.

Поутру, так часов в семь, в восемь, когда все уже пробудились давно, «господа» еще позевывают или спят, ходили особые разносчики с деревянным узким и длинным лотком и выкрикивали деловито, но не протяжно, точно немножко стесняясь своего товара:

— Кошкам флейш!

Почему последнее слово было «флейш», а не «мясо», постичь никогда не мог.

Обычно эти кошачьи благодетели получали от кухарок и хозяек помесячную плату за определенную порцию «флейша» по числу наличных кошачьих душ в доме, и каждое утро, к неописуемой радости Васек и Машек, отлично знавших голос своего благодетеля и час его появления, кухарки получали обусловленную порцию флейшу и потчевали ею мудрый кошачий народ. <...>

В самый разгар 1905 года я поставил себе однажды вопрос:

— Можно ли в Москве умереть с голоду? <...>

Я знал к тому времени довольно хорошо жизнь мещанских, ремесленных и фабричных углов и знал, как трудна и горька была жизнь во многих из этих углов, но я знал и то, как, и чем, и где питается эта народная Москва, и чем больше узнавал это, тем тверже и крепче принужден был ответить на свой вопрос:

— Нет, в Москве с голоду умереть было невозможно. <...>

Трудно ли было в таком большом и промышленном городе, как Москва, заработать 7 копеек... в день? (7 копеек — стоимость обеда в столовой попечительства о народной трезвости.) <...>

Я видел, как зарабатывали эти копейки «бывшие люди» с Хитрова рынка или «уличные мальчишки» (так звали тогда беспризорных).

Номер распространеннейшей газеты «Русское слово» стоил 3 копейки. Редакция этой газеты — как и редакции других московских газет — предпочитали не

держать своих продавцов, а продавали выходящий номер газеты любому, кто хотел ее распространять по 2 копейки. Всякий, желающий «заработать», будь он мало-мальски пристойной наружности, получал из конторы пачку нумеров — сначала за наличный расчет, а потом, по завоевании доверия, и в кредит. Распределив только десять нумеров, такой вольный продавец уже получал гривенник чистой прибыли и, значит, зарабатывал себе на 7-копеечный обед и на ужин в виде *трех* фунтов черного хлеба.

Но распродать 10 нумеров «Русского слова» было делом нескольких минут. По утрам и часов в 4—5, когда выходила вечерняя газета, московские улицы, перекрестки, конки, трамваи, подъезды кишмя кишели мальчишками и просто человеками, выкликавшими сенсационные новости, они зарабатывали себе на завтрак, обед, ужин и ночлег.

В Петровских линиях существовал магазин издательства «Посредник», основанного Л. Н. Толстым и выпускавшего книжки для народа по самой дешевой цене — от одной копейки за экземпляр. Цена на обложках не печаталась. Бывало, поутру сидишь в магазине, отбирая себе книги, и видишь необычайных посетителей: какой-нибудь плохо одетый и недообутый человек с алкоголическим складом физиономии тоже отбирает книжки — рассказы Льва Толстого или Горького. Продавщица Ольга Павловна со знаменитой фамилией Ломоносова пересчитает отобранную странным покупателем дюжину книжек и спросит, улыбаясь:

— В кредит?

— Попрошу в кредит,— поклонится недообутый человек, и через пять минут его можно видеть между Ильинскими и Владимирскими воротами. Он предлагает свои книжки прохожим, аппетитно их аннонсируя:

— Новый рассказ графа Льва Николаевича Толстого! Новейшее произведение Максима Горького! 5 копеек!

Прохожий, спеша по делам, на ходу протянет пятачок и на ходу же получит рассказ Льва Толстого... только не новый, а давным-давно имеющийся в собрании сочинений Толстого. Но что за беда! Во-первых, далеко не у всех имелось это собрание сочинений, сто-

ившее в издании графини рублей 15, а во-вторых, какой же из рассказов Толстого не нов вечной новизной гения?

<...> Я знал в лицо, а некоторых и не в лицо, десятки таких «бывших» или «полубывших» людей, знал подростков без отца, без матери, без роду без племени, которые изо дня в день, из месяца в месяц кормились «новыми рассказами» Льва Толстого... <...>

Я знал, что в купеческих домах, в дни помина родственников, бывают даровые столы для званых и незваных, хотя в мои молодые годы этот обычай шел уже на умаление. Но он не уничтожился, а принял лишь другую форму.

На Хитровом рынке была народная столовая, где кормили *бесплатно;* были еще несколько таких столовых и в других густо-народных палестинах Москвы.

Как же они могли существовать, эти столовые, чем, кого и на какие средства они кормили?

Я это узнал в день смерти моей матери. Она всегда отличалась особой жалостью к людям бездомным, нищим, беспутным и всегда, где могла, спешила не только «подать» им монету, но и приветить их чем-нибудь потеплее: накормить пирогом, сунуть в руки сверток с какой-нибудь домашней едой и т. п. Когда, бывало, ей поперечут:

— Настасья Васильевна, зачем вы ему подаете? Он все равно в кабак снесет,— мама отвечала:

— Куда снесет — это его дело, а мое — подать.

Я заказывал «кондитеру» поминальный обед на день маминых похорон, а сам подумал: «А кто бы ей самой был особенно приятен и нужен за этим обедом?»

И вспомнил про ее отношение к бездомным и беспутникам.

Я поехал на Хитров рынок в бесплатную столовую, содержавшуюся каким-то благотворительным обществом, и узнал следующее. Столовая принимает заказы на поминальные и на заздравные обеды для выдачи их неимущему населению Москвы на таких условиях: заказывающий платит по *гривеннику* за обед; за этот гривенник обедающему дается тарелка щей с мясом и фунтом хлеба, тарелка гречневой каши с коровьим (топленым) маслом и небольшое блюдце кутьи. К известному часу в столовую может прийти обедать вся-

кий безданно-беспошлинно и, что особенно важно и отрадно, и беспаспортно. ...Перед обедом объявляют, что обед дается «во здравие такого-то раба Божия Алексия» или «за упокой рабы Божией Анастасии». Кто хочет, помянет этих рабов Божиих, а кто не хочет — его воля: пообедает и без помину. Обедов отпускалось в день столько, сколько внесено было пожертвований и сколько позволяли проценты с небольшого благотворительного капитала.

Я внес десять рублей — и в день похорон мамы ее помянули сто человек... Но люди состоятельные вносили и по сто, и по пятьсот, и по тысяче рублей — и кормили, стало быть, не сотню, а сотни и тысячи людей не один день, а в течение сорока дней, когда правится сорокоуст по покойнику.

Каждый обедавший — кто б он ни был — был гостем не учреждения, не заказчика обедов, а того здравствующего или почившего человека, во имя которого созывали на обед. Стало быть, и положение этого обедающего было совершенно независимо: никто не подавал ему милостыни и ни у кого он ее не просил, и ни к чему его не обязывал съеденный обед,— ни к благодарности, ни к благочестию, ни к работе. Зашел в столовую, пообедал и ушел. Вот и все. <...>

Как я уже говорил, цены на хлеб и все припасы в Москве сильно возросли после первой половины 1900-х годов, но и в 1914 году, накануне первой мировой войны, прекрасный обед из двух блюд (с неограниченным количеством хлеба, черного и белого) в столовой «Общества пособия студентам Московского университета» стоил всего 23 копейки.

В 1913 году эта столовая выдавала ежемесячно семьсот билетов на бесплатные обеды. В 1913 году в Московском университете было всего 9892 студента. Значит, 14-я часть студентов пользовалась бесплатными обедами...* <...>

Хлеб насущный — на «днесь», на сегодняшний день,— был у каждого московского жителя.

Болшево. 24.XII.1941 г.

---

* Русские ведомости. 1914. № 9. 12 января.

Глава 3

РОДНОЙ ДОМ

В Москве дореволюционной была целая местность, которая звалась «Тишина».

Местность эта находилась между Сокольниками и Преображенским, но название это — *«Тишина»* — вполне подходило бы и нашим Плетешкам.

Извилистый, что ручеек, переулок (или «проулок» по московскому говору) уводил пешехода от Богоявления, что в Елохове, и сразу же погружал в стойкую, никем не вспугнутую тишину. Переулочек извивался между высоких деревянных заборов и невысоких деревянных же домиков; поворачивал вправо, упирался тупиком в заповедный сад 2-й мужской гимназии, в котором некогда разгуливал Яков Брюс[1], затем, словно испугавшись встречи с этим таинственным «птенцом гнезда Петрова», шарахался в сторону, пересекал Лефортовский переулок (опять имя, связанное с «гнездом Петровым»), ведший на Немецкую улицу (ныне Бауманская улица.— *Е. Л.*), и наконец-то выводил в Аптекарский переулок (тоже название петровских времен). Лефортовский переулок, точь-в-точь такой же тихий, как Плетешковский, уже совсем был захолустен: его пересекал настоящий ручей — знаменитый некогда Кукуй, именем которого звалась у древних москвичей и вся слобода, иначе зовомая Немецкой. Когда шли осенние дожди или слишком торопливо пригревало солнце в весеннюю ростепель, Кукуй своим потоком не без озорства преграждал путь редким ездокам по Лефортовскому переулку. Немецкая улица — некогда главная улица одноименной Слободы — в ее отрезке между Лефортовским переулком и Елоховской (ныне Спартаковская улица.— *Е. Л.*) тоже была тиха: по ней не повизгивала даже конка, как на Елоховской, и на ней не дрожали от шума машин фабричные корпуса.

Но и Елоховская улица, замыкавшая четырехугольник с севера, несмотря на то, что по ней проходила линия конки и ездили «линейки», соединяя дальнее Преображенское с «городом», тоже не грешила шумом: движение конки оканчивалось к 9½ часам, а «линейки» еще раньше.

Без всякого преувеличения можно было назвать наш квартал четырехугольником *тишины.*

Эту елоховскую тишину — до революции 1905 года — нарушал «лишь гул Господней непогоды да звон святых колоколов».

Да и как не быть этой тишине, когда ее питомником, как всюду, была здесь природа?

На улицы Елоховскую и Немецкую, на переулки Плетешковский и Лефортовский выходили невысокие дома (выше двух этажей был только один, о котором будет особая речь), а за домами сейчас же начинались сады, и они-то образовывали тот зеленый квадрат тишины, который давал столько свежести, чистоты и покоя всей округе. Если б разгородить заборы, разделившие этот зеленый квадрат по отдельным владениям, мы очутились бы словно в какой-нибудь Воробьевке или Колотовке, с ее деревенским зеленым привольем. Шумели столетние липы и тополя. По весне розоватым снегом благоухали яблони и вишни. Высокие черемухи были покрыты белым пухом, издававшим пряный, крепкий аромат; сплошные заросли сирени отвечали на этот первый весенний аромат иным запахом, более тонким и нежным. Позже цвел бледно-палевый жасмин, розовый шиповник. Пчелы жужжали в этих пахучих кустах. Сколько птиц гнездилось в этом зеленом квадрате!

Поверят ли мне — в этом елоховском четырехугольнике были свои луга, поля, ручьи и пруды?

А они, действительно, были.

Несколько шагов по левой стороне переулка — и мы у ворот старого дома.

Широкие деревянные ворота, окрашенные в «дикий цвет», всегда на запоре. По бокам — одна фальшивая калитка, наглухо заделанная; другая, справа, настоящая: она тоже на запоре. Над настоящей калиткой надпись на дощечке: «Басманной части такого-то участка. Дом Московского первой гильдии купца...» Над «фальшивой» — такая же дощечка с надписью: «Свободен от постоя».

Эта надпись и в детские мои годы была уже анахронизмом. Она свидетельствовала, что в данное домовладение нельзя ставить солдат на постой; право на «свободу от постою» покупалось недешево. С по-

строением казарм «постой» солдат по домам прекратился и дощечка утеряла свою цену.

От ворот, вправо по переулку, вымощенному булыжником, тянется нарядный деревянный забор, «дикого цвета». Перед тротуаром (по-елоховски — «плитувар») из каменных плит торчали серые каменные тумбы. В «высокоторжественные дни» на них ставили глиняные плошки с фитилем, погруженным в сало. Чадя и дымя, плошки эти пылали как факелы.

В те же царские дни над воротами горела шестиугольная звезда, уставленная разноцветными шкаликами.

Переулок освещался керосиновыми фонарями на деревянных столбах. Для того чтобы усилить свет фонаря, потолок в нем был зеркальный, ламповщик — черный неуклюжий человек, взбираясь с первым веянием сумерек по лесенке на фонарный столб, усердно протирал стекла щеткой-ежом, но фонари светили скудно, скорее мерцали, чем светили. Фонарщики получали грошовое жалованье и «пользовались» от казенного керосина. Где-то в тупике, между двумя домишками, всегда стоял их промасленный керосином ящик на колесах с убогими принадлежностями их ремесла: стеклами, щетками и т. п. — и ни одному вору не приходило в голову поживиться этим добром.

Нашим соседом слева был дровяной склад Моргунова. Оттуда по утрам доносился бодрый хрусткий звук дровоколов, колющих березовые (осиновые кто же покупал тогда?) дрова и веяло оттуда приятным «духом березовым», как из рощи после теплого дождя.

Сосед справа был примечательнее. Его дом выходил фасадом на переулок. Дом был серый деревянный, одноэтажный, на кирпичном фундаменте с мезонином в три окошка и с наглухо запертыми воротами.

Окна с раннего вечера и до позднего утра были прикрыты громоздкими ставнями; а когда были открыты, глядели в переулок тускло, хмуро, подслеповато. В окнах никто никогда не появлялся, и, судя по холодному безмолвию, окутавшему дом, точно перенесенный из какого-нибудь дворянского гнезда черноземных проселков, судя по мостовой и тротуару перед домом, спокойно заросшим травою, можно было подумать, что все в доме вымерло и у него нет хозяина.

Но хозяин был.

На воротах обозначено: «Дом гвардии поручика Ф. П. Макеровского. Свободен от постою».

Портрет этого Макеровского теперь известен всем: это тот прелестный «Мальчик в маскарадном костюме», которого написала волшебная кисть Д. Г. Левицкого в 1789 году и который украшает теперь зал XVIII века Третьяковской галереи. Но туда переселился веселый и лукавый «Мальчик» лишь в 1941 году, а до того таился он ото всех в холодном и печальном особняке в Плетешках.

Имя этого Фавста Петровича Макеровского, умершего в 1847 году, и значилось на соседних воротах. А в доме доживал свой век сын этого Фауста в гвардейском мундире (Фавст — русская переделка имени Фауст) — угрюмый барин «невидимка», не появлявшийся никогда даже в церкви, но принимавший по праздникам приходский причт.

Макеровский был загадкой для Плетешков. Какая-то тайна реяла над ним и над его домом. Он был богат и одинок. Говорили, что как только произошло освобождение крестьян, Макеровский продал имения и затворился в своем плетешковском особняке, недоступный ни для кого, вместе с крепостными слугами, не пожелавшими отойти от барина. Так ли это было или не так, но дом Макеровского с его большим безмолвным владением, тянувшимся рядом с нашим двором и садом, был воплощением отжитого времени и невозмутимой тишины.

Линия тишины не обрывалась и дальше по переулку: за особняком Макеровского следовал, не помню уж чей, тишайший домик с палисадником; на окнах его почему-то всегда были спущены шторы из соломы с нарисованными на них учтивыми рыцарями в перистых шлемах и сельским пейзажем; в палисаднике цвели мальвы и вился дикий виноград.

Насупротив нашего дома, от самой Елоховской тянулось владение Голубевой. В двухэтажном флигеле жил доктор; ежедневно, в пять часов вечера, с точностью Брегета, зажигал он у себя на столе лампу под зеленым абажуром — по этой зеленой лампе проверяли в нашем доме часы. А в большом, тоже двухэтажном здании помещался дом умалишенных. Дом был каменный с небольшим балконом. Его поддерживали

атланты в виде двух бородатых голых человек, и мне, маленькому, всегда казалось, что их косматые головы, на которые опирается балкон, изнемогают от боли под его тяжестью, и атланты чем-то напоминали мне душевнобольных, тревожный покой которых они стерегли: у тех также болел мозг, как у этих согбенных великанов.

В начале лета умалишенных из голубевского дома увозили на дачу, и, пока грузили фургоны всяким скарбом, больные, странно жестикулируя и выкрикивая какие-то приветствия, весьма добродушно бродили по переулку, присаживались на тумбы, рвали зеленую травку и золотые одуванчики, пробивавшиеся между булыжников. Переулок был так тих, что не было опасений, что кто-то ездой или шумом встревожит больных и всполошит недолгое благодушие.

Тишину переулка должен был бы нарушать кабак, находившийся в извороте к тупику. Кабак был в одно тусклое окно, с узкой шипучей дверью на блоке; на красной вывеске выведено было белыми глазастыми буквами: «Вино. Распивочно и на вынос» (такие вывески были непременной принадлежностью кабаков, как вывески красные с синим — пивной). Но кабак был небольшой, захудалый, торговал больше «на вынос», чем «распивочно», и если и пошумливал, то только по большим праздникам, да и то вполголоса, а не в полный бас, как шумели кабаки на знаменитом Разгуляе или на Немецком рынке.

Нет, и «зелено вино» не нарушало в Плетешках тишины.

А временами переулок становился еще тише: перед чьим-нибудь домом булыжную мостовую от тротуара до тротуара густо устилали соломой. Это означало, что в доме есть тяжелобольной и нуждается в особом покое. Так делывали всюду в прежней Москве: перед домом тяжелобольных ездили по соломенному настилу — и улицы и переулки запасались новой тишиной.

Звонок от нашей калитки был проведен к дворницкой, в конце двора, и надо было минуты две-три обождать, пока дворник в белом фартуке отворит калитку.

Двор был так широк и просторен, что впоследствии на нем был выстроен большой доходный дом, и еще осталось довольно места для просторного двора. От во-

рот к дому вела дорожка, убитая красным щебнем с крошечным мосточком через канавку для водостока. Направо поднималась купа высоких тополей, меж которых подвязаны были качели — весенняя утеха детей, горничных и городских «мальчишек».

По забору тянулось собачье строение — три домика-конурки для немалого собачьего населения двора: для грозного рыжего, как лис, и сильного, как волк, Полкана, для его собрата — черноухого Мальчика, для их родительницы, хитрой и вкрадчивой Розки и для ее последыша — неуемного весельчака Щинки, нашего любимца, товарища игр и проказ.

Полкан и черноухий были на цепи и спускались с нее лишь на ночь; Розка и Щинка пользовались неограниченной свободой.

За купой тополей стоял курятник — избушка отнюдь не на курьих ножках, но с большим куриным, индюшачьим, утиным и гусиным населением, находившимся под командой «черной» Арины. Около избушки лежало на земле большое корыто — птичий водопой.

Перед домом был колодец. Воду из него брали для стирки, для мытья полов и т. п. Но для питья, для готовки кушанья, для солки огурцов признавали только одну воду — чистую мытищинскую — ее ежедневно поутру привозил водовоз и сливал во вместительные кади.

Дом был большой, двухэтажный, каменный, старинной стройки начала XIX столетия, а может быть, и конца XVIII.

Отец купил его у какого-то барина, ранее сдававшего дом под «Пушкинское училище». Дом был без «архитектуры»: ни лицевых фасадов, ни фронтонов, ни колонн, но строен так, точно в нем намеревались не просто жить, а века вековать. Стены были широки, плотны, добротны, как в древнем монастыре. Половина нижнего жилья была на сводах, точно трапезная палата в таком монастыре. В старом доме, при «господах» под этими сводами помещались кухня с широчайшей русской печью, а подле нее было помещение для челяди. Во второй половине нижнего жилья, отделенной от первой кирпичной стеною, было, при тех же господах, должно быть, жилье каких-нибудь малых домочадцев: бедных родственников, приживалов, дворецкого — всех тех, кому не было прямого, открытого хода

вверх, в господские апартаменты: низ с верхом не сообщался такой лестницей, по которой равные ходят к равным. Всего при отце внизу, что на сводах, было шесть комнат. Вверху — тоже шесть комнат.

Но семья отца была так велика, что и этих двенадцати комнат было маловато, и отец пристроил к половине переднего фасада деревянную, оштукатуренную пристройку, в которой вверху поместилась обширная столовая с девичьей, а внизу — большая кухня с чуланами. Старинная же кухня была превращена в прачечную, а две горницы для «челяди» — в «молодцовскую» для приказчиков и городских мальчиков.

У дома, как сказано, не было фасада: толстые стены ослепительной белизны, большие окна под парусинными «маркизами» от солнца; темно-желтая дверь парадного крыльца; рядом дверь в нижнее жилье; еще подале — «черное крыльцо» — в кухню и наверх, в столовую; серый деревянный треугольник чердака над домом; зеленая, покатая, на четыре угла, кровля; кирпичные трубы над нею с резными, из жести, украшениями и флюгерами в виде флажков.

...Это поместительное, старое белокаменное здание, содержимое в большой чистоте и приглядности, было именно *дом* — большой, не огромный, дом, рассчитанный на большую семью, но построенный внешне и внутри так, что, кроме этой одной семьи со всеми ее домочадцами и слугами, он никого и ничего не мог, да и не желал вместить: ни квартир с жильцами, ни контор, ни учреждений.

Когда отец продал дом, купившему пришлось все в доме переломать и перестроить, чтобы приблизить его к обычному типу доходного дома, где все «отдается внаймы».

Парадное крыльцо открывает перед нами деревянную лестницу, покрытую ковром, примкнутым к ступеням медными прутьями, вводящую нас через обитую серым войлоком дверь в переднюю. Передняя невелика: в одно окно, с большим, вечно покрытым маленькими розовыми цветочками кустом терновника. Под окном — дубовый ларь, покрытый мохнатым ковром,— любимое место наших детских ожиданий и мечтаний. Валяемся, бывало, на ковре-мохнатке, заглядываем в окно, а за окном летают белые мухи — падает первый снег, готовя порошу для санок, или опускается тонкая

сетка осеннего дождя — а мы ждем маму или отца из «города» — с подарками, с игрушками. Или мы никого не ждем, а молча любуемся на серебряное волшебство за окном — на новые сокровища декабрьского жемчужного инея и алмазных снегов,— и чуются за ними еще далекие шаги волшебника Мороза с рождественской елкой.

<...>

Из передней было три двери: в залу, в мамину спальню и в коридор, ведший в детскую и столовую.

Дубовая лестница винтом вела в нижнее жилье. Никакой другой лестницы между верхом и низом не было; очень возможно, что ее прежде, в «господские» времена, и вовсе не было, а в отверстие, пробитое для нее, снизу из кухни подавались кушанья особым подъемником. Лестница была так узка, что ни Варламову, ни Давыдову по ней не спуститься бы вниз, да и тот, кто был вдвое потоньше их, застрял бы на второй же ступеньке. К тому же лестница была так крута, что нам, детям, запрещалось «самим» или «одним» спускаться по ней. <...>

Зал (или «залушка», как звал отец) была самая большая комната в доме, окнами в сад, и самая важная. К белым стенам были прикреплены бронзовые «настенники» — бра — со стеариновыми свечами; с потолка спускалась бронзовая люстра с такими же свечами. По стенам были чинно расставлены черные стулья и два ломберных стола, у окна в кадках — тропические растения. Посреди зала стоял дубовый стол, к которому семья собиралась за дневной и вечерний чай. В остальное время зал был пуст. Раза три-четыре в году выносили из зала дубовый стол — и по паркету носились танцующие пары.

Но и эти пары, и семья за вечерним чаем — все это были гости в большом зале. У него был настоящий Хозяин, никогда его не покидавший: большой старинный образ Спаса Нерукотворенного в правом углу. Перед темным Ликом горела неугасимая лампада.

Здесь, в этом переднем углу, было заветное место всего дома и всей семьи.

Здесь, перед старинным Спасом, приходское духовенство «славило Христа» в Рождество, пело «Христос воскресе» в Светлый праздник, молебствовало Николе в именинный день отца. Здесь крестили тех из детей,

кто родился слабым и кого боялись нести в приходской храм. Здесь, под Нерукотворенным образом, благословляли образами сестер, выдаваемых замуж. Здесь совершали напутственные молебны перед отправлением в путь, далекий или близкий, всей семьи или одного из ее сочленов. Здесь служились и благодарственные молебны при возвращении из пути и при других радостных событиях.

Этот Спас прибыл с отцом из родной Калуги — в нем была связь семьи с родом, с родным городом, с «прежде почившими отцами и братьями».

Отец, приезжая из «города», скинув шубу, прямым шагом шел к Нему — и молился Ему горячо и благодарно как Хранителю и Спасителю.

Затем отец шел в гостиную — молиться на образ Успенья Богоматери — точь-в-точь такой, как в Киево-Печерской лавре. Войдем за ним туда же. Гостиная — большая комната; два окна на двор, два окна и дверь на террасу, выходящую в сад. В гостиной ореховая мебель, обитая малиновым атласом; портьеры малинового бархата, перед диваном — стол под бархатной скатертью, в углу — рояль. Два маленьких столика служат зыбкими пьедесталами для статуэток. Одна — из золоченой бронзы — Александра II в неестественном для него величественном виде: в каске с фонтаном из перьев, с острой шпагой. Другая — из темной бронзы с прозеленью.

Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом [2].—

Наполеон, на нем «серый походный сюртук»; император без шпаги. Она была на статуэтке, но кем-то отвинчена: должно быть, каким-то старинным русским патриотом, помнившим 1812 год.

Я пятилетним ребенком выиграл эту старинную статуэтку в лотерею, устроенную в Большом театре в пользу голодающих.

Когда дом был продан, бронзовый Наполеон долго стоял в моей маленькой комнатушке, уже населявшейся понемногу книгами. Светлобронзовый Александр II был мне не нужен: он переселился в комнату к маме, а побежденный император дорог мне был своей гордой скорбью и суровым величием. Я бы ни за что не расстался с ним, но, увы, нужно было платить за

ученье брата в гимназию — и Наполеон навсегда ушел из моей комнаты.

Перед окнами, выходящими в сад, и на окнах были расставлены пальмы, фикусы, панданусы, рододендроны, лилии. Это был маленький зимний сад, которым заведовал садовник Павел Иванович: высокий, важный, по временам являлся он откуда-то и «пересаживал цветы», обновляя их землю, посыпая каким-то удобрением и подстригая ненужные ветки.

Когда пришло разоренье и пришлось перебраться из высоких, просторных комнат в низенькие, тесные комнатушки на Переведеновке, старый садовник пожалел цветы: он взял их к себе на сохраненье, а затем пожалел... расстаться с ними: сказать проще, присвоил их себе.

В гостиную, в укромный уголок, закрался зачем-то курительный столик об одну ножку, с маленькой бронзовой гильотиной для обрубки сигар. Но их никто у нас не курил, и гильотина бездействовала.

С потолка освещала гостиную розовато-малиновая висячая лампа, обрамленная бронзовыми подсвечниками со свечами.

Долгое время это была единственная лампа в верхнем, парадном жилье дома: отец боялся пожаров, был уверен, что легко воспламеняющийся «фотоген» (так звали тогда керосин) — дело опасное в семейном доме, где много детей, и дом освещался свечами.

Когда в гостиной зажигали розово-малиновую лампу — это был признак, что в доме почетные гости; когда при этой лампе зажигались еще окружавшие ее свечи, это был знак, что в доме — званый вечер с танцами.

Гостиная была самая малообитаемая комната в доме. Мебель стояла в парусиновых чехлах с красными кумачовыми выпушками. По утрам приходила в гостиную младшая сестра играть на рояле. Иногда ее сменял «братец Понтя» (Пантелеймон), подбиравший на рояле «по слуху». От него я перенял марш Черномора из «Руслана и Людмилы» и песенку старичков из «Фауста». <...>

Это были первые оперные мелодии, врезавшиеся в мой детский слух.

Нас не то что не пускали в гостиную, а отстраняли от игр в ней.

К тому же там висели царские портреты в золоченых рамах.

Иногда, пробравшись в гостиную, мы залезали под рояль и слушали, как сестра играет гаммы и «Бурю на Волге»; случалось, сами, притронувшись к клавишам, пытались извлечь какие-то робкие звуки; иногда пытались действовать сигарочной гильотиной, обрубая ею головки спичек, а иной раз — что уж совсем запрещалось — чиркали спичкой об особый зажигательный коверчик, прикрепленный в бронзовой рамочке к курительному столику.

За все это нас немедленно постигало изгнание из гостиной с подтверждением запрета — не ходить в нее.

Но больше всего любил я прокрасться в гостиную один и смотреть на безмолвного бронзового Наполеона. Я с ранних лет знал наизусть «Воздушный корабль» (стихотворение Лермонтова.— *Е. Л.*) и, смотря на темно-зеленого императора, захваченного одинокою думою, шептал:

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

«Они продали шпагу свою, а у него ее отняли!»

Было единственное время в году, когда гостиная становилась *нашей* комнатой, как бы второй детской: это на Святках, когда в нее — непременно в нее — Дед Мороз приносил елку.

А с весенним теплом гостиная становилась проходной комнатой: через нее все проходили на широкую, просторную террасу, выходившую в сад. Над террасой не было никакого навеса, только в самую жаркую мѐжень лета растягивали над ней парусиновый тент. На террасе в летнее время пили чай и обедали. Там же стояла маленькая ванна; мы плескались в ней в летний зной.

Гостиная сообщалась со спальней дверью, затворенной наглухо и завешенной бархатной портьерой. Дверь эта раскрывалась в самых горьких случаях: при тяжелой болезни мамы, когда требовалось больше воздуха, или, когда, прикованная к постели, она слушала молебен, служившийся в зале перед Спасом.

Спальня была точь-в-точь таких же размеров, как

гостиная, только окнами на двор, и мебель была в ней такая же, как в гостиной, только крытая кретоном в восточном вкусе. Одно окно было превращено в шкаф. В нем была отдельная полочка с лакомствами (пастила, смоквы, финики в арабских коробочках, сушеные абрикосы во французской изящной упаковке), но в нем же стоял особый маленький шкафик с лекарствами, в том числе с ненавистнейшим из них — с касторкой. На других полках помещался небольшой запас маминых книг: ее старинная «Священная история», издания 1840-х годов, «Памятник веры», в который вносилась летопись рождений, именин и прочих домашних событий, миниатюрное «Горе от ума» (2-е издание, 1832), по которому я еще ребенком полюбил знаменитую комедию, отдельное издание «Евгения Онегина» с гравюрами на дереве, басни Крылова с красочными политипажами Панова, тоненькая книжечка Кольцова в красном коленкоре, рукописные «Русские женщины» Некрасова — все драгоценные для моей памяти книги, мои первые любимцы и друзья. Сюда же постепенно стали проникать и первые наши детские книги. Мы еще не умели читать, а для нас уже выписывался журнал «Малютка» и переплетался том за томом. Сюда пришли вслед за тем А. Н. Афанасьев со своими «Русскими детскими сказками», Андерсен, братья Гримм, кн. В. Ф. Одоевский со своими «Сказками дедушки Иринея», книга немецких сказаний про Рубецаля, сокращенные «Дон Кихот», «Гулливер», «Мюнхгаузен», полный «Робинзон» — и ранее всех — несравненный наш любимец «Степка Растрепка» с иллюстрациями, раскрашенными от руки.

Около этого шкафа — окно; под круглыми часами и под шитой шерстью картиной, изображавшей румяную девицу, отдыхающую под развесистым деревом, стоял мягкий диван. В сумерки, забравшись на него, мы с упоением слушали сказки Андерсена или совсем, совсем другое! — с теплым и светлым чувством любви внимали мы житиям святых, Георгия Победоносца или великомученицы Варвары «невесты Христовой прекрасной». То и другое читала нам мама в редкие сумеречные часы, когда хозяйственная забота позволяла ей быть с нами.

Два передних угла спальни были заняты один — ореховой «божницей», другой — черным «угольником».

В высоком узком «угольнике», в золоченой раме в виде вьющегося винограда, высились, один на другом, лики Трех святителей, Иверской Богоматери и Архангела Михаила.

«Божница» вошла в наш дом вместе с мамой. Это был ее «кивот» святыни. <...>

В божнице же хранилось много мелких икон и иконок — живописных, финифтяных, литых из серебра и резных из кипариса.

Если б можно было рассказать о каждой из них, откуда и почему внесена она с благоговейной верой и с теплым упованием в этот домашний кивот святыни, какую повесть сердечных утрат, несбывшихся надежд и вновь воскресших светлых чаяний можно было бы прочесть, глядя на эти большие и малые, светлые и темные лики!

Тут были образа и кресты из разных святых мест русской земли: из Московского Кремля, из Троицкой Лавры, из Ростова Великого, из древнего Киева.

Тут были святыни и с далекого чужестранного православного Востока и Юга. <...>

Все это были дары, привезенные отцу и матери паломниками, которым они помогали отправиться в далекий путь, прохоженный еще русскими людьми в XI веке.

Глядя на эти палестинские вайи и итальянское мирро[3], я рано научился уноситься сердцем за этими паломниками в далекие святые места. Когда я, еще ребенком, читал и повторял наизусть «Ветку Палестины»:

Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой...
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой,—

мне не нужно было никаких объяснений: все это было перед моими глазами в маминой комнате, перед всем этим я молился с чистой детской верой, с теплым упованием и светлой любовью.

«Луч лампады...» Как знаком он был мне с первых

дней младенчества! Он встречал нас в каждой комнате обширного отчего дома: всюду сиял он — золотой, синий, алый, зеленый — высоко, в переднем углу. <...>

В ореховой божнице был небольшой выдвижной ящичек: в нем хранилось Евангелие на русском и на славянском языках и жития святых в дешевых народных изданиях.

А низ божницы растворялся двумя глухими дверками — и там на двух полках вмещено было неслыханное, как нам казалось, богатство — целый мир самых заветных игрушек — тех, в которые играла еще мама, тех, в которые любил играть покойный братец Коля! Лишь изредка — всего несколько раз в году — раскрывались перед нами эти ореховые дверцы, и мы приникали к этим сокровищам — к фарфоровым зайчикам братца Коли, к его любимой собачке: сама серая невеличка, «а хвост акорючкой!», как говорил Коля, к маленькому шкафику из слоновой кости, в который играла маленькая мама, к корзиночке с крошечными флакончиками со старыми густыми духами. С особым благоговением могли мы тогда взять в руки пасхальное яйцо из пальмового дерева, которым когда-то христосовалась бабушка с прабабушкой, или заветное фарфоровое яичко, с которым мама сказала первое «Христос воскресе» своему первенцу.

Сколько радости давал нам этот шкафик под божницей!

В комнате стояло два вместительных комода, один — со спальным, другой — с носильным бельем. Среди белья лежали душистые розовые подушечки («саше») и листочки душистой же китайской бумаги, распространявшие тонкий аромат. А в одном из ящиков комода — но в каком? — всегда таилась коробка с конфетами, и, когда вечером мы просили «полакомиться», мама доставала оттуда любимую конфетку или шоколадку.

На комодах пребывали зеркала — отличные «калашниковские» зеркала, светлые, как кристальный родник, и шкатулки из розового, голубого и черного дерева. В высокой узкой шкатулке из оливкового дерева с инкрустациями, в особых хрустальных жбанах с плотными крышками, благоухал китайский чай редко-

го букета: его заваривали для знатоков из почетных гостей.

Над комодом висела вторая, шитая шелками картина: вид какого-то средневекового города с башнями и крепостным мостом.

Посредине комнаты помещалась большая деревянная двуспальная кровать. На ней родились я и мои братья.

У окна стоял небольшой письменный стол — под ним был постлан мягкий ковер, и там, под столом, как под сводом, любили мы играть с братом.

На окнах зеленели небольшие лимоны, пальмочки и благоухали пармские фиалки — любимые мамины цветы.

После детской мамина спальня была нашей самой любимой комнатой в доме: оттуда вынес я любовь к книге и там узнал я первую сладость молитвы.

В детскую вел маленький коридорчик из передней.

Детская была большая комната о трех окнах, выходящих в узкий закоулок нашего сада и в соседний сад Мануиловых.

Невысокая перегородка делила детскую на две неравные части. Меньшая, в одно окно, служила нашей спальней: в ней стояли наши кроватки под пологом и постель няни. В большей же половине с широкой кафельной лежанкой, с сундуком, покрытым мохнатым ковром, с обоями, изображавшими катанье детей на салазках, с большими настенными часами, разговаривавшими с нами приятным баритонным боем, с двумя высокими окнами, из которых одно было в полном владении брата, другое — в моем и населено нашими любимыми игрушками — проходила вся наша жизнь: тут мы играли, пили, ели, слушали нянины рассказы, рисовали, учили уроки.

Я не могу описывать детской. Это была не комната, это был для нас целый мир. Иван с серым волком были такими же несомненными его обитателями, как высокий солдат из папье-маше, дежуривший бессменно у братнина столика с игрушками. Окна детской выходили не только в сад Мануиловых, но и во владенье Бабы-Яги, обнесенное высоким тыном со светящимися черепами, и падал за этими окнами не один декабрьский пушистый снег, но там жужжали целым роем бе-

лые пчелки Деда Мороза, летя с золотым медком рождественских радостей.

Это был целый мир — прекрасный, полный мир. Его нельзя описывать. В него можешь лишь войти на миг — войти в то редкое мгновенье, когда с такой особливой правдой звучат слова поэта:

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной [4].

Поэтому выйдем сейчас из детской, надеясь возвратиться в нее тогда, когда «память сердца» будет во всей своей благодатной силе, и перейдем в другую, соседнюю комнату старого дома — в комнату «молодых людей».

Это комната старших братьев, которые годились бы нам в отцы.

Два брата этих — Николай и Александр — отличались полным несходством характеров, и это легко было приметить в их комнате: у старшего был большой письменный стол с чернильным прибором черного мрамора, с пресс-папье в виде фарфорового бульдога, лежащего на белом мраморе, у второго — был комод, наполненный крахмальными сорочками, галстуками и фиксатуарами, а на комоде — туалетное зеркало и шкатулка с запонками и перчатками. У старшего же был книжный шкаф, в котором стоял переплетенный комплект «Нивы» [5] за все годы ее существования, Пушкин и несколько других книг. Над шкафом высился гипсовый бюст Шекспира, сочинений которого не было в шкафу и во всем доме. За все время, сколько знавал этот шкаф «братца Коли», в нем не прибавилось ни одной книги, кроме новых переплетенных годов «Нивы. <...>

Коридорчик, ведший из передней в детскую, заворачивал под углом и вводил в столовую о трех окнах, выходивших во двор. <...>

Во всю столовую тянулся длинный и узкий, как в монастырских трапезных, обеденный стол. За ним пили утренний чай, завтракали и обедали, никогда не садясь меньше чем пятнадцать-шестнадцать человек. Стол всегда был накрыт белой льняной скатертью деревенского тканья.

Отец с матерью садились за узкий край стола под Деисусом, отец сам разливал щи или суп, прислужи-

вавшая «столовая» горничная разносила тарелки. За столом царила тишина: отец не терпел праздных разговоров, а тем более смеха, за столом. «Стол — престол»,— говаривал он, и, когда он возглавлял обед своей семьи, столовая превращалась в трапезную: перед началом и после еды молились перед Деисусом, хотя вслух молитвы не читали; по окончании еды все подходили к концу стола благодарить отца и мать.

«Не умеешь сидеть за столом!» — это замечание отца было одним из самых строгих и укорительных. Оно означало: не умеешь уважать хлеб насущный и труд, с которым он достается. Нельзя было и помыслить за столом скатать хлебный катышек или вылепить фигурку из мякиша: это было грехом. «Хлеб — не игрушка»,— строго скажет отец и отнимет ржаной ломоть; если увидит, что кто-нибудь уронил корочку, непременно прикажет: «Подними», если приметит, что хлеб перед кем-нибудь раскрошен на скатерти, усмехнется: «К тебе кур надо звать» — и велит осторожно смести крошки на тарелку — ни одна не должна упасть на пол: растоптать ее великий грех: хлеб — дар Божий.

Со строгостью относился отец и к тому, без чего хлеб не в хлеб,— к соли. Запрещалось макать кусок хлеба в солоницу, считалось за худо просыпать соль на скатерть и тем паче — на пол.

Но с таким благоговением относясь к хлебу с солью, отец любил, чтобы его вдоволь было на столе. В изобилии был и жидкий хлеб русского народа — превосходный квас собственной варки в большом кувшине.

Хлеба и квасу было всем вдоволь в течение целого дня, а не только в обед.

В столовой стояло три буфета.

Один был хлебный: в нем всегда стояло большое блюдо с ломтями черного хлеба и кувшин хлебного квасу, в нем же хранилось столовое белье и посуда.

Второй буфет, из желтого ясеня, был чайный: в нем хранилась чайная посуда, чайное белье и нужные припасы для чая: корзина с белым хлебом, сахар, вазочки с расхожим вареньем для обычного, семейного обихода: черная смородина, крыжовник, яблоки, все из собственного сада.

Оба эти буфета были без запоров.

Третий буфет был на запоре: в нем хранилась лучшая посуда, чайная и столовая, сервизы, дорогое столовое серебро, вазы с отборным вареньем и желе, сушеные фрукты, в нем стояли графины с домашними настойками и бутылки виноградного вина. Все это было наготове к приему гостей, к парадному обеду в этой же столовой.

К столовой примыкал и особый чулан над парадным крыльцом, ключ от которого хранился у мамы: тут в нужной прохладе, но без лютого мороза, береглись закуски, маринованные грибы, банки с консервами, блюда с заливным, бутылки с прованским маслом, все то из съестного, что должно быть под рукой, чтоб быстро угостить внезапного гостя, но что требовало охранительной прохлады.

Дом вообще изобиловал чуланами — всех типов и размеров — теплыми и холодными, опять с разными степенями холода: от легкой прохлады до пылкого мороза, и каждый чулан был населен предметами съедобными и несъедобными, сообразно с его атмосферой и светоустройством. Был чулан около самой кухни, был и под железной кровлей: там, в самом сухом месте, но почти на вольном воздухе, висели гирлянды сушеных грибов и сушеных же яблок и пучки с сухими травами: укропом, полынью, зверобоем, чередой.

К столовой примыкала девичья, где жила верхняя горничная, прислуживавшая при столовой. Тут пребывал собственный нянин самоварчик, из которого она любила попивать особый чаек с горничными или с деревенскими гостями, приехавшими на побывку к кому-нибудь из прислуги. Кроме прямого своего назначения девичья служила какой-то уютной приемной для встречи отца и особенно матери с деревенскими посетителями и со всеми, кто шел в дом черным ходом. Тут и пахло уже деревней: на стенах висели деревенские портреты в затейливых рамочках, никогда не переводились деревенские гостинцы — ржаные лепешки и крепковатые пряники, тут же не смолкали разговоры о вековечных и неутолимых «нуждах деревни».

Бывало, скажут маме:

— Пожалуйте в девичью.

— Что нужно?

— Филипп пришел.

Это значит, пришел коробейник с льняными товарами.

— Сейчас приду. Проводи его в столовую.

Или скажут:

— Авдотья-кормилица пришла.

Это значит, из рязанской глу́хмени добралась до Плетешков Авдотья, выкормившая покойного брата Колю, и пришла, наверное, с какой-нибудь бедой: пала корова или изба погорела.

— Накорми ее,— скажет мама.— Я, как управлюсь с делами, приду.

— Уже поставили самовар,— ответит расторопная горничная Паша, полная сочувствия к Авдотьиной деревенской нужде.

— И хорошо сделали. Что у ней там? Пусть нянька с ней потолкует, чем ей помочь.

Бывает и такой доклад:

— Какая-то старушка простая вас спрашивает.

— Какая такая?

— Говорит, вы ее не знаете, а она нянину тетушку Елену Демьяновну хорошо знает.

— Ну, коли от Елены Демьяновны, пусть подождет меня. Напоите ее в девичьей чайком.

Мы, дети, любили заглянуть в девичью, когда там ждали «за чайком» эти невзрачные послы от далекой деревни в московский дом, где надеялись найти и всегда находили помогу в своей деревенской нужде или слепоте.

Да, и слепоте.

Иной раз та же Паша возвестит маме:

— Дуняша пришла, Егорова (это наш дворник) свояченица. У нее с малым что-то неладно.

— С каким малым?

Но, не дожидаясь ответа, мама уже вспоминает этого малого: здоровенный бутуз с льняными волосами,— и заменяет другим вопросом:

— Что с ним?

— Кричит на крик.

Мама оставляет дела и идет в девичью; тем выспрашивает эту Дуняшу и дает ей строгий наказ, чтобы повела малого к врачу, а к знакомому врачу дает записку, или же, если дело проще и малый, присутствующий тут же, в девичьей, болеет явным пустяком, кажущимся деревенской слепоте смертным недугом,

мама возвращается в спальню, роется в своем аптечном шкапчике и дает матери малого порошок или капли с наказом:

— Давай ему столько-то раз в день. Все пройдет,— а самому малому вручает леденец в нарядной сорочке.

«Черной лестницей» (таково название, а черного, грязного в ней не было ничего) столовая соединяется с «черным крыльцом» и с кухней.

В дом не проникал никакой кухонный чад; кухня была внизу, особо от жилых помещений. Это было владение «белой кухарки» — толстейшей и добродушнейшей Марьи Петровны. Ее весь дом звал Петровна и относился к ней с почтением, не то что к ее помощнице «черной Арине», которая была работяща, но нрава сварливого.

В кухне была не только русская печь, но и европейская плита с духовым шкафом, но тут все было на старорусскую стать: деревянные стены, деревянный стол и скамьи под образами. Образа черные, как в курной избе, стояли в переднем углу на полке, покрытой белым полотенцем, точь-в-точь как в деревенской избе, и с тою же вербою и пасхальными яйцами, хранимыми у образов от Светлого дня до Светлого дня. В кухне обедала вся прислуга. На стол полагали деревенский домотканый льняной столешник, на него ставили широкую чашку со щами. Покрыв себе колени другим длиннейшим столешником, садились вокруг стола няня, Марья Петровна, горничные, дворники и хлебали щи деревянными ложками из общей чашки. Черная Арина подавала кушанья и, сама присаживаясь с краю, присоединялась к обедающим.

За чинностью обеда следили няня и Марья Петровна; тут тоже, как и наверху, скорее «трапезовали», чем обедали.

Но тут в чин трапезования входила непременно общая чашка со щами и кашей: обед совершался точь-в-точь как в деревне, и в этом, должно быть, была его особая прелесть для обедающих. Когда поднималась речь, что пора-де заменить общую чашку отдельными тарелками, черная Арина решительно заявляла:

— Не нами заведено, не нами и кончится.

Приказчикам же, в «молодцовскую», от которых шли эти речи, наливала щи в особую миску, и там они разливали себе по тарелкам.

Не потаю, что и нам с братом особо вкусным казалось похлебать щей из общей чашки рядом с дворником Егором, от которого так хорошо пахнет морозом; заманчиво было опускать деревянную ложку в один взмах с городским мальчиком Филиппом и подносить ко рту, поддерживая ее куском хлеба. Щи тогда казались особенно вкусны, а хлеб нарочито сладок. Мы с братом старались прокрасться в кухню во время обеда и присоединиться к няне. Обычно няня отводила нас наверх, указав, что нам здесь не место, но иногда она оказывалась милостивее — усаживала нас за стол рядом с собой, а черная Арина благосклонно вручала нам по деревянной ложке с ручками в виде серебряных рыбок.

Было для меня наслаждением входить в обряд этой деревенской трапезы, совершаемой в городском купеческом доме. Обедая у себя в детской, мы могли заявлять няне свои желания: этого-то хотим, того-то не хотим, одно — вкусно, другое — невкусно. Здесь, на кухне, за людским столом, всем этим хотеньям-нехотеньям не было места. Кушанье ставилось на стол одно для всех и ничего из него не отделялось в особицу для каждого: ешь то же, что и все и вместе, вровень со всеми. Если городской мальчик Филипп не вровень со всеми, а в особь, удваивая себе добычу, пытался запустить ложку к кускам вареного мяса, его останавливали словом: «Обожди, не горит», а ежели он повторял попытку, дворник Егор не то в шутку, не то всерьез осаживал ложкой по лбу, как добрую, но зарвавшуюся лошадку. Опустив, вровень со всеми, ложку в чашку, надо было нести ее ко рту степенно, неторопливо, чтобы не выплеснуть на столешник, не пролить на соседа. Надо было не «перехватывать кусок» кое-как наспех, а вкушать пищу с достоинством, с уважением к вкушаемому, надо было не наедаться, а обедать и даже трапезовать — надо было, одним словом, соблюдать чин в еде, что так умели делать в старину не только в монастырской трапезной, но и в простой крестьянской избе, и чего не умеют ныне делать нигде.

Я с глубокой благодарностью вспоминаю эту деревенскую трапезу за нашим кухонным столом, за которым часто трапезовали настоящие бабы и мужики из веневской или калужской деревни, приехавшие на гостины к нашей прислуге. Эта трапеза не только вво-

дила меня в обиход русской деревни, она вводила меня еще в обиход старой Руси, чтившей хлеб как высший дар Божий и вкушавшей его с благодарною молитвою.

Нижнее жилье дома с особыми «парадным» и «черным» крыльцами и ходами делилось, как я сказал, на две части: в одной, под сводами, помещалась прачечная (бывшая кухня прежних владетелей дома) и «молодцовская» (бывшая «людская» у «господ»), в другой — в шесть комнат — жили дочери и «средние» сыновья отца от первого брака, с гувернанткой Ольгой Ивановной и особой «барышниной» горничной.

Островский, бытописатель купечества, только раз вывел «молодцовскую» — в первом действии комедии «Бедность не порок»: «Небольшая прикащичья комната; на задней стене дверь, налево в углу кровать, направо шкаф; на левой стене окно, подле окна стол, у стола стул; подле правой стены конторка и деревянная табуретка; подле кровати гитара; на столе и конторке книги и бумаги».

Если прибавить к этому инвентарю деревянные большие счеты, косоватое хмурое зеркало в раме, портрет Александра II под стеклом на стене, растрепанный не то «песенник», не то «сонник» или тот и другой, перепутанные листами в одну книжку без начала, без конца; если открыть в этой «прикащичьей комнате» окно в сад, откуда доносится запах сирени и цветущей яблони, то «молодцовскую» в нашем доме не нужно описывать. Следует только добавить, что их было две — одна для приказчиков помоложе и для мальчиков, другая — для знавшего себе цену Ивана Степановича.

В «молодцовскую» ход нам возбранялся, но тем сильнее хотелось туда проникнуть — к городским «мальчикам», которые были лет на семь, на восемь старше нас, и оттого тем желаннее казалась дружба с ними.

Увы, в «молодцовской» познал я первые опыты курения, но без дальнейших последствий: курильщиком я не стал и в малой степени.

В трех комнатах второй половины нижнего жилья жили сестры; у старших сестер главной достопримечательностью для нас был туалетный столик, весь в белой кисее и голубых бантиках, с флаконами духов.

Старшие сестры были большие рукодельницы, у них в комнате всегда стояли пяльцы; вышивали гладью по полотну, работали «строчку»: в полотняных простынях и наволочках делали особую решетку и покрывали ее узорами; шили по канве бумагой, шелком, шерстью; вязали кружева. Гардины и занавесы на окнах, подзоры у кроватей, скатерти на столах — все было работы сестер. На стене висела этажерка с златообрезными книгами в коленкоровых переплетах, полученными в награду братом Михаилом. Но эти хорошо переплетенные Пушкин, Гоголь, Лермонтов читались не слишком усердно; гораздо усерднее читались романы и журналы, которые брали из библиотеки Александрова на Разгуляе — единственной тогда на все Елохово.

Комната младших сестер не имела своих достопримечательностей, кроме географических карт, глобуса и образа Спаса — копии с того, что висел в зале наверху.

Было еще две комнаты — самой старшей сестры Настасьи Николаевны, вдовы, вернувшейся в родительский дом, и брата Михаила, студента университета.

В Настиной комнате, темной и угрюмой, с окном, зачем-то от древних времен накрепко закрывавшимся чугунным болтом, с «угольником» в три образа, с письменным столом, для меня была одна замечательность: альбом гравюр на дереве к Шекспиру. Иногда сестра брала меня к себе «в гости», поила чаем и позволяла рассматривать этот альбом. Тут впервые познакомился я с образами Шекспира. Как сейчас помню, какое сильное впечатление произвела на меня сцена отравления спящего короля в «Гамлете», три ведьмы «Макбета» и король Лир в короне, безумствующий в бурю.

Это был мой первый восторг-ужас перед Шекспиром, а был я тогда неграмотен и мал.

У Насти же был Мей (я и в него заглянул очень рано) и два-три переплетенных тома вольфовской «Нивы».

Мишина комната в одно окно в сад была нашей классной: брат Михаил, студент Московского университета, был первым моим учителем. С комнатой этой связаны у меня не особенно приятные воспоминания именно потому, что она была классная: «корень уче-

ния горек», и что окно ее выходило в сад. Своей сиреневой лаской и яблочным лакомством сад манил меня от неласковой этимологии Кирпичникова и Гилярова и от совсем несладкого задачника Малинина и Буренина.

Я любил с учебником в руках валяться на кровати брата Михаила и рассматривать висевшую над нею цветистую олеографию «Венки» Якобия[6]: девушки в русских сарафанах, сидя в лодке, пускают венки по воде. Под олеографией висело расписание лекций юридического факультета, я вытвердил его наизусть, находя, что знать, что ординарный профессор Мрочек-Дроздовский читает историю русского права, а Чупров — политическую экономию, куда интереснее, чем затвердить стишки про букву ять.

Вероятно, самые названия «политическая экономия», «энциклопедия права» манили меня загадочною непонятностью или полупонятностью, а имена профессоров Колоколов, Тамбаров, и в особенности зловещее Мрочек-Дроздовский звучали как прозвища каких-то невероятных существ!

Как бы то ни было, подробнейшее расписание лекций я вытвердил наизусть и мог безошибочно сказать брату, в какие часы и в какой аудитории читает такой-то профессор. Добавлю, что самое сильное впечатление производил на меня титул «экстраординарный профессор». Это звучало поистине «гордо и грозно»: э-кс-тра-ор-ди-нар-ный! <...>

Из Мишиной комнаты был запрещенный для нас и вообще закрытый выход в «молодцовскую»; проделанный в толстой кирпичной стене, он был завешен занавеской и служил брату гардеробом. Нам он казался ходом в какое-то подземелье, вроде того, что изображено на картине Зичи[7] с его польской красавицей, томящейся от голода и ждущей себе избавителя в лице Андрия Бульбы. И в самом деле, ход этот был странен, как и вообще было странно, что другая половина нижнего жилья устроена на низких сводах, отделена от первой половины толстейшей капитальной стеной, а уровень пола в ней значительно ниже, чем в главной половине нижнего жилья. Все это было тайной неизвестных строителей старого дома. Через эту запретную дверь, случалось, мы исчезали из классной в «молодцовскую», на волю, от Гилярова-Кирпичникова, Мали-

нина-Буренина и прочих первоначальных мучителей моего отрочества.

Самым же таинственным в доме была для нас действительно непонятная горница, смежная с большой комнатой младших сестер.

Из этой комнаты дверь вела в деревянную оштукатуренную пристройку, на которой покоилась обширная, уже знакомая нам терраса, выступавшая прямоугольником в сад. <...>

Зачем и кем была устроена эта горница? Почему она одна была заброшена в целом доме, тогда как обширная наша семья со многими домочадцами нуждалась в помещениях? Почему об этой необитаемой «витальнице» никогда не заходила речь?

Все это было «покрыто мраком неизвестности», и мрак этот усиливался для нас, когда нам удавалось — всего раза три-четыре за все детство — проникать в эту горницу. Какие чудные вещи там хранились! Золотая корона, золотые же кубки и кувшины, шкура серого волка — того самого серого волка, что действует и благодетельствует в сказке про Ивана Царевича и Елену Прекрасную.

Корона и кубки тоже были из этой сказки: ее — «Жар-Птицу» Языкова — представляли когда-то средние братья и сестры в комнате младших сестер.

Мы обошли весь дом, но заглянули далеко не во все его темные комнаты, закоулки, прихожие и чуланы. Как в настоящем «старом доме», их в нем было очень много, и самых неожиданных.

Дом был очень тепел.

Голландские печи из белых блестящих изразцов хорошо хранили тепло, копя его под медными затворами и распуская по комнатам через медные же отдушники.

За топкой печей по утрам следил сам отец: он неопустительно обходил все топящиеся печи, смотрел, правильно ли уложены дрова, пылко ли горят, и не уезжал в город, пока не убеждался, что печи закрыты с большим запасом жару, но без предательских синих огоньков. Я не запомню, чтоб кто-нибудь пожаловался в нашем доме на угар или на чад. Никто в доме не зяб, фуфаек, вязаных жилетов и кофт не было в заводе, все ходили в обычных платьях из ситца, легкой бумазеи или тонкой шерсти. Но жары, обломовской духоты и курослеповской испарины в доме не было, дер-

жалась приятная температура в 17—18 градусов по Реомюру.

Отец строго наблюдал, чтобы не было ни недостатка, ни роскоши в тепле, как и во всем другом.

В доме был теплый угол и теплый кусок хлеба для всех, кто жил, служил, гостил или на время там появлялся.

Но выйдем из старого дома опять на двор и перед тем, как войти в сад, пройдемся по «службам», обеспечивавшим этот теплый угол и кусок.

Службы — из красного кирпича — тянулись, вместо забора, по соседству с Макеровским; здесь, под зеленой железной кровлей, были дворницкая, конюшня, каретный сарай, кладовая с сухим подвалом, погребледник, дровяной сарай.

В дворницкую нам строго-настрого запрещалось ходить, но тем сильнее нас туда влекло. В ней пахло не то деревенской избой, не то казармой, и было в ней взаправду нечто от деревенского обихода и что-то от казарменного быта. Деревянный некрашеный пол, широкая русская печь, на которой просторно и жарко было спать дворнику после ночного дежурства на морозе; постель-сенник на козлах, укрытая пестрым ситцевым одеялом из лоскутков; некрашеный деревянный стол — всегда с полуковригой черного хлеба, с деревянной солоницей; кисловатый запах овчинного тулупа и валенок, прогретых на шестке,— все это переносило в большую зажиточную тульскую или рязанскую избу, только стены были из выбеленного кирпича, а не из бревен. Сходство дворницкой с избой довершалось тогда, когда поперек нее протягивались веревки и на них сушились детские пеленки и одеяльца: это означало, что к обстоятельному Егору или гульливому Семену приехала на побывку, на весь мясоед, баба с ребенком. Дворницкая вообще служила прибежищем для деревенских гостей, приезжавших к прислуге: деревенский дух в ней не переводился.

Но не переводился в ней и дух казарменный. Дворники служили раньше в армии. По стенам развешаны были лубочные картинки из русско-турецкой войны 1877—1878 года: неистовая стачка синих казаков с красными баши-бузуками; город, пылающий, как костер, с подписью «Город Систово лупит турок неистово»; «Белый генерал» на белом коне. Какая-то тоже

лубочная книжка о лихом Белом генерале Скобелеве всегда валялась на окне дворницкой. Рассказы об его подвигах были в дворницкой не менее популярны, чем похождения разбойника Чуркина. Из дворницкой вынес я слова и напев болгарской песни:

Шумна Марица
Окровавленна,
Плачь, плачь, девица,
Тяжко ранена.

Оттуда же я вынес наипошлейший мотив, распевавшийся в то время по всем московским окраинам.

Любила я, страдала я,
А он, подлец, сгубил меня...

Жестокий романс этот увековечен Художественным театром: его поет арфянка в четвертом действии «Трех сестер».

Другим романсом, менее жестоким, но еще более распространенным, также снабдила меня дворницкая.

Чудный месяц плывет над рекою,
Все в объятьи ночной тишины...

Был даже песенник с заглавием «Чудный месяц»; на литографированной обложке его черноокая девица обнималась в лодке с молодцем в ярко начищенных сапогах; краснощекая луна любовалась на них с неба, выглянув из облаков в виде павлиньих перьев.

Песни пели в дворницкой под гармонику.

Кроме этих и подобных им песен и жестоких романсов (частушек тогда еще не было) дворницкая значительно обогатила мой и братнин словарь речениями, которым не было входа в наш дом ни с парадного, ни с черного крыльца.

Степенный дворник Егор в этом обогащении нашего словаря не был повинен; другое дело — гульливый Семен и его приятели: соседние молодые дворники, кучера и т. п.

Кирпичная стена отделяла дворницкую от конюшни. Она так звалась понапрасну: своих лошадей у отца не было. Лишь время от времени один из старших братьев Александр заводил лошадку (нашим любимцем был каурый Кобчик) — катался в шарабане; но лошадка скоро исчезала с нашего двора — и конюшня

возвращалась в полное обладание ее бессменной жительницы Буренки.

С Егорьева дня (23 апреля) каждое утро бодро звучал в Плетешках рожок пастуха, и наша Буренка, как будто дело было не в Москве, а в каком-нибудь Утешкине, присоединялась к стаду Чернавок и Красавок. И пастух гнал их по тихим переулкам на большие луговины в извилинах Яузы, возле бывшего Слободского дворца или за садом бывшего загородного дворца Разумовских на Гороховом поле. Скот пасся там с весны до осени. На полдень коров пригоняли, точь-в-точь как в деревне, по домам. Черная Арина доила Буренку, нас поили парным молоком (весною накрошив в него «для здоровья» черносмородинных почек и листочков), а мы потчевали Буренку круто посоленным ломтем черного хлеба.

Когда я был совсем маленьким, у нас водились и овцы; они также ходили в стадо; а рукавички и чулочки были у нас из некупленной шерсти. <...>

В каретном сарае, соседнем с конюшней, карет не было; стояла пролетка; висели по стенам хомуты и седла, стоял тяжелый дубовый каток, на котором катали белье; хранились наши санки и салазки.

Вслед за сараем в «службах» шла кладовая, ключ от которой всегда хранился у матери. Здесь стояли сундуки с шубами, платьями и всяким добром, в котором не было прямой надобности; туда же на лето убирали шубы и другие теплые вещи. На полках по стенам стояли высокие банки с вареньем из черной и красной смородины, из вишни, крыжовника, клубники, малины, яблок (многих сортов), из рябины, из дыни, из клюквы с орехами, из черники с земляникой, из слив, из ренглотов и абрикосов. Банки были прикрыты пергаментом, а поверх были завязаны белой писчей бумагой, и рукою мамы на них было надписано: «Белый налив 1887 года», или: «Клубника 1886 года». Год заходил за год: варенье превосходной маминой варки, по особым рецептам для каждой ягоды, не портилось, не прокисало и не засахаривалось. «Год на год не приходится: в прошлом году яблок был наливной, сочный, в этом году суховат, мелок,— говаривала мама,— вот я и велю подать прошлогоднего яблочного варенья, оно лучше нынешнего».

В кладовой же вместе с вареньями береглись мо-

ченья: маринованный виноград, сливы, вишни; отборные огурчики в перцовом рассоле; моченая брусника, любимое отцово лакомство; моченые антоновские яблоки. Тут же были высокие банки с бисерными темно-янтарными рыжиками.

<...>

Под кладовой был сухой подвал для кореньев: моркови, петрушки, брюквы, редьки, свеклы, хрена.

Пойти в кладовую с мамой или няней было для нас большим удовольствием. Большие шли туда, чтобы проверить, не «сахарится» ли дынное варенье, не холодно ли синему винограду в маринаде, не озорничают ли мыши; мы составляли им охочую компанию, чтоб отведать этой самой дыни, точно ли у нее есть намерение засахариться (сама мама говорит про нее: «Капризное варенье»), или запастись из подвала крепкой оранжевой морковью-коротелью или толстой, как Аринина пятка, репой. Любопытно было посмотреть и на грузные копченые окорока, подвешенные к потолку, они висели там, точно жирный кот, задумавший обмануть мышей в «Войне мышей и лягушек». Глядя на рыжий окорок, похожий на хитрого Мурлыку, притаившегося мертвым, я шептал по-мышиному:

Был он бешен, на краже помешан, за то и повешен —
Радуйся, наше подполье!

А мама с няней совещались о том, чтобы не на радость этому подполью были расставлены в кладовой мышеловки: наш Мурлыка — Васька был старый добродушный кот, он не хаживал в кладовую на охоту, предпочитая сытный обед в кухне, у плиты, из рук столь же добродушной белой кухарки Марьи Петровны.

На погреб мы проникали только во время рубки капусты: черная Арина благосклонно снабжала нас там кочерыжками. В остальное же время вход туда она нам решительно возбраняла — да и не нам одним, а всем: там была ее власть и сила над большими кадями кислой капусты, над бочками соленых огурцов, над чанами с солониной, над молочным скопом. Все это запасали на год на большую семью, на не меньшее число домочадцев, на прислугу, на гостей, на раздачу тому, другому, пятому, десятому,— и все это Арина блюла под наблюдением отца. <...>

Дровяной сарай, набитый доверху березовыми дровами, завершал собою службы.

Службы построил сам отец. <...> Как ни дешева была жизнь в те годы, отцу приходилось кормить до тридцати человек, не считая людей захожих и заезжих,— немудрено, что ему нужда была закупать припасы оптом и запасать их на год по самой сходной цене. Чай выписывался цыбиками в китайских циновках, сахар приобретался головами и раскалывался дома косарем, яблоки для моченья покупались на Болоте ящиками, огурцы солились бочками прямо от огородника, солонину заготовляли по осени, когда дешевле всего была говядина.

Всему этому приготовлено было емкое и прочное место в отцовых «службах». Но была у отца и еще одна причина, почему он вывел такие прочные кирпичные службы. Когда старшие сыновья укоряли отца, что эти сараи обошлись ему слишком дорого: «лучше было бы устроить на эти деньги что-нибудь путное»,— отец хмуро отмалчивался от упреков сыновей: он не хотел посвящать их в свою мечту, от которой они отдаляли его. Об этой отцовской мечте речь будет дальше.

Двор от сада отделялся высокой решеткой с плотно притворенной калиткой. Невдалеке от калитки жил в конуре сторож сада — суровый Бисмарк; к его конуре мы боялись подходить: с ним шутки были плохи, не то что с Розкой или Щинкой. Отец не любил знаменитого Бисмарка за его коварство, но признавал силу «железного канцлера» и окрестил его именем собаку с железной хваткой. Между дворовыми собаками, в особенности Полканом и Бисмарком, была лютая вражда, и строго-настрого запрещено было оставлять калитку в сад открытой: встреча Бисмарка с Полканом сулила исход смертельный. Бисмарка на ночь спускали с цепи, сторож он был превосходный. В этом убедились по следующему происшествию.

Сад наш, соприкасавшийся на три стороны с садами других владений, обнесен был высоким забором; в предосторожность от воров он был утыкан гвоздями и обнесен колючей проволокой. В зимнее время сад был безлюден и заметен высокими сугробами. Однажды ранним морозным утром отец, глянув из окна гостиной в сад, был поражен необычайным зрелищем. На заборе, отделявшем наш сад от еще более пустын-

ного сада Макеровского, сидели верхом какие-то господа в медвежьих шубах и даже... дама в собольей ротонде, а суровый Бисмарк, бегая вдоль забора, злобно лаял на господ и даму. Отец протер глаза от изумления. Вглядевшись пристально, он приметил, что господа в шубах и дама в ротонде по-прежнему сидят верхом на заборе, но голов у них нет. Отец на этот раз протер не только глаза, но и стекло в окне — и тут только разглядел, что безголовые господа и дама не что иное, как пышные шубы и парадная ротонда, перекинутые через забор и застрявшие на колючей проволоке. Отец, взяв с собой дворника, пошел в сад. Там с удовольствием выслушал доклад железного Бисмарка, своего любимца: грозный пес умным своим лаем доложил отцу, что воры, обокрав ночью чью-то переднюю по соседству, перебирались с накраденными шубами глухими садами, перелезая через заборы, но на нашем заборе их постигла катастрофа: суровый Бисмарк обрушился на воров с такой силой и злобой, что они обратились в бегство, спасаясь кто куда мог, а грузные шубы застряли на заборе. На снегу виднелись следы беглецов и преследующей их собаки, тут же валялись клочья от воровских штанов и чуек. Шубы были возвращены владельцам.

Это происшествие хорошо рисует пустынность нашего сада и его величину, теперь уже невероятную для столичного города.

Сад занимал около десятины земли; с северной стороны в него упирались сады четырех владений по Елоховской; с востока с ним были смежны сады двух владений по Немецкой; с юга тянулось нескончаемое владение таинственного Макеровского.

В восточном конце нашего сада протекал ручей Кукуй*. Невзрачный ручей этот вытекал из двух исчезнувших прудов близ Девкина переулка. На плане Москвы 1796 года через ручей обозначен мост на Елоховской улице. В дни моего детства Кукуй протекал под мостовой Елоховской улицы, заключенный в трубу, а поперек нашего сада и других смежных владений тек он по деревянному ложу, огороженному во избежа-

---

* Слова этого нет в словаре Даля. Кукуем в Сергиевом Посаде доселе называется глубокий овраг с ручьем. Встречается это слово, хотя и редко, и в других местах России, обозначая овраг, поросший лозой.

ние наводнений невысоким земляным валом. Выбежав в Лефортовский переулок, Кукуй пересекал его в открытую, прямо по мостовой; опять скрывался в чьи-то сады и впадал дальше в речушку Чечору, вливаясь вместе с ней в Яузу. Этот грязный и неблагоуханный городской ручей оставил по себе звонкое имя в истории Москвы.

Еще у голштинца Олеария, трижды посетившего Москву, ручей Кукуй указан рубежом, отделявшим Немецкую слободу от Москвы. Название Кукуй в устах тишайшей Москвы было синонимом шумной Немецкой слободы с ее «чернокнижием», «бесовскими потехами» и «любострастными игрищами», попросту с ее жизнью на европейский манер. Зная это значение слова «Кукуй» в устах благочестивых москвичей и желая высмеять пышный титул упраздняемого Патриарха Московского и всея Руси, Петр Первый главе «всепьянейшего собора» Никите Зотову дал срамной титул «всешутейшего патриарха Пресбургского *, Яузского и всего Кукуя».

Через сто лет на берегу этого самого Кукуя об угол с нашим садом во владении коллежского регистратора И. В. Скворцова[8] (в мое время — мещан Ананьиных) родился Александр Сергеевич Пушкин.

Летом Кукуй совершенно пересыхал, и по его деревянному ложу нам легко было с братом пробираться под забором во владение к Макеровскому.

Там росла белая сирень. Наш сад по весне весь утопал в сиреневом цвету, но в светло-лиловом и иссиня-розовом, а не в белом, и за белой сиренью мы устраивали с братом походы во владение Макеровского.

Это было маленькое поместье, перенесенное с орловских проселочных дорог в московский переулок.

Когда мы с братом впервые вылезли из-под забора во владение Макеровского, мы разинули рты от удивления.

Перед нами была большая лужайка с высокой травой, с белыми медуницами, с Иван-чаем, с высокими лиловыми колокольчиками. Был полдень. Порхали цветистые бабочки, стрекотали кузнечики, какие-то

---

* «Пресбургом» называлась «потешная» крепостца, возведенная юным Петром на берегу Яузы.

маленькие птички отзывались им в траве точь-в-точь так, как отзываются в вольных лугах далеко, далеко за Москвой. Это были непуганые стрекозы, бабочки, птички над непутаною травою: никто ее не путал, не топтал, как на заповедном лугу. ...В кайме из белой сирени блестел под солнцем небольшой пруд... А немного поодаль, на самом припеке колыхалась зеленою волною рожь — настоящая... озимая рожь!

Была ли это причуда старого помещика, пожелавшего, чтобы в городе было у него в малом виде все, что было в его крепостной деревне, выражалась ли в этом старая, наследственная любовь-тоска по ржаному полю, свойственная русскому человеку, выросшему среди медвяных ржаных межей и заключившему себя на безвыходный плен в городе, но только у Макеровского каждую осень вспахивали сохой кусок земли, сеяли рожь, по весне появлялись всходы, Макеровский в халате выходил посмотреть на первые зеленя, затем на первый колос, а потом, при нем, жали эту полоску, на полоске появлялся золотой сноп. Не знаю, где и как молотили, мололи зерно, но угрюмый барин Макеровский каждую осень отведывал из собственного нового умолота хлеба, как его прадеды в исчезнувшей Отраде!

Пахарем этой единственной в Москве ржаной полосы был кто-то из слуг Макеровского, таких же молчаливых, как он сам.

Помню, мы с братом так были поражены этим прудом и особенно этим ржаным полем, что так и не добрались в тот раз до белой сирени, а нырнули по Кукуеву ложу под забор.

С восточной стороны над Кукуем в наш сад выходило мрачное, запущенное кирпичное здание старинной стройки, с узкими и редкими окнами высоко под крышей. В нем никто не жил. Говорили, будто до «холеры» (т. е. до конца 1840-х годов) здесь была какая-то фабрика, а после холеры все запустело. Потом, когда мы подросли, здание оживилось, в окнах вставили рамы со стеклами и в них появились лица рабочих. В здании водворилась первая в России фабрика фотографических пластинок «Победа» капитана Занковского. Иногда из этих высоких окошек доносилась песня, негромкая и короткая, такая же тоскливая, как серое здание.

Когда в нашем саду поспевали яблоки, рабочие просили нас, детей:

— Пришли яблочков пожевать!

Они спускали из высокого окошка набивной платок. Мы увязывали в него яблоки, и приятный груз благополучно поднимался по веревке в окно.

Заброшенное мрачное здание, в котором водворилась фабрика капитана Занковского, стояло на одном конце его сада, а другой конец сада завершался старинным жилым домом, выходившим на Немецкую. В доме была круглая зала в два света, ее фасад с лепными украшениями в стиле ампир так круто выдавался на улицу, что своим полукружием срезывал тротуар. В доме жил сам капитан Занковский, а внизу помещалась содержимая им закладная контора. За ростовщические проценты он был сослан в Петрозаводск, и в его доме открыта была после 1899 года бесплатная народная читальня имени А. С. Пушкина.

Дом этот был еще петровских времен: он принадлежал светлейшему князю из пирожников А. Д. Меншикову.

Причудницы нет на свете причудливей судьбы. В то самое время, когда мы посылали узелки с яблоками хмурым рабочим капитана Занковского, в его саду бегала совсем маленькая девочка, его дочь Шурочка. Четверть века спустя мы с нею стали большими друзьями, а до того, отделенные одним забором, мы с нею даже не подозревали, что росли рядом, дышали ароматом одних и тех же цветущих яблонь.

Со стороны Елоховской к нашему саду примыкал сад Матюшенковой, такой же, но по-другому тихий, как поместье Макеровского.

Дом Матюшенковой выходил на Елоховскую. Он цел и по сие время, но пристройки и надстройки до неузнаваемости изменили его вид. В мое время белый кирпичный с закругленными окнами, с нижним жильем на крутых сводах, с островерхой вышкой, он был похож на древнерусский терем. Предание уверяло, что дом некогда принадлежал думному дворянину Циклеру — тому самому, что был душою заговора против молодого Петра I. В этот самый дом и явился внезапно Петр на собрание заговорщиков. Достоверно ли это предание, не знаю, но правда то, что дом был XVII века.

В дни моего детства он принадлежал вдове тайного советника Александре Павловне Матюшенковой.

Ее муж был знаменитый московский врач-хирург Иван Петрович Матюшенков, любимый ученик и преемник по кафедре знаменитого Ф. И. Иноземцева[9], каплями которого до сих пор лечится вся Россия. Оба — и Иноземцев и Матюшенков, родившийся через год, как Наполеон ушел из Москвы, славились не одним своим врачебным искусством, но еще больше редкою добротою. Иноземцев в 1840 году открыл бесплатную домашнюю поликлинику для бедных больных, и Матюшенков, окончивший курс в 1836 году и живший у Иноземцева, был ревностным его помощником в этом добром и неслыханном деле. Матюшенков давно умер, а память об его отличном врачевании и теплой доброте продолжала жить в Москве, и особенно в Елохове, и перешла на его вдову, одиноко доживавшую прекрасный свой век в большом старинном доме, помнившем Петра Первого. Старушку — «генеральшу Матюшенкову» почитала и любила вся округа.

В зимний ясный день, бывало, гуляет она в своем саду со старушкой-компаньонкой по узеньким дорожкам, усыпанным песком. В атласном черном салопе с собольей пелериной, в сером пуховом чепце, повязанном шалью, старушка Матюшенкова казалась сошедшею со старого дагерротипа конца 1840-х годов или, еще вернее, с тончайшей акварели художника, работавшего десятилетием раньше. Маленькая старушка-собачка бежит впереди, зябко поднимая то одну, то другую лапку. Старушка-хозяйка вынет, бывало, ручку в перчатке из большой собольей муфты на шелковых шнурках, висевшей через плечо, протянет собачке печенье и, улыбаясь, продолжает прогулку. <...>

Весна, лето, осень, зима были у нас, не как у городских детей: с раннего детства смену времен года мы познавали по веселым проталинкам в саду, занесенном снегом, по первым подснежникам, пробивавшим синей своей головкой тонкую ледяную корочку, по вишням, белеющим в первоцвете, по знойным полудням с цветущим жасмином, по яблоням, гнущимся от тяжелых краснобоких плодов, по пышным георги-

нам, надменно красующимся над золотым листом, покрывшим дорожки, по взрывам студеного ветра, срывающего последние листья с высоких тополей, по крутым снеговеям, творящим злую белую потеху над нагими черными кустами сирени и акаций.

Мы росли и выросли в городе, но благодаря нашему саду не были лишены ни первой ласки весны, ни горячих поцелуев лета, ни мудрой осенней тишины, ни румяной бодрости русской деревенской зимы.

В начале лета поднимались всем домом и уезжали на дачу в Сокольники, но — признаться — нам не заманчив был этот переезд в славную сосновую рощу, тогда еще не порушенную ни топором, ни аттракционом; мы с братом едва ли не предпочитали проводить лето в плетешковском саду. В Сокольниках можно было совершать далекие прогулки, купаться, ходить за земляникой, но все это совершалось под надзором взрослых, в определенное время, с множеством ограничительных условий: «пойдем в лес, *если* будет хорошая погода», «пойдем купаться, *ежели* будешь хорошо себя вести» и т. п.

В саду же мы были на полном приволье. Родители и няня знали, что мы никуда не убежим из сада, что нам не грозит опасность заблудиться, попасть под поезд, утонуть в реке, что нас никто в саду не обидит и мы никого не обидим, что, если прыснет дождь, то вернуть нас в дом — дело одной минуты, и нам предоставляли полную свободу в саду, разумеется, полную «в пределах законности». Законы же эти требовали: не перелезать через забор, не впускать в сад дворовых собак, не рвать яблоневый и вишневый цвет, не есть зеленой смородины и незрелых яблок и т. д. По правде сказать, законы эти нас нимало не обременяли: их легко было исполнять, а при непременном желании легко было и обойти.

В саду было привольно, так привольно, что теперь, через полвека, приволье это кажется деревенскою сказкой, невозможною в городе!

Сад был окружен не одними заборами — зеленая стена высоких тополей отделяла его от соседних владений и от уличной пыли. Как мощны были тополя, можно было судить по тому белому пуховому ковру, которым устилали они дорожки.

Перед домом зеленел большой овал газона с пест-

рыми маками, ромашками, ноготками, синими «глазка́ми» и колокольчиками. Тут же росли розы, гелиотроп, резеда, левкой. Три длинные, длинные дорожки уводили от дома к Кукую. Их пересекали под прямыми углами пять боковых дорожек. Одна из этих дорожек — средняя — упиралась в беседку — деревянный домик о четыре окна, оклеенный внутри обоями.

По сторонам главной дорожки шли кусты русской и персидской сирени, шиповника, жасмина, жимолости, «майской березки». Никакая рука садовника не наводила здесь порядка: все это, никем не стесняемое, пышно разрасталось вширь и ввысь...

За сиренью и шиповником росли стройные тонкие вишни и старые приземистые яблони. Немного было за ними уходу: на зиму обмазывали стволы их глиной, летом ставили подпорки под низкие ветви их, обогащенные плодами, но как не помянуть их добром? По весне в сад точно спускалось розово-белое облако и не таяло день, другой, третий, четвертый, распространяя нежный аромат. Считалось грехом сорвать яблонный или вишневый цвет, и мы, дети, боялись этого греха. В Николин день — в свой именинный день — отец с террасы сердечно любовался этим белоснежным облаком, ниспустившимся над садом. А затем облако таяло, осыпая дорожки душистым снегом. Мы, особенно брат, любили тихонько залезть на яблоню, укрытые ее пышной листвою, слушали мы щебетанье птиц, гуденье пчел или читали, устроившись на сучьях, любимую книжку. Рвать яблоки до Спасова дня было не в обычае, но поднимать упавшие яблоки позволялось, и этим пользовалась вся семья, «молодцовская», кухня и дворницкая. К концу лета начиналась сушка яблок, варка варенья. А в Спасов день сад дарил всех и каждого спелым наливным яблоком. И каких-каких тут не было сортов: коричные, анисовые, китайские, боровинка, белый налив и даже какой-то свинцовый налив!

Свое яблоко прямо с дерева — в нем была особая прелесть, яблочко с веточкой, с листиком — что же может быть свежее и чище?!

Некупленных яблок было вдоволь и для еды, и для годового запасу, и для гостей, и для всех, кто попросит. А случалось, захаживали к нам во двор чужие люди из маленьких плетешковских домишек и просто-

напросто просили яблочка — и не было им отказу.

Промеж яблонь и вишен изредка встречались груши и сливы.

Черной и красной смородины в саду были целые заросли — тут также вволю было всем и отведать, и полакомиться, и варенья сварить. <...>

Был в саду и особый, очень любимый нами малинник. Росла кое-где и лесная земляника.

Были в саду и тень, и солнцепек, и задумчивые уголки, и светлая полянка, на которой мы строили шалаш из соломы, и укромные скамеечки, и нарядная клумба с цветами вокруг столбика с огромным стеклянным шаром, были и скромные кустики акации и бузины.

Ни кур, ни уток, ни гусей в сад не пускали: их уделом был двор. Но в саду было свое птичье население — и оно-то лучше всего и свидетельствовало, как тихо и привольно было в нашем саду. Перепись этого населения никто не производил, но оно само о себе давало знать то радостными заливистыми коленцами зяблика, то сладкой песенкой малиновки, то деловым дятловым «туки-туки», то тонким посвистом синиц. Под кровлей ворковали голуби, скворцы поднимали веселый семейственный гомон в высоком скворечнике.

А по вечерам и по утренней заре пел в саду соловей. Да, соловей, в Москве, в Басманной части, в первом участке!

Он прилетал каждый год, и всякий год с началом весны мы тревожились: прилетит ли? не отпугнет ли его шум железных дорог, гудки фабрик, свистки паровозов? захочет ли он пролететь через этот пояс шума в наш зеленый затон тишины? Но он прилетал ежегодно и пел где-то в сиреневых кустах.

Было в саду и мелкое зверье. Я помню отдушины крота, кучки земли, набросанные им из этих отдушин, помню тревогу черной Арины, когда в курятнике появился яростный хорек, и облаву на него; на белые платья сестер не раз опускались летучие мыши. А однажды прибежала откуда-то по деревьям и поселилась в саду белка.

Мудрено ли, что нам с братом не слишком улыбались Сокольники с вековыми своими соснами и дремотными прудами?

Хорошо, хорошо в Сокольниках, а дома, то есть в саду, лучше.

И я теперь спрашиваю себя: дом ли, двор ли это был, сад ли это был те места, где мы неразлучно с природой провели лучшие годы детства? А не было ли это среднерусской усадьбой, перенесенной в московский переулок вместе с ее густым садом, глухой сиренью и соловьиной песней?

Как назвать иначе этот старый дом с нескончаемыми «хозяйственными службами», этот широкий двор с пестрым птичьим населением, этот тенистый сад с дорожками в купах сирени, со стуком дятла на высокой ветле, с вечерней зарей, пробуждающей соловьиную песню?

Я родился в городе, но, не выходя из него, я вырос в усадьбе. Усадьба эта давным-давно «приказала долго жить», как говаривали о покойниках.

На месте двора с тополями и с качелями еще сорок лет назад построен был скучный доходный дом, битком набитый жильцами. Старинный наш дом перестроен, расширен, обстроен до неузнаваемости пристройками и тоже набит до тесноты жильцами. Над бывшими «службами» надстроен второй этаж, и они также превращены в доходный дом.

Сад вытеснен этими доходными домами, вытоптан их жильцами; яблони вырублены или умерли от старости. Кусты смородины вырваны, сиреневые заросли превращены в пыльный пустырь без травы и без зелени. Ни зяблику, ни малиновке не найдется места для гнезда, если б они вздумали прилететь в этот шумный и пыльный закоулок. Соловьи же давным-давно на десятки верст не подлетают к Москве, облетая ее стороной в поиске тихих мест. Одному дятлу, если б он долетел до бывшего нашего сада, нашлось бы, пожалуй, местечко: он мог бы поселиться в дупле одного из трех-четырех старых тополей или в расщелине одной ветхой яблони, уцелевшей от нашего сада, и выстукивал бы там свое деловое «туки-тук». Впрочем, вряд ли бы дятел долго прожил в этом дупле: хищные мальчишки, озорничающие на пустыре, вероятно, прикончили бы его камнем из рогатки, как они подшибают маленьких пернатых москвичей — серменвких воробушков.

Старый дом, двор, сад в тихих Плетешках, в нешумном Елохове — все это теперь не более как пепе-

лище, то есть меньше чем развалины того, что было когда-то: это пепел былого.

Но это печальное, хотя и шумное пепелище — для меня — *родное пепелище*. А великий и добрый наш поэт, сам родившийся в том же Елохове, в соседстве с нашим садом, признавал высоким достоинством и долгом человека

Любовь к отеческим гробам,
Любовь к родному пепелищу.

На этих двух чувствах,— утверждал поэт,

Основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека.

Прочно или слабо было мое «самостоянье» в жизни, но оно «основано» было именно на том «родном пепелище», о котором шла здесь речь, и любовь к нему извиняет меня в том, что я говорил о «родном пепелище» пространно и подробно.

Но есть и другая любовь, еще более глубокая и сильная,— «Любовь к отеческим гробам».

Для этой любви эти гробы не мертвы: они, по слову того же поэта, «животворящая святыня», чуждая истления.

Волею и верою любящего сердца из этих «отеческих гробов» восстают дорогие образы во всей скорби и горести их бытия, и воскресившее их сердце обретает тихую радость от встречи с этими виновниками его бытия, свидетелями его золотого младенчества.

Болшево. 1942. 19.IX.

Часть вторая

РОДНЫЕ ТЕНИ

Глава 1

БАБУШКА И МАМА

Сын, рождающийся в мать лицом, характером, голосом, говорят, должен быть счастлив и удачлив в жизни. Был ли я счастлив, должно быть был, не знаю, но я родился весь в мать. <...>

Бабушка Надежда Николаевна умерла, когда мне было шесть лет, но я ее живо и полно помню особой какой-то памятью, отчасти зрительной, отчасти осязательной и немного слуховой.

Зрительная память (и все это «памяти сердца», благодарного, верного детского сердца) предъявляет мне тихий, хочется даже сказать, мягкий образ женщины за пятьдесят лет, с открытыми и четкими чертами лица, с большими темно-карими глазами, с гладко зачесанными черными волосами с прекрасною струистою проседью. Глаза ее в больших черных ресницах смотрят на пятилетнего мальчика, худенького, черненького в сером костюмчике, с такою любовью, с такою ненаглядящеюся лаской и нежностью, что этот мальчик пронес эту ласку до своих ноябрьских дней и доселе ощущает тепло в своем стынущем сердце от этого взора, лучащегося любовью. Но как ни слепы детские зоркие глаза на скорбь и грусть, а глаза этого мальчика запомнили, и тоже навсегда, и ту тихую, привычную, неотходную грусть, которая была в этих прекрасных, отуманенных жизненною стужею глазах.

На бабушке — серое фланелевое платье, такое же тихое, как и она сама,— и все в ее трех крошечных комнатках так же тихо и так же прекрасно. Старинная мебель с ситцевой красной с черным обивкой. Шкаф, в котором мирно живут парадно-воинственный Александр II в кивере, из светлой бронзы, и изящная пышноюбочная синяя с белым девица из дорогого фарфора, бисерный стакан с турками и пестрыми туркинями в шароварах и чудесные сине-золотые чашечки, жеманные и улыбчивые, как те, кто из них пил в начале XIX столетия. Все, что в этом шкафу, все покидает свои покойные места, когда приезжает к своей бабушке и крестной матери маленький мальчик с братом помоложе, толстым и кудрявым. Наше право, строго подтвержденное бабушкой, играть во все, во что захотим. <...>

...Все у бабушки чудо. Чудесен в образнице высокий воин со страусовыми перьями, архангел Михаил на иконе, и Христос со знаменем победы, вылетающий из гроба, и святое семейство — Богоматерь с маленькими Христом и Иоанном Предтечей. У нас в доме нет таких икон. У нас грозный древний Спас и таинствен-

ные «Семь спящих отроков», у которых каждый вечер просим мы с няней «сна и покоя». У бабушки и святые другие.

Да, другие, подтверждаю я теперь мнение черненького мальчика. Там был XVII век, а тут, у бабушки, XVIII: Архангелы стали воинственны, как герои Расиновых трагедий, игранных на крепостных театрах, и изящны, как кавалеры в менуэтах. <...>

А угощенье у бабушки! А пирог — высокий, румяный, дышащий на всю комнату здоровьем и приветом,— и всегда с капустой! Это — мой любимый: я — в бабушку, это и ее любимый. И она зовет меня «серенький мальчик». Это не только потому, что я — Сережа (Серёнька — зовут в деревнях, как звал меня мой товарищ Яша Китайцев), что на мне мой любимый серенький костюмчик (у бабушки серое тоже любимое), это и потому, что я — серенький зайчик, любящий капустку. <...>

Но вот съеден пирог, кончен чай.

Ударяют к вечерне в приходе у Ивана Предтечи, что в Серебряниках у Яузского моста.

Мы идем в церковь.

Сегодня у бабушки храмовой праздник — день усекновения главы Предтечи. Мы привезли бабушке много вкусных вещей, но среди них нет — хоть осень и самое время для них,— нет арбузов и дынь, нет ничего круглого. Круглого в этот день есть нельзя. О, как страшно смотреть на главу Предтечи на блюде! У нас дома есть такая икона, и отец чтит ее. Ей молятся те, у кого болит голова.

В церкви, под колокольней, на стене изображено Предтечево мученье: воин посекает ему главу мечом. Предтеча бос, в рубище, воин — в латах, меч длинен и остер. Страшно. Жаль Предтечу до слез.

К иконе на тонкой цепочке прикреплен тонкий золоченый обруч. Бабушка прикладывает его к иконе и затем надевает на секунду на голову мне и брату. Это — для здоровья.

Свечи веселым пламенем целым пестрым букетом полыхают перед иконой...

Мы возвращаемся к бабушке.

А иногда бабушка не идет с нами в церковь и ведет нас туда тетя Маня или кухарка Агаша с няней.

Тогда, вернувшись, мы находим маму в разговоре

с бабушкой. Они смолкают при нашем приходе. У мамы грустное лицо, у бабушки еще грустнее.

Но мы тут — и бабушка опять с нами, опять чудесная, среди своих чудес, и опять тот же взор ласки и любви бесконечной. <...>

А там надо собираться домой, далеко, в Плетешки. И бабушка сует гостинцы куда только можно: в карманы, в мешочки, няне в узелочки, в пакетики, в заверточки, всюду.

Это все дает зрительная память. А есть память осязательная и еще какая-то обонятельная вместе с нею. Бабушка — это тепло, такое уютное, такое повсюдное, что от него жмуришь глаза от счастья, от невозможности выразить его. Бабушка вся мягкая и теплая: она, как ее слоеный пирожок, вся прослоена теплом и мягкостью, теплом и мягкостью. Так приятно, наигравшись, насмотревшись ее чудес и диковин, уткнуть лицо в ее колени, прижаться щекой к ее мягкой серенькой фланельке и чувствовать на себе ласкающее тепло ее маленьких рук. <...> ...Во всем облике бабушки было много глубокой неутешной грусти.

Но было много и покорности, и внутреннего благого приятия жизни и судьбы. Отсюда был исток бабушкиной тихости, а не только тишины. И я, ребенок, это чувствовал. У бабушки было не только тихо (чего не было, но чего добивались в нашем доме), но и тихостно. Русский язык богат на все оттенки для понятия «тишина». Понятно ли, что я хочу сказать? Тишина — это внешнее состояние бесшумности, но в тихом (прилагательное, соответствующее существительному «тишина») болоте известно, кто водится; тихость же — это внутреннее состояние души, врожденное или приобретенное нравственным усилием и обнаружимое вовне той тишиною, которая бывает на высях гор, где нет никаких болот и омутов с водящимися в них. Бабушка была тихостный человек, «тихостный» так же исходит от «тихости», как «благостный» от «благости» и «радостный» от «радости».

И ее тихая походка, и ее мягкие, хотя и твердые, точные движения, неторопливые, разумные и всегда приветливые — все было от тихости. Это чувствовали и мы, дети, и взрослые, свои и чужие. Бабушка никогда не повышала на нас голос, она даже никогда не приказывала и не останавливала нас (а брат был рез-

вун и часто бывал неистов в игре и в своем «хочу»), а между тем нам и в голову бы не пришло сделать что-нибудь не по-бабушкину, и ее тихое кроткое слово было для нас крепче и нянина ворчания, и мамина уговора, и отцова приказа. И тихостное слово ее я будто слышу до сих пор — и оно для меня всегда радость и завет. Она ласкает и любовью покрывает из-за могилы.

Бабушка умерла осенью, в тяжелый год для нашей семьи. Мама родила пятого сына, через несколько дней умершего, а сама лежала при смерти.

Была гнилая осень. Мне долго не говорили о смерти бабушки, боясь, что я проговорюсь маме. Меня не взяли и на похороны. От мамы долго — и, как мне теперь кажется, напрасно — скрывали смерть бабушки.

Я помню свою муку, когда мама, подозвав меня к постели, один на один, спрашивала у меня, глядя мне в глаза:

— Сережа, ты давно был у крестной?

Я — это была первая обязательная ложь, так называемая «ложь во спасение», к которой принудили меня взрослые — я неповинующимися губами шептал что-то вроде: «был» или «бабушка здорова». Мать на секунду успокаивалась, а я стремился уйти из комнаты.

Проходил день, другой, и мама опять спрашивала меня, все меня!

— Бабушка давно была у вас?

— Да-а-вно,— едва находил я в себе сил извлечь тягучее, останавливавшееся на губах лживое слово. Я был так вял и измучен спросом, что мама, с тревогой посмотрев на меня, пытала:

— Ты, должно быть, заболеваешь. Поди, скажи няне, чтобы раздела тебя и уложила в постель.

Я ложился в постель, а через день начиналось опять то же.

— Почему бабушка не навещает меня? Разве она больна?

— Нет, здорова. Крестная здорова.

Я потуплял глаза и тихонько крался из спальной.

Наконец наступил день и час, о котором до сих пор не могу вспомнить без горя и волнения.

Был ясный морозный полдень. Солнце играло по

комнате в веселую игру: оно «шло на лето». Было воскресенье. Отец был дома, была тетя Маня, был еще кто-то подле кровати мамы. Был и я.

Мама, худая, еле избавившаяся от смерти, в белоснежной кофте с кружевами, сидела на постели, обложенная подушками, и с твердостью, не допускавшей мысли об отказе, спросила отца, затем сестру, что с бабушкой... Никто не нашел в себе силы ответить, хоть было известно, что доктора разрешили «сказать».

Мама с упреком, даже как бы с гневом посмотрела на них и в упор спросила меня:

— Сережа, скажи мне правду...

Я посмотрел на отца. У него слезы стояли в глазах.

Я молча горько-прегорько заплакал, уткнувшись лицом в одеяло.

Мама все поняла.

Я не помню, что было дальше.

Помню лишь, что она горячо упрекала отца, что заставили меня говорить неправду, и особенно горько за то, что не взяли меня на похороны, не дали мне проститься с крестной.

И мама понимала, что я весь на ее стороне. Ей хотелось от *меня,* кого так любила обожаемая ею мать, от *меня* слышать о *ней:* если б я тогда был там, ей казалось бы, что я принес, передал бы ей последний привет, последнее благословенье ее матери.

Она никогда не могла простить отцу, что меня удержали дома.

А у меня была тоже своя вина перед мамой. Минувшим летом, когда бабушка гостила у нас на даче, мама послала ее со мною и с моей бывшей кормилицей сниматься в фотографическое заведение. По дороге я раскапризничался, и все вернулись домой. Бабушка умерла — и у мамы не было ее карточки. Она испытывала тоску и скорбь, а я чувствовал свою вину. Мама велела переснять бабушку с маленькой старинной карточки, где бабушка была снята во весь рост в белой тальме; карточка вышла малоудачна, но это было единственное изображение бабушки, оставшееся у нее.

Нет, не единственное: у нас с нею было и другое изображение, сделанное не фотографией, а агàпогра-

фией (агапе — любовь по-гречески), не светописью, а письмом любви вечной. <...>

В отзывах мамы о своей матери и о своем отце была великая разница. Она была так велика, что не скрылась от меня даже от ребенка. К матери была у нее не только любовь, а еще постоянная жалость, сожаление о ее загубленных душевных силах, полное признание ее ума, характера, сердца, глубокое и почтительное уважение ко всем ее поступкам и путям. К отцу — моему деду — ничего этого не было: или молчанье о нем (он умер еще тогда, когда моя мама оставалась вдовою после первого мужа), или досада на него. Мое детское ухо уже улавливало, что он связал бабушку, что он лег камнем на ее пути. Я никогда не слышал от мамы какого-нибудь рассказа про него, за исключением одного: как он не пустил ее в балетное училище (за это она была ему благодарна). И родня с дедовой стороны не возбуждала никаких добрых памятований у мамы. Иногда она говаривала о своей сестре Марье Васильевне: «Вся в дедушку Алексея Васильевича», т. е. упряма, упориста и неподатлива на разумное увещанье. Портрета деда я не видал никогда. <...> В матери был всегдашний такт — этот ум сердца, помогавший ей быть дружной и приятной самым различным людям; был настоящий многогранный ум; твердая и умная, умеряемая сердцем и направляемая рассудком воля; она была прекрасная хозяйка, талантливая в хозяйстве, умевшая из малого и скудного делать большое и обильное. Ее речь была жива, остроумна, пересыпана не только пословицами, поговорками, яркими народными речениями, которые не всегда отыскиваются и у Даля, но и ее собственными выхватками из живого потока текущей речи и жизни. У нее была наблюдательность художника и способность к живому рассказу, яркому, выпуклому, цветному (но никогда не цветистому: у нее было чувство меры, опять признак художественной натуры). Ее впечатления от созданий искусства, сколь ни мало ее баловала ими жизнь, были так сильны, что она умела заражать ими меня, еще ребенка.

Ей удавалось бывать в театре раз в два-три года, с целями матримониальными: вывозить падчериц на смотрины женихов, и как досадно ей бывало, когда по усмешке судьбы случалось ей видеть в эти редкие

выезды одну и ту же пьесу. «Как едем в ложу,— говаривала она,— ну, значит, опять «Гугеноты» будут! Катю два раза смотрели и все на этих «Гугенотах».

Мне было 8, нет, 7, когда она побывала в Малом театре на «Василисе Мелентьевой» с Федотовой[1] в главной роли, и она так сумела мне рассказать о пьесе и спектакле, так передать все действо и все эмоциональное (уж не говорю о фактическом) содержание драмы, что, когда я юношей увидал «Василису Мелентьеву» на сцене и не раз потом перечитывал, я не нашел для себя ничего нового. Рассказы мамы о старом Малом театре, о Ермоловой[2] в «Орлеанской деве», о Никулиной[3] в каких-то «Светских ширмах» (пьеса В. А. Дьяченко[4]) так были ярки, полны и заразительны, что послужили введением в мои собственные посещения этого театра, введением, которое будто я сам написал к своим восторгам-впечатлениям от Ермоловой, Федотовой, Ленского[5].

Я никогда не любил Некрасова, и если еще и люблю что в нем, так это то, чем в раннем детстве заразила меня мать: «Коробейники», «Мороз красный нос» и вот эти строки, «осенним мелким дождичком» падающие в душу:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело[6].

У нее стояли слезы, если не в глазах, то в голосе, когда она читала эти стихи, и мне еще в детстве казалось, что «горе горькое невзначай набрело» на ее собственную жизнь — и, не захотев больше «шляться», осталось там навсегда.

Множество впечатлений, раскрывающих глаза ребенку на красоту в природе и в искусстве, я получил от матери, и только от нее, и они, эти впечатления, впоследствии претворились в страстные искания этой красоты, в жажду встреч с нею, на что много отдал я сил в бестолковой моей жизни.

И еще одним обязан я матери — всецело ей одной. Только на днях получил я письмо от славного русского художника *; он пишет мне, что у меня слог старых

* М. В. Нестеров.

мастеров русского слова. Если в этом есть хоть малая доля правды, то ею обязан я матери. Ее речь была такова, что у нее можно было учиться русскому языку. Ее бы поняла и полюбила О. О. Садовская[7], а высшей похвалы я не знаю.

Мать была глубоко верующий человек, и тут у нее тоже был ум сердца: в ее вере не было тех бытовых нагромождений и заносов, которых обычно у верующих людей бывает так много, что из-за православности не увидишь и христианства. Вся красота и мудрость векового обряда сохранялась в ее вере, но он не делался пределом, «его же не прейдеши», и Кабаниха была ей отвратна не только на сцене, но и в жизни не менее, чем кабанихина собеседница Феклуша с ее велиими чудесами, приносящими велию мзду. Феклуш не было у нас в доме. Их не любил и отец. Но мать могла бы повторить про себя с поэтом: «...свято соблюдаю родной обычай старины». Красное яйцо в ее руках было особенно радостно, троицкие цветы — особенно благоуханны, яблоко во второй Спас — особенно сочно...

Это был человек с «хлебом мягким» и со «словом ласковым», как бы ни мало оставалось в мешке муки для этого хлеба и как бы ни трудно было из сердца, полного горечи, извлечь это ласковое слово.

Тетя Мария Васильевна была просто хороший человек — честный, добрый, работящий и очень далекий от матери во всем другом.

Уже после смерти мамы тетка отдала мне молитвенник, который я до того никогда не видал. В нем были записи рождений тети и двух ее рано умерших братьев. Рожденье мамы и дата свадьбы бабушки были записаны на отдельном листке. Мама родилась на пятом, кажется, месяце после свадьбы бабушки. Этого я до того не знал, и, показав мне листок, тетка ничего не объяснила, но дала понять, что оттого-то я и не видал никогда этого молитвенника. Вскоре умерла и тетя. И тут, глядя на эту запись, мы с братом стали собирать кусочки наших детских воспоминаний, обмолвок и недоговоров матери и тети, бабушкиных шифоньерочных чудес, выцветших дагерротипов, надмогильных надписей с Даниловского кладбища, начали склеивать их вместе и, кажется, склеив, разгадали тайну маленькой записи в молитвеннике.

Она не значила, что бабушка полюбила дедушку до свадьбы.

Она значила другое.

Бабушка воспитывалась или подолгу жила у своей тетушки по матери Федосьи Корнеевны Закуриной. Она умерла в конце 50-х годов, в старости. Она была почетной заслуженной няней в семействе Дашковых, выходила несколько «выходков» (старое, ныне непонятное слово) и доживала свой век у них в доме в почете, занимая отдельное помещение, пользуясь крепостными услугами. Сама она или не была крепостной, или была давно отпущена на волю, скорее — первое. Мама моя, девочкой, гащивала у ней, и, судя по ее рассказам, Федосья Корнеевна была обаятельная «Арина Родионовна», только высшего ранга и на покое: комната с лежанкой, шитые коврики, множество цветов, кот, шитье бисером, «Благовещенье» из шелков по соломке и дары «выходков» на память — севрские чашечки, гарднеровский фарфор, богемский хрусталь, игрушечная шифоньерочка-библиотечка из слоновой кости. Она жива еще и до сих пор. Я не играл, а с благоговением глядел на нее, на ее сафьяновые микроскопические томы в детстве. «Настенька», моя мать, была желанной гостьей среди всего этого «покоя»; а ранее, всего несколькими годами, гостьей была тут бабушка, тогда еще прекрасная, кареокая, с чудесными черными волосами «Наденька». Но гостины этой *девушки* были продолжительнее гостин *девочки,* ее дочери. «Гостины» кончились любовью одного из «выходков» к этой девушке. Брак был невозможен: он был из знатного дворянского рода, она — дочь мещанки. Но брак был необходим — и Наденьку выдали за троице-сергиевского мещанина Василия Алексеевича Кутапова. Это был человек свободной профессии. Он был скрипач, играл в домашнем оркестре известного богача и мецената Шиловского, потом во главе собственного маленького оркестрика ездил на Нижегородскую ярмарку и еще по ярмаркам в провинцию; звали его и в Большой театр, в оркестр, но он отказался, по прямоте ли или по упрямству характера. Содержать семью он мог с трудом, и бабушке пришлось открыть швейную мастерскую. Брат бабушки — Н. Н. Хлебников — был тоже человек свободной профессии: садовод-художник. Это были люди вольные, но

на службе у крепостного барского искусства. Такой же человек была и прабабушка Федосья Корнеевна: вольная Арина Родионовна, но по-крепостному привязанная и сжившаяся со своими «выходками». Она лежит теперь под каменным памятником в стиле empire — и памятник этот, изящный и строгий, создание этого крепостного художества вольных людей, не требовал ремонта в течение 70 лет: прочна была старинная работа! <...>

От прабабушки Федосьи Корнеевны были и большинство из бабушкиных чудес.

Теперь, через полвека почти, вспоминая бабушкины комнаты, я вижу, что в них встретились две жизни: в обычный затон мещанского затишья с геранями, ситцевыми занавесками, сенями, пахнущими кислой капустой, погрузились из дворянских антресолей архангелы со страусовыми перьями, бисерные туркини, золотые чашечки с розовыми гирляндами — встретились и две сестры из двух жизней. А бабушка была та, кто соединяла их вместе с любовью к обеим и с умирившейся, но не исчезнувшей грустью от этой встречи и соединения, на которую ушла вся ее жизнь.

Так прочел я запись в утаенном молитвеннике. Прочтя *так,* я многое уяснил и объяснил себе в характерах мамы и тети, в бабушкиной комнате, в маминых воспоминаниях, в ее судьбе, а может быть, а может быть — и в моей собственной, но верно ли я прочел?

Могилы молчат, старые дагерротипы не отвечают, и, если я прочел неверно, да простят мне те, кто знал и при жизни одну любовь, которая все терпит и все прощает. <...>

Мама училась в каком-то пансионе. Они жили в приходе Ильи Обыденного. Это было тихое «дворянское место» старой Москвы, а поближе к Москве-реке и не совсем «дворянское» — там были лесные склады и жило много ремесленников.

Шиловский, театрал и меценат, у которого в оркестре играл первую скрипку дедушка, предлагал ему поместить маму в балетное училище, то самое, в котором обучалась в ту пору М. Н. Ермолова: она была погодок с мамой (на год старше ее), но дедушка наотрез отказался. Балетное училище страшило его и теми терпсихоро-аракчеевскими мучениями, которым подвергали там детей, принуждая всех быть Тальони[8],

и еще более той репутацией рассадника прекрасных, но рано сорванных женщин, которою пользовалось училище в крепостное время. Но связи дедушки с музыкантами и маленькими актерами были значительны, и, не пустив Настю учиться в балетном училище, он пускал ее бывать там на репетициях, на школьных «пробах» и чуть ли даже не за кулисами. Он был знаком и с угрюмым суфлером артистом-неудачником Н. Д. Ермоловым, отцом великой артистки. И мама очень хорошо помнила *балетную* Ермолову — несчастную неуклюжую девочку, тщетно и насильственно влекомую в не принадлежащее ей царство Терпсихоры. Хотела ли мама быть на ее месте? Должно быть, хотела, а маленькая Ермолова не прочь была бы уступить ей поприще своих мучений. Помнила мама и первый шаг, резко сделанный Ермоловой, чтоб из чужого царства Терпсихоры перейти в родное государство Мельпомены. Ценою неимоверных усилий она добилась того, что ей дали сыграть Марину в сцене у фонтана на какой-то «пробе» в училище,— и неуклюжая девочка на глазах у всех внезапно преобразилась во властную красавицу, в гордую повелительницу.

Встань, бедный самозванец.
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как девочки доверчивой и слабой,
Тщеславное мне сердце умилить?

Какой памятью донесла мама до меня из своего отрочества эти ермоловские интонации, эту альтовую властность и прекрасное благородство, с каким была произнесена когда-то эта фраза юной Ермоловой? А я, как только услышал Ермолову, уже долгие годы служившую Малому театру со славой, я тотчас узнал ее голос, ее интонацию, слышанные мною от матери в раннем детстве.

Одной из последних радостей в жизни моей матери было то, что я говорил вступительное слово в концерте, где участвовала Мария Николаевна, и беседовал с нею.

Любовь к театру у меня наследственна от матери.

Я помню, как она, по желанию отца, напевала арию Антониды «В поле чистое гляжу я», помню куплеты из «Марты»:

Сейчас только с рынка:
Сколько народу!

Съестным припасам
Столько разбору,
Что булка с квасом
Только лишь впору!

Помню водевильные куплеты:

Что за педант наш учитель словесности!
Право, мне трудно понять.
Все говорит о труде и о честности...

Помню рассказы о знаменитых балеринах, которых мама видела девочкой. Особенно ярко передавала она впечатление от П. П. Лебедевой[9]. Когда персидский шах увидел ее впервые на сцене, он воскликнул: «Это рай пророка, и я вижу прекраснейшую из гурий!» В восторге он подарил ей драгоценную шаль такой тонины, что, свернутая, она проходила сквозь алмазный перстень шаха. Шаль эту он вез в подарок императрице, но сложил у ног гурии Лебедевой, к великому конфузу приближенных. Самые названия балетов — «Сатанилла», «Дочь фараона», «Катерина, дочь разбойника» — производили на меня волшебное впечатление. Самые любимые игрушки мои были «театры» из бумаги. У меня шел и «Конек-Горбунок» и «Жизнь за царя». Не знаю, получил ли я их в подарок раньше или позже того, как видел в театре, но мама в первый раз «вывезла» в настоящий театр именно на эти спектакли.

Обрывки маминых впечатлений из волшебного мира кулис, заглушенные жизнью, горем, семейными тяготами, дошли до меня с такой радостной силой, что, конечно, они и открыли мне навсегда радостные двери в «храм Мельпомены». Это не ирония: театр Ермоловой и Шаляпина был храмом для меня, и впоследствии для меня было счастьем хоть изредка ходить туда вместе с мамой.

Мама никогда не рассказывала мне историю своего первого замужества. Но у меня она давно сложилась из ее отдельных припоминаний, из тех случайных и оттого, может быть, особенно ярких памяток, которые вызывались в ней то приступом горя, то тем чувством прошлого, которое заставляет «не говорить» об отошедших «с тоской: их нет, но с благодарностию были»[10].

Ей было около двадцати лет, когда она полюбила

купеческого сына Сергея Сергеевича Калашникова. Он был из старой богатой уважаемой семьи, торговавшей изысканными товарами, выписываемыми из-за границы: зеркалами и часами. Он был старший сын, участвовавший в деле с дядьями, любимец матери, умной, избалованной, властной женщины, которой муж оставил все состояние. Знакомство состоялось через двоюродного брата мамы — В. М. Аристова, который — мягкий, сердечный человек, баловень матери и ее воспитательницы — приятельствовал с Сергеем Сергеевичем.

Нескучный сад, маленький домик на Пречистенском бульваре, квартира бабушки Александры Николаевны где-то в Замоскворечье — все это мелькало в памятках мамы. Какая-то верная собака, бегавшая с Пятницкой на Пречистенский бульвар с записками то Васи, то Сергея Сергеевича, какая-то скамья в осенний день в аллее Нескучного сада и решающая встреча, и письма из ярмарки «от Макария», и холодное, гордое противление властной Ольги Васильевны от Спаса на Болвановке, матери Сергея Сергеевича — и над всем и всеми победа горячего чувства. Оно было с обеих сторон. Мама горячо любила, и памятником этой любви самое мое имя. От любимого человека у нее не было детей, но, выйдя замуж во второй раз не по любви, она старшего сына назвала в честь мужа, а второго в честь того, кого одного любила всю жизнь. Она вошла в семью, где ей труден был каждый шаг и для которой нежеланен был самый ее приход, и сумела там себе заслужить и уважение и признание. Но счастлива ли была она? Была любовь, но не было счастья. Но она никогда не говорила об этом. И образ первой любви ее я всегда воспринимал как образ полный и благодарный.

Она берегла немногие вещи, оставшиеся от покойного: изящный портсигар из слоновой кости с прекрасной миниатюрой — «пи», и в нем сигару, которую он курил, тетрадку со стихами, им переписанными, и перевязанную алой лентой стопочку его писем. В каждом воспоминании о нем сквозила не порушенная ничем и никем любовь. Я никогда не любил и не понимал слова «счастье» — и того, что любовь ее сияла и из прошлого, было довольно для меня, чтоб думать, что была ее *радость* и что были годы, когда эта радость

была всегда с ней. Лишь однажды, помню, когда я, юноша, лежал, прихворнув, в своей комнате и полудремал, до меня донесся из столовой разговор мамы с нашей няней, пришедшей к нам погостить из богадельни. Разговор велся тихо, чтобы не разбудить меня. В доме никого не было. Разговор этот меня поразил, ужаснул, заставил укрыться с головой одеялом, а между тем в нем не было укора, а было только седое, всколыхнувшееся из глубины горе. Мама рассказывала няне, как она там, на Болвановке, целыми вечерами и ночами сидела одна, а молодой муж пропадал где-то. «Одна»... Я представлял себе эти низенькие длинные антресоли бабушки Ольги Васильевны (я бывал там в детстве) с окнами в сад и на двор, горящую свечу в медном подсвечнике, черную ночь, смотрящую в продолговатые маленькие окна, и тоскующую, любящую молодую женщину в отчаянии, в одиночестве безысходном. А там, ниже, под антресолями, парадные пустые комнаты, залу, гостиную, диванную и в моленной с двумя божницами, с золотыми окладами икон, с двумя лампадами бабушку Ольгу Васильевну, маленькую, сухую, когда-то писанную красавицу... И вот одиночество и обида мамы были так горьки и так незаслуженны в глазах этой гордой, избалованной, эгоистической женщины, что она позвала невестку с антресолей и приказала:

— Настя, одевайся. Надевай бархатное платье.

У Насти были слезы в глазах. Она ничего не понимала.

— Поедем. Я велела заложить тройку. Погода прекрасная. Не ему одному веселиться. Поедем ужинать за город.

И они поехали — к Яру или в Стрельну, не помню. Свекровь наблюла, чтобы невестка была одета к лицу, богато и прекрасно. Велела надеть алмазы и любовалась, как красива невестка, и хотела, чтобы любовались на нее все. У Яра она заказала самый дорогой и изысканный ужин, с заграничными винами и фруктами, чуть ли не с клубникой в декабре и с живыми цветами. Ужин стоил сотни рублей.

Учуяв это, метрдотель увивался у стола. Весь зал обратил внимание на гордую, все еще красивую старуху в черном бархате, ужинавшую с такою роскошью вдвоем с молодой красивой женщиной, превосходно и с

тонким вкусом одетой, но с лицом, на котором были написаны и горе и испуг: мама боялась встретить здесь же мужа. Ей заранее было жалко его и больно за себя и за него. А ужин шел своим чередом. Дирижер оркестра к первой подходил к бабушке осведомиться, что ей будет угодно услышать, и она, вручив ему крупную ассигнацию, милостиво отвечала:

— А сыграй, батюшка, что поприятней!

И оркестр играл старинные вальсы.

Подходили и от хора «арфянки». Бабушка не отвергла и их и им вручила довольно ассигнаций, но суховато промолвила:

— А коль спрашиваешь меня, старуху, что попеть, то попой, что потише да попристойней: уж очень вы горластые.

И «арфянки» пели потише и «попристойнее» — народные песни.

И старуха их благодарила империалами [11].

Пора было ехать домой. Было поздно. Мама думала, что ее пытка кончилась, а она тут-то и началась.

В зал вошел Сергей Сергеевич, высокий, стройный, безукоризненно одетый, но сильно навеселе, в компании еще более веселых людей обоего пола,— и сразу чутьем прилежного посетителя ресторанов и мест веселых почуял, где центр внимания метрдотеля, лакеев, гостей, арфянок и прочих. Это был столик со старухой и молодой женщиной в вишневом бархатном платье. Он тотчас очутился подле столика.

— Мамаша, вы здесь зачем?

— За тем же, за чем ты здесь,— смерила она сына с ног до головы.— Видишь, мы с Настей ужинаем. Разве тебе здесь можно, а другим нельзя?

И, отворотившись от сына, она принялась потчевать ананасом невестку. Лакеи и метрдотель, вившиеся около стола, показали сыну, что матери его ужинать здесь «можно», по их мнению, больше, чем ему. Он был кругом должен.

Сергей Сергеевич повернулся и исчез.

Темнее ли были мамины одинокие ночи на антресолях или светлее после этого ужина? Но в рассказе ее было такое седое, неутешное горе и такая любовь без упрека, но и без счастья, что мне неловко было слушать дальше, я почувствовал себя вором, крадущим

какую-то тайну у своей матери, и я зарылся в подушки и лежал, зажмурив глаза, ничего не слыша.

Но жизнь против воли заставляла слышать, как ни не хотел не слышать.

Вспоминаю еще обрывок рассказа.

Нижегородская ярмарка. «Палатка» Калашникова, внизу лавка с драгоценными «бемскими» зеркалами, с персианами и афганцами в цветных халатах, знающими, что у «два раза Сергея» есть красавица жена: они дарят ей наивно бирюзу, которую она тут же раздаривает приказчикам. А вверху — над лавкой — тоже антресоли, и та же тоска, что на Болвановке, и то же одиночество... Обед и ужин приносит верный артельщик-татарин. А Сергей Сергеевич ужинает... где-то. И счастье ее, если она не знает, где. Иногда он позовет ее в театр. Взята ложа. «Настя, одевайся».— «А ты?» — «Ну вот еще. Стоит того». Он идет в ложу в бухарском халате. Он покупает ананас. И она знает, кому он покупает. Не ей.

Но он ее любит, любит. Это тоже она знает. Знает и он.

И это не спасает: он кончил чахоткой, он прожил все, что у него было, был отстранен от дела (все перешло к черствому брату) — и умирал на руках мамы, тихий, как ребенок. Целовал у ней руки, винил себя во всем, упрекал себя беспрерывно, что загубил ее жизнь, разрушил ее счастье, и потухающим взглядом смотрел на нее с бесконечной любовью и с острым, ранящим до слез упреком, обращенным к себе...

А счастье было так возможно,
Так близко! [12]

Через 17 лет после смерти мамы я впервые раскрыл стопочку его писем, бережно ею сохраненных.

И там оказалось очень мало *его* писем. Там были *ее* письма к нему. Они полны у ней, у невесты, чувства глубокого и сильного в своей ясности и простоте: «Вся твоя. Все в тебе. Все с тобою. Все для тебя».

И всегда она *ждет* его писем, а ему всегда некогда. Он — красавец, баловень матери, баловень семьи. Он любит ее, но у него нет думающего сердца. Его любовь всегда «ищет своего» и не думает, часто даже не видит *другой*. Это любовь с открытыми глазами на себя и с закрытыми — на любимого человека. А лю-

бовь любимого человека «долго терпит» и не поднимает рук, чтоб открыть его глаза на себя. Горько любить человека с закрытыми глазами! А мама выпила до дна всю эту горечь... А любовь ее была так велика, что она заглушила в ней другое чувство, распускавшееся было к другому человеку. <...>

Я жалел, что развязал алую ленту, когда-то стянувшую эту стопку старых писем. Мне было горько, больно, смутно. Но когда я подумаю, что все это было покрыто любовью, когда я вспомню, что мама *никогда* не укорила передо мною человека, который дал ей так мало счастья и так много страданья. Когда я вновь представлю себе, с какой любовью она всегда вспоминала его любовь и какою радостною представлялась ей ее первая любовь и как благодарна она была ему за любовь, я благодарю маму и за эту стопку писем давних лет: она дала мне, старику, великий урок великой любви, которая «долготерпит» и все прощает. И я рад, что ношу имя этого несчастного, доброго и благородного человека, вся не вина, а беда которого была в том, что он жил, «в закон себе вменяя страстей единый произвол». <...>

После смерти Сергея Сергеевича мама осталась жить у свекрови. Нелегко ей жилось. Бездетная, она не пустила тех корней в семью, которые признавались бы подлинным родством. Свекровь уважала ее, но у властной счастливицы ни к кому не было ни теплого чувства, ни любви. <...>

Мама была *нужна* Ольге Васильевне. У бабушки жили сироты, мальчик и девочка, дети ее покойной дочери. Она не доверяла их воспитанье их отцу. Воспитывала их мама. Дети были трудные, но вышли в люди. <...>

Мама жила на Болвановке вдовою любимого сына бабушки Ольги Васильевны, но никогда не получала от нее даже карманных денег. А между тем сердце ее разрывалось от заботы: дедушка Василий Алексеевич не мог содержать семью и скоро умер. Бабушка с тетей остались без всяких средств. Маме надо было решиться на что-то, чтобы не оставить свою мать без хлеба. И она решилась: она вышла замуж за моего отца.

Это был подвиг в полном и точном смысле слова. Она совершила его ради матери.

Отец был вдов, на двадцать лет старше ее. Она шла за него не по любви и знала только о нем, что идет за честного и доброго человека. Но шла на огромную, по нынешнему суждению, анекдотически огромную семью: у отца было одиннадцать детей. Из них только одна старшая дочь была замужем. Все остальные — шестеро дочерей и четверо сыновей — жили при отце. Из них старшие годились в младшие братья и сестры маме, а младшей было четыре года. Тяжкая обуза воспитания и руководства такой семьищей, заполнявшей два этажа поместительного дома в Плетешках, влекла за собою не менее тяжкую обузу ведения хозяйства, почти помещичьего по размерам. И во все это мать вошла в тридцать лет, в расцвете молодости, подсеченной под самый корень. Она и здесь с честью пронесла свое бремя. Из дочерей-невест у отца до мамы выдана была лишь одна, да и то неудачно: муж пил, оставил ее без всяких средств, и она вернулась вдовой в дом отца, так что все одиннадцать детей отца оказались-таки под маминым попечением. Мать при жизни отца выдала замуж троих, и всех счастливо и богато даже. Когда дети от первой жены после отцова разоренья ушли от отца, из оставшихся в девушках трех сестер только одна сумела выйти замуж. Приданое же для старшей из них уже было запасено матерью, и падчерица увезла его с собою. Старшие сыновья отца не получили образования. Старший сын Николай Николаевич лишь понюхал воздуху в Коммерческом училище, второй — лишь нюхнул его в каком-то пансионе. Отец на моей памяти говаривал, что учить ребят надо только «читать, писать, да арифметике», а затем — в дело, в торговлю! Мать горячо против этого восстала и добилась того, что двое младших сыновей отца, которых воспитывала она, не только окончили среднюю школу... но и высшие учебные заведения... Один был помощником у знаменитого Плевако [13], другой — инженером.

Дочери старшие также только посидели в пансионах, и из пятерых «кончили» пансионы, кажется, только две. Две же последние, чье воспитание пало на мамину долю, окончили с медалями полный курс казенной женской гимназии. <...>

В первом браке у мамы не было детей. Во втором пошли дети — пятеро мальчиков. Роды переносила она

болезненно. Итак, «труд и болезнь», павшие ей на долю, были велики. Единственною наградою было то, что она могла покоить мать: бабушка с тетей жили тихо и мирно в той квартирке, которую я описывал, на гроши, которые давала им мать. И эти гроши или даже полушки, в сравнении с тем трудом, который несла мать в чужой бесконечной семье, вызывали нарекания на мать со стороны падчериц и пасынков! Отец же любил и уважал свою новую тещу.

Я часто думал, озирая мамину жизнь, что трудно было бы измыслить большие две противоположности, чем ее первый и второй мужья.

Сергей Сергеевич был молодой красавец, остроумец, делавший беззаботно опыт за опытом все пробы легкожития, не думающий о конце концов. Он любил маму, и она его. В нем было много блеска и того особого качества, которое легко обозначить непереводимым французским словом «charme». Он любил веселье, театр, породистых лошадей, вино, женщин. У него были друзья и враги, приятели и неприятели. Свою и чужую жизнь поджигал он с двух концов. У мамы не было детей от него. И любовь его была в ее жизни как сон, в самом начале светлый и радостный, как сиреневая ночь, затем грустный до слез, до полыневой горечи.

Отец был во всем противоположен Сергею Сергеевичу. Он прошел тяжелую школу жизни: единственный сын из старинной купеческой семьи, он вынес ее разорение в раннем детстве, жил в мальчиках у Кабанихи мужского пола, у скупого и жестокого шелковщика Капцова, натерпелся побоев. Сергей Сергеевич ездил на Нижегородскую ярмарку в первом классе по железной дороге, отец хаживал туда пешком с обозом, везшим капцовский товар на ярмарку. Сергей Сергеевич был богат, у отца был только достаток, еле хватавший на семью в два десятка человек. Отец не брал во всю жизнь ни глотка вина, был домосед, единственным его лакомством была моченая брусника да миндальные пряники. В трактирах он бывал только с покупателями за чаем вприкуску. Он был не лишен добродушного, чисто народного юмора. Но тон жизни, которому он следовал и хотел, чтобы следовали дети, был строг и чинен. Он не любил ничего нового. Все мое детство и отрочество прошли при стеариновых

свечах, когда везде в домах горели уже керосиновые лампы, а кое-где и электричество. Жизнь для него была труд и обряд, а не произвол и игра. В нем не было веселья, а самое большее — улыбка. Не помню его смеха. «Грешно» — это было строгое и крепкое слово в его устах.

Надо ли говорить, что он был строгий, безукоризненно строгий семьянин.

И мать, вышедшая за него, пятидесятилетнего, без любви, имела от него пятерых сыновей и узнала все счастье и горе материнства, которое не дал ей любимый человек. <...>

Первым родился у нее сын, названный в честь отца Николаем. <...> Это был мальчик из тех детей, про которых точнее всего сказать словами Лермонтова.

Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них! [14]

Простой народ говорил про таких детей «не жилец». «Жильцы» — те, кто приходится по тесной и грубой мерке «земного злого жития». Ф. Сологуб[15] любил писать про таких «не жильцов» — детей с большими, вдумчивыми глазами, в которых с ранней поры сиротеет испуг перед холодною скудостью бытия. Коля был не жилец. Он был звездоочный мальчик. Его большие, широко и грустно раскрытые карие глаза поражают даже на карточке работы Мебиуса. Это не глаза, а очи, нечто более глубокое и зоркое, чем обычные глаза. Ребенок дивил всех своей кротостью, ранним пониманием людей и вещей, сияющей любвеобильностью ко всем. «Благодатный ребенок»,— говорило про него важное и сановитое духовенство Богоявленской, что в Елохове, церкви. «Не жилец»,— грустно дивовалась на него няня Пелагея Сергеевна, обожавшая его. Единокровные братья и сестры любили его. Не знаю, что подарил ему на зубок крестный отец его «братец Коля», как мы его звали, выбранный матерью в кумовья для того, чтобы укрепить связь между новым братом и ему единокровным, но скупая бабушка Ольга Васильевна щедро встретила первый Колин зубок: у матери до злой нужды хранились ее тяжелые екатерининские «крестовики» — червонцы (2

или 3), озолотившие Колин зубок. Отец горячо полюбил своего тезку — первенца от второй жены. А мать в нем души не чаяла: ей-то он был радостью радостей, расцветшею для нее в новой чужой семье. <...> Я был второй после него,— и мне, и следующему брату, Георгию, нелегко бывало расти: от нас ждали Колиной светлости и любвеобилия, а мы были всего-навсего — «жильцы», легко ли, трудно ли, но применявшиеся «к тени века сего», падавшей на нас, жильцов, и ничем не темнившей бытия Коли, не жильца.

Мне в крестные отцы мама опять взяла пасынка, второго, Александра Николаевича, желая укрепить и уроднить наше единокровие, но крестной взяла свою мать, а имя мне дала в честь любимого человека. <...>

Коля умер трех лет от дифтерита. У мамы родился третий сын, Георгий, красивый, кудрявый мальчик, очень полюбившийся своей крестной — третьей дочери отца, Елисавете Николаевне.

Но мама была неутешна. Смерть Коли была для нее ударом, от которого никогда она не оправилась совершенно. <...>

Мне кажется, живи Коля, он помог бы найти тропинку к сердцу ее новой семьи. Без него эта тропинка не отыскалась. <...>

И жестока,— а может быть, и милостива? — жизнь: маме не дано было проводить в могилу ни любимой матери, ни любимого сына. Она была тяжко больна и на ложе почти смертном встретила обе кончины.

Жизнь в новой семье была для матери буднями, длившимися четырнадцать лет. Это был сплошной ее рабочий день.

Надо было накормить, напоить, обуть и одеть дом в тридцать человек детей, родственниц, молодцов, прислуги. До этого мама никогда не вела хозяйства, и, однако, впрягшись в хомут отцова домостройства, она так умно повела дело, так отлично умела быть и министром внутренних дел, и министром продовольствия, и просвещения в отцовском уделе, что никогда не встречала со стороны отца ничего, кроме заслуженной похвалы. Я помню наш семейный обеденный стол в две сажени длины, тесно уставленный приборами. За ним сидят отец, мать, четверо братьев (нас кормят отдельно), шестеро или семеро сестер, гувернантка Ольга,

Ивановна, две дальние родственницы отцовой первой жены, живущие у нас в доме. <...> Эти пятнадцать-шестнадцать человек — своя семья, но обед никогда не проходит без чужих: обедают непременно то одна из тетушек, отцовых сестер, то одна из Тарасовых, кузин моих сестер; к ним прибавить нужно какую-нибудь подругу сестер или товарища братьев, оставленных ими на обед. Но и это не все. То отец, то старшие братья привезут еще кого-нибудь из города обедать — покупателя какого-нибудь или просто знакомого — и, привезя, просто спросят мать:

— Мамаша (если отец спрашивает) или Настасья Васильевна (если братья), Иван Иванович будет у нас обедать. Есть у тебя (у вас) чем покормить?

Мать скажет всегда одно и то же «есть» и только потом посетует, что никогда не предупредят заранее. Чтоб «покормить заезжего», иной раз очень разборчивого Ивана Ивановича, ей нужно к обычному семейному сытному, но простому обеду прибавить два блюда повкуснее, подать хорошую закуску с вином, а для всего этого в ее распоряжении — полчаса, ибо отец сам же станет торопить ее: «Ну что ж, матушка, пора бы садиться. Мы проголодались».

И заезжий из какого-нибудь черноземного свино-пшеничного Объедаловска Иван Иваныч ест — не нахвалится и закуской, и вторым, и третьим, и четвертым, и домашней сливянкой, и настойкой на зверобое, и маринованной осетриной, и соленьем и моченьем из яблок, винограду, слив, вишен, брусники.

В это же время надо накормить маленьких детей и досмотреть, чтоб бульон и котлетка были как раз такие, как назначил военный доктор фон Резон.

Надо досмотреть и за третьим столом (*третьим* в *одном* доме и в одни и те же часы столом!): чтоб сыты и довольны были приказчики в молодцовской.

Нельзя забыть и о *четвертом* столе: надо не упустить, чтобы «черная кухарка» Арина сварила добрые щи с жиром, с наваром и крутую кашу для прислуги: кухарок, дворника, горничных, няни.

Бывает и *пятый* стол все в том же доме, все в то же время: если есть кормилица у грудного ребенка, то ей назначит доктор особый стол...<...>

Но семья велика: то тот, то другой бывает болен,

и тогда прибавляется еще *шестой* стол — диетный. <...>

Это все в будни, изо дня в день.

Но кроме буден бывают еще именины и рожденья, а сколько их при семье в 13—14 душ только детей! Сколько пирогов надо испечь — и непременно с любимой начинкой, иначе будет обида и слезы. <...> И няня, и кормилица, и приказчик Иван Степаныч — все бывают с пирогами на именины. Это все свои именины «своих». А сколько чужих! Тетушки-сестрицы — вот уже три именинницы, да какие требовательные, да какие тонкие в распознавании всех достоинств и недостатков кулебяк с рисом, с вязигой, с капустою, с грибами, с ливером, с морковью и пр. и пр.!

В праздники — другая страда.

Сколько надо напечь куличей, приготовить пасох из творогу, масла и сметаны на огромную семью. Тут нужен строгий расчет: «священную» пасху со «священным» куличом, которые носили освящать к Богоявленью в заутреню, надо сделать таких размеров, чтоб всей семье, каждому человеку хватило по куску на каждый день в течение всей светлой седмицы; задача не только кулинарно, но и математически сложная! Кроме «священной» надо наготовить пасох «для еды». Пасха так вкусна и нежна, так ароматна и сладка (сколько ванили, миндалю, сахару, коринки, цукатов пошло в нее!), что ее едят, как пирожное, как сливочный крем или пломбир. Но разница та, что крему дадут в конце обеда по небольшой порции, а пасхи можно сколько угодно есть и за утренним и за дневным чаем, и так в течение семи дней. Но мало того, «неосвященная» пасха делалась и разрешалось ее есть в течение всех шести недель «цветной триоди» [16], вплоть до Вознесенья. <...> И какое трудно исчислимое количество пасох приходилось делать матери с Петровной! Пасхи делались по разным рецептам, разных составов: вареные и невареные, сметанные и творожные, шоколадные и фисташковые. Это было сложное искусство, требовавшее напряженного внимания и уменья.

Но дело с пасхами не ограничивалось кругом семьи. Отец, бывало, спросит дня за три, за четыре до праздника: — Мамаша, а ты не забыла, что надо Катерине Ивановне пасху и кулич? — Нет, не забыла.—

А в богадельню? — Помню.— А Серафиме Павловне? — Помню.

Но иногда он ничего не спросит заранее, а просто на первый день праздника осведомится:— Послали пасху с куличом Серафиме Павловне? — И мать ответит также просто: — Послали. Но, чтоб так успокоительно ответить, ей, обремененной заботами о семье в тридцать человек, необходимо удержать в памяти всех Серафим Павловн, Катерин Ивановн, всех бедных родственниц, богаделок и просто чужих людей и семей, которым тайно помогал отец и вовремя послать им пасху, кулич, крашеные яйца — «дорого яичко к красному дню». <...>

То же бывало на Рождество.

То же бывало и в неуказанное время.

По осени скажет, бывало, отец:

— Мамаша, Устинье Петровне в приют (это была мать сестриной гувернантки, почтенная старушка дворянка, лично видавшая Пушкина) послать бы моченых яблочков! Удались они у тебя в этом году. Порадовать бы старушку.

— Третьего дня няня отнесла, ходила к ней с детьми,— ответит мать. Нянино посольство напомнит отцу нянину тетушку Елену Демьяновну, чудесную старушку.

— Да кстати бы послать Елене Демьяновне. У них богадельня бедная. Сухими снеточками их, я чай, кормят.

И на это ответ готов:

— В воскресенье нянька отпросилась со двора. Пойдет в ремесленную богадельню. Я уж велела Арине наложить десяток покрупнее в банку.

Чтобы *всех* так накормить, напоить, наделить и сделать то с красным яичком, то с моченым яблочком, то с рождественским гуськом или с именинным пирогом, надобен был огромный, непокладный труд, забота и самое пристальное внимание. И право, это вниманье к кулебякам и их пышноте и вольному духу, смешное, может быть, на чей-нибудь взгляд, означало совсем не смешное, а достойное великой хвалы *вниманье к человеку.* <...> И этому вниманью (а от него и пеклись все эти кулебяки и мочились с кардамоном все эти антоновские яблоки) строго верны были всегда и мать и отец, и учили нас этому.

Все лето, бывало, кипела у нас доме деятельность — мамина, конечно,— по старинному завету: «Лето-запасиха, зима-прибериха».

Ни одно яблоко, упавшее на дорожку нашего сада, не пропадало даром: кружками нарезанные яблоки нанизывались на суровые нитки (мы любили это занятие) и частыми гирляндами подвешивались под балки нашего поместительного чердака. Жаровни, не переставая, золотели углями в саду, на дорожке, около дома: варилось варенье таз за тазом... Вишню мочили в уксусе особым способом.

Ближе к осени начинался сезон «мочёньев»: сливы, виноград, потом яблоки. Яблоки — антоновские — покупали на Болоте ящиками. Чудесный, бодрый, как сентябрьское утро, ясный, как хрусталь, яблочный дух воцарялся на несколько дней в доме. В столовой стелили янтарно-золотую солому и на ней раскладывали яблоки, отбирая самые ядрёные от тех, что послабее и побледнее. Подвал населялся кадками с яблоками. Затем приходила очередь любимой отцовой брусники. Ее тоже запасали кадочками. Огурцов солили целые кади, и они были вкуса необыкновенного и крепости изумительной. <...> Солили, мариновали и сушили грибы. Тут было также свое искусство и свои трудные задачи... <...> За огурцами — капуста. Рубили капусту весело и оживленно. Все принимали участие. Кочерыжки хрустели у всех на зубах. Но главное дело и тут было у мамы: надо было расчесть, сколько капусты рубить, сколько шинковать, сколько сохранить целыми кочнами. Надо было выбрать самое капустное время: когда она и недорога, и в самой поре — так и просится в кадку. <...>

Отойдет капустная осенняя забота — надо солить солонину на годовой запас, запасать на год соленую рыбу, и тут же подумать и о маринованной осетрине и наваге для закусок, для гостей. Винный запас делался только в расчете на гостей, оттого он не был велик, но замысловат. Помню сложное приготовление сливянки, отнимавшее у матери несколько дней. Помню настаиванье всевозможных водок в бокастых бутылях и широкоплечих штофах. <...> Все это был труд для мамы совершенно бескорыстный и даже неприятный: ни она, ни отец не испивали ни капли от всего этого богатства, так как терпеть не могли спирт-

ных напитков. <...> Единственный напиток общего пользования в нашем доме был квас — отличный хлебный квас, распиваемый каждым домочадцем в любом количестве и в любое время.

Гораздо привлекательнее и для матери, и для нас, детей, был труд других заготовок: всевозможных пастил и смокв из черной смородины, яблок, вишен, слив — все это было нам в снедь.

Весь этот огромный труд был труд «лета-запасихи». Но «зима-прибериха», и семья, и дом в тридцать человек с большим количеством гостей и подкармливаемых на стороне требовали еще вседневного труда от матери.<...>

Я написал это и призадумался. Уж не сизифовой ли работой был весь четырнадцатилетний труд мамы в нашем доме? Сизифов труд характеризуется тяжестью и бесплодностью работы.

Тяжесть мамина труда на чужую семью была велика. Отец видел своих детей лишь утром (не всех) и вечером (всех) во время обеда. Целый день он проводил в городе, и вся обуза их воспитания лежала всецело на матери. Преобладали девицы. Их надо было выдать замуж, дать хорошее приданое (отец не мог давать денег за дочерьми), но отец ничего не давал на приданое, только близ самой свадьбы покупал невесте меха и иконы в ризах. Деньги надо было выкраивать из общего небогатого и нещедрого бюджета семьи. И я помню, как «исхитрялась» здесь мать для чужих дочерей. Ей докладывают, что пришел Филипп-коробейник. «Зови в столовую. Я сейчас приду. Да напоили ли его чаем?» — «Пил с Петровной».— «Покормили ли?» — «Разве Петровна так, не евши, отпустит?» (Петровна — белая кухарка.)

Филипп, рыжебородый степенный мужик, степенно входит с лубяным коробом в столовую, крестится истово на большого Деисуса в углу, здоровается приветливо с матерью и нами — и раскрывает короб. В коробе — целое ярославское или костромское богатство: льняные серебряные скатерти и полотна, строченые полотенца, шитые гладью тончайшие простыни, салфетки с затейливыми рисунками, вологодские кружева паутинкою с чудесными паучками из сказки далекого морозного севера. Все это нужно в приданое Лизе или Варе: ведь основа приданого — белье. А полотна у

Сосипатра Сидорова в рядах «кусаются». У Филиппа все дешевле (да и лучше!), но для приданого так много надо набрать и полотна, и простынь, и салфеток, и кружев, что и Филиппу придется платить столько денег, сколько мама и в мыслях не поимеет попросить у отца. Он ей, она знает, отрежет: «Пустяки, матушка. Ты избалуешь их. Дать дюжину белья — вот и все». Но она знает, что с таким приданым хороший жених не возьмет, а если и возьмет, то невесте будет стыд перед жениховой семьей. Знает она и то, что, выдай она падчерицу с таким приданым, ее же упрекнут, а не отца: «Мачеха-то, как нищую, выдала Лизаньку!»

И вот мать долго и дотошно совещается с Филиппом, как бы и вещь нужную (и притом такую, что невесте в любовь) взять, и с деньгами обойтись. Это не торг, а какое-то мирное обсуждение торгового договора. Филипп спустил цену с того, с другого товару, но дальше не идет: «Не могу, Настасья Васильевна. Простыня голландская, тонины княжеской, строчка — бисер. Самому дороже». Матери ни за что не хочется упустить простыни. Она знает, что Филипп прав, и не прекословит ему. Но денег нет. Тогда Филипп *сам,* уложив все в короб, а простыню оставив на столе, хоть мама уже отказалась от нее, сам молвит ей: «Да за чем же дело стало? Подожду я».— «А я скоро и не отдам и не обещаюсь».— «А я скоро и не спрошу. На что мне скоро-то?» Это говорится с таким радушием, с таким пониманием маминых дел и забот, с такою улыбкою, широкою в широкую же бороду, что я, присутствующий при торге, влюбляюсь в Филиппа и с удивлением смотрю на смущенную мать (ни она, ни отец никогда не любили брать в долг), как же она не понимает, что Филиппу скоро ничего не нужно? Простыня переходит в приданое.

Филипп нигде не записывает долгов, он ходит с коробом только по знакомым купеческим семьям, и с мамой у него сложные счеты, но они всегда — друзья, и отец не подозревает, какие сложные торговые договоры приходится заключать маме, чтоб приданое само собой улеглось в большие кованые сундуки Лизины, Варины, Дунины, а там еще в будущем — Манины, Танины. Не подозревают этого и эти самые Лизы, Вари, Дуни, Мани, Тани. Им дело представляется

просто: отец дал денег на приданое, и надо его купить, и даже не понимают, зачем надо возиться с каким-то мужиком Филиппом, заботиться, чтобы его напоили и накормили, вместо того, чтобы поехать к Сосипатру Сидорову и сразу купить все, что нужно.

Работа мамы здесь была вполне сизифова. Но сизифова она была и во всем другом. Она *не могла* не вести то огромное хозяйство, о котором я дал краткое представление. Если б в отцовом доме завелся всюду *купленный* кусок, а домашний умалился, что было бы очень выгодно для маминой свободы и что было бы нужно для ее здоровья, то отцова достатка не стало бы на семью в тридцать едоков. Добытчик был он один. И когда его сил не стало хватать, силами старших сыновей дело развалилось, и на старости он остался без куска хлеба. А дети попросту ушли от него. После смерти отца пасынок-адвокат даже пытался было начать процесс против матери, требуя выдела имущества (которого осталось на грош) в пользу двух сестер-учительниц. И только старый адвокат, ведший дела отца и знавший, что он отдал кредиторам все до копейки и остался нищ, пристыдил его, угрожая, что на суде вскроет и представит ярко всю историю купеческого короля Лира, оставленного не двумя, а семью дочерями и четырьмя сыновьями, из коих младший — молодой блюститель правосудия, помощник знаменитого Плевако. Брат Михаил не рискнул услышать на суде такую историю и отказался от мысли отнять у мачехи последнюю отцову полушку.

Итог материна четырнадцатилетнего труда для чужой семьи был итогом трудов Сизифа.

Мы с братом и с няней занимали во втором этаже дома большую детскую с лежанкой, с сундуком, укрытым мохнатым домодельным (из тряпочек) ковром, с часами стенными, мягко и ласково предупреждавшими нас, что час за часом уходит детство (нет, не вешал бы я в детской часов: «счастливые часов не наблюдают!»)... но в детской не был наш, только наш мир: она была *проходная* комната, в ней стояли гардеробы старших братьев, они поутру и вечером проходили через детскую, и с мамой по-настоящему, по-уютному мы бывали только в ее спальне, куда дверь была всегда затворена, и где по вечерам — в ранние часы до приезда отца из города — мы у мамы обедали, а затем

она нам читала. Только тут она была наша, только наша. Лишь в эти немногие тихие часы труд ее не был сизифовым. Помню эти часы. Хмурятся сумерки за окном. Дневной чай отпит. Окна на двор. Падают белые мухи или белые комарики играют в воздухе... и сеткой опускаются на двор. Дворник Егор разметает дорожку от ворот к парадному крыльцу, а комарики и мушки опять залепляют ее белым пухом. Вороны шумливой стаей всполохнулись с голубевских деревьев (дома напротив нашего) и переполохнули на наши старые тополя, и ведут перед сном долгие шумные беседы. В голубевском доме, во втором этаже, где живет доктор, зажглась лампа под зеленым фарфоровым колпаком. А мы сумерничаем. Мама грустит. Я это знаю по ее задумчивому взгляду, который переводит она с белых мушек на ворон, с лениво и бездельно бредущей по двору Розки, старой, умной собаки, которая одна днем не на цепи, на гусей, которые гогочут на черную Арину, загоняющую их на ночь в тепло, и останавливает, наконец, взор на зеленом огоньке доктора.

— Мама, почитайте! — просим мы с братом. (Мы и ей и отцу говорим «Вы».)

Она зажигает свечу; к стеариновому ее стволу прикреплена бронзовая машинка, держащая бумажный колпак. Он розовый, картонный, но его поверхность вся в узорах, проклеенных тонкой цветной бумагой, и в комнате у стола делается от него весело и сказочно.

И мама читает.

Больше всего мы любим сказки — и странно, не русские (хотя у меня уже есть детский «Афанасьев», подаренный мне бабушкой Александрой Николаевной), а Андерсена и даже Гриммов. Самая любимая у у меня — «Соловей» Андерсена, у брата — гриммовская про храброго портняжку. Он ее может слушать без конца. Вкусы наши с ним во всем противоположны. Мама ни в чем не делит нас: что одному, то и другому. Поэтому одна сказка читается по моему желанию, другая — по братнину. Но сама она больше любит Андерсена. У Гриммов много жестокости и грубости. После сказок брат требует «Степку-Растрепку». Он его знает наизусть, но это не мешает ему и мне с замиранием сердца следить за злосчастной судьбой Федюшки-вертушки и самого великого Степки-Раст-

репки. <...> Самая любимая история — про мальчика, который не хотел кушать суп. Вся грамотная детская Россия, вся Европа знала, что с ним случилось от этого: могильный холмик, под холмиком мальчик, не хотевший кушать супу, на холмике — осиротелая тарелка этого самого супу и с ложкой, возле холмика — верная Шавка, проливающая слезы...

И вот в это-то самое время, когда все это услышано в сто первый раз, рассмотрено и одобрено двумя парами внимательных и благодарных детских глаз, в это-то самое время отворяется дверь и появляется няня с двумя тарелками на подносе и приглашает:

— Ну, кушайте суп!

Ну как же после этого его не кушать? <...> И мы едим суп так, что и Петровна и няня довольны, и мама, увидя пустые тарелки, весело приговаривает: «Вот и сла̀вно-ермола̀вно!» Это ее приговорка, взятая не у Федосьи ли Корневны? Мы хорошо едим и жаркое — куриную котлетку, и даже просит брат: «Можно еще?» Мама кладет ему опять с приговоркой: «Ешь, покамест ется, пей, покамест пьется». Я и тогда знал уже, чья это приговорка: Марьи Васильевны Королевой, тетушки и крестной Сергея Сергеевича. Она любила маму, а мама ее. <...> Так проходит ее вечер с нами. Но он недолог. Звонок. Приехал отец. <...> Мама отсылает нас в детскую и придет к нам, только чтоб перекрестить на ночь. Днем мы около нее, но она-то только отчасти около нас: у нее туча забот, дел, приказов и наказов, и целый день около нее люди, свои и чужие. Лишь в эти короткие сумеречные часы она — только наша мама.

Не всегда бывает Андерсен, Гримм и «Степка-Растрепка». Иногда — и я люблю эти вечера — она читает нам жития святых (самые любимые — Варвара великомученица и Георгий Победоносец). Это маленькие лубочные книжечки, но рассказ их прост и понятен нам, она читает, а мы рассматриваем (только рассматриваем, она не дается нам в детскую) ее священную историю с гравюрами, по которой училась она в детстве. <...> Иногда мы рассматриваем не эту книгу, а журнал «Малютка», выписываемый для нас. <...>

Иногда и чтенья не было. Мама рассказывала о своем детстве, о бабушках, о прежней Москве... В рас-

сказах иногда мама забудется и вспомнит про Колю, или про Сергея Сергеевича, или про бабушку, свою мать,— и тут между мамой и нами закрадется облако печали. Оно скоро рассеется (или, вернее, она рассеет его), и мы опять веселы.

Это были, думаю теперь, единственные светлые часы ее за целые сутки, короткие часы, сделавшиеся минутами, когда мы подросли и нам стали ставить приборы за общим столом.

Другие — редкие — часы радости находила она у своей матери, пока та была жива. С ее смертью последний друг ушел из ее жизни.

Она осталась одна.

У нее осталась все растущая забота о детях.

Отцу было 54 года, когда родился я, 56, когда появился на свет Георгий. Отец был здоровья некрепкого, страдал головными болями. Нечего было и надеяться, что он может вырастить и устроить жизнь своих вторых детей. Но мама так и не дождалась, чтобы хоть малую сумму положил отец на маленьких детей. Ничем не была обеспечена и она сама. Он даже не дарил ей никогда ценных вещей, как даривал когда-то Сергей Сергеевич. Все шло в семью, в семью. Мать — из уважения к отцу — не настаивала на своем праве быть обеспеченной им на старость вместе с маленькими детьми, и горько потом раскаивалась в этом: обеспечив ее, отец этим самым обеспечил бы и себе спокойную старость. <...>

Горечь матери при отцовском разорении была тем более горька, что все эти падчерицы и пасынки всюду разглашали, что у нее — большие средства, что она давно сумела обеспечить себя, и находились люди, которые прямо отказывались верить, как такая умная женщина, выйдя на семью в одиннадцать детей, за старика, не потребовала от него полного обеспечения себя и будущих детей. <...>

А между тем не было не только средств, но и рубля на дневной расход, после того, как отец отдал кредиторам все деньги, векселя, две лавки с товаром и дом и уплатил им полностью до копейки. На беду, он года за два до смерти перестал платить «купеческий капитал» и переписался в мещане. Это лишило нас права бесплатно учиться в коммерческих училищах, а

мать лишило маленькой пенсии, которое купеческое общество выплачивало купеческим бедным вдовам.

По уходе старших детей отец прожил всего два года, тяжелобольной. Мы жили в маленькой дешевенькой квартирке — и *чем* мы жили, кроме продажи вещей,— даже и представить себе не могу. Денег не было даже на леченье отца. И лечил его даром старый мамин знакомый доктор Н. И. Стуковенков, директор Голицынской больницы, человек добрейшей души. Он приезжал в еноте и бобрах, качал головой на участь отца, прописывал лекарство (да, кажется, тайком тут же и давал деньги на него). И ободрял мать, тихо плакавшую перед ним в передней, потихоньку ото всех. Помню, бывало, в сумерки мать сидит у окна, а по нашему Переведеновскому переулку с товарной станции Рязанской железной дороги непрерывно, с утра до вечера, скрипит обоз за обозом, воз за возом с мукой, с крупой, со свининой, с битой птицей, с говяжьими тушами, с дровами. Ничего этого у нас нет. Дрова на исходе. К празднику нет ничего мясного. Нет ни масла, ни яиц. И мама с тоской не удержится, вздохнет в морозяное окно:

— Дали бы нам мешочек муки, да саженку дров, да гуська — и будет с нас!

«Нас» — это отец, она, я, брат, тетка Марья Васильевна да старая наша повариха Марья Петровна, старуха грузная и слабая. Когда она «отошла» от нас, она увезла в деревню к племяннице, сулившей ей покой и почет, два сундука, битком набитых, да три билета выигрышного займа, да деньгами несколько сот. За два года родная деревня с бесчисленной родней и кумовьем все это растрясла у старухи и затем вежливенько предложила ей:

— Тетенька, вам бы поработать еще. Ишь вы на стряпню какая мастерица. Вам в деревне-то, чай, скучно. Вас в городе большие господа возьмут — с руками оторвут.

И старухе ничего не оставалось, как потащиться в город искать места. Но «большие господа» не взяли устаревшую больную повариху, а взяла мать — «ради Христа», не зная, будет ли назавтра кусок мяса и полено дров для ее поваренного труда.

Когда отец умер, брату было одиннадцать, мне двенадцать лет. Я учился, он поступал в гимназию.

Матери пришлось искать средств к жизни. Ей было уже сорок семь лет. Что можно было *начать* в эти годы больной, измученной жизнью и трудом женщине? Но надо было жить и давать образование детям. И она нашла-таки — с величайшим трудом — гроши, на которые кое-как, с перебоями потянулась наша жизнь. Но какою ценой! Целые дни она ходила «по делам» — с больным сердцем, с больными ногами (после последних родов они отнялись у нее и около года она провела в постели). Бывало, подходит ночь, а ее все нет, все нет. Ледяная тревога охватывает мою душу: у нее порок сердца (единственный порок, который, быть может, передала она мне), она может умереть мгновенно на улице. Однажды это чуть-чуть не случилось. Истомленная ходьбой по городу, «не заставаньем» нужных людей, она в каком-то глухом переулке почувствовала такую острую боль в сердце, что, вскрикнув, опустилась на скамью у чьих-то ворот. Она помертвела. Дворник подбежал к ней. «Что с вами, барыня?» Он решил, что она отходит, и со страху (ох, как боялись еще тогда «мертвого тела»!) решил отвезти ее в часть. Она молила его, превозмогая боль думой о нас, о том, что будет с нами, с детьми: «Ох, голубчик, ничего... Я устала. Я только передохну». Она даже нашла силу улыбнуться ему и пошутить: «Вот немного посижу здесь с тобой, уж очень скамейка у тебя хороша». Дворник поддался на эту шутку останавливающегося материнского сердца: шутит, мол, значит, не умрет,— и милостиво согласился: «Ну, посиди. Ничего, посиди. Скамейку не просидишь».

Кое-как отдышавшись, она поплелась на конку. Но конка ходила только до девяти, она опоздала, и пришлось ей с Поварской плестись в Гавриков переулок через всю Москву, останавливаясь передохнуть и боясь присесть у какого-нибудь менее милосердного дворника, и не выпускала из рук сумочку с документами и с каким-то лакомством для нас, обмирая душой от мысли, что она все еще не дома, а уж ночь, и дома дети ждут ее с замираньем сердца.

Когда она умерла, я раскрыл ее кошелек и там нашел маленькую, тщательно сложенную и тщательно написанную записочку: «Анастасия Васильевна Дурылина. Адрес: Близ Гаврикова Переведеновский переулок, дом Шаблыкиной, кв. 2. Не говорите детям сразу. Подготовьте их».

Это была заранее подготовленная и всегда ею с собой носимая посмертная ее просьба на случай ее внезапной смерти. И тут была забота о детях, только о детях. Даже и весть о своей смерти хотела она облегчить им из-за могилы.

Хлопоты о средствах к жизни измучили ее, подвергая унижениям и обидам, укоротили ее жизнь. Ей приходилось возобновлять свои старые знакомства, шестнадцать лет назад прерванные с ее вторым замужеством; ей нужно было отыскивать среди купцов таких людей, с которыми у отца были давние хорошие отношения — отец держал ее в стороне от своих дел, и она была здесь, как в темном лесу. Необходимо было заводить новые связи с нужными людьми. И с каким умом, с каким тактом она умела это делать! Отцовы, отысканные ею знакомцы, знавшие его за человека редкой честности, вместе со старыми ее знакомцами по еще по калашниковскому родству, сделали то, что казалось невозможным: ей, мещанской вдове, Купеческое общество назначило пенсию, как вдовой купчихе в 30 рублей в месяц. Это была великая победа ее материнства: эти деньги оплачивали квартиру и дрова. <...> Но надо было еще есть, пить, обуться, одеться, учить детей. И на это нашлась добрая воля и добрые люди. При ликвидации всех отцовых дел кредиторы отдали ему безнадежные векселя его же небольших должников, маленьких покупателей, рассеянных по всей России. Расходы по получению денег с этих застарелых неплательщиков далеко превысили бы сумму долгов. <...> Нашелся добрый человек присяжный поверенный Василий Николаевич Сергеев, ведший недолго отцовы дела и почти незнакомый с матерью. Он, отправляясь в какой-нибудь Пропадинск или Калинов по крупному делу, всегда предупреждал мать: «Нет ли у вас какого-нибудь маленького векселька в Калинов?» И если векселек — иногда давным-давно просроченный — находился, он брал его с собою и добивался получения денег с какого-нибудь Тита Титыча, даже и забывшего про существование векселька.

Получал этот добрый человек иной раз и по просроченному векселю, которому истекла уж какая-то там давность: он умел усовестить, умягчить Тита Титыча, а то и припугнуть легонько, но умненько. Часто

перед такой поездкой Сергеев советовал матери: «Вы бы, Настасья Васильевна, узнали у Соколиковых (шелковые фабриканты), платит ли такой-то» (а это была, конечно, коммерческая тайна) или есть ли у них дела с таким-то (опять такая же тайна). Сергееву это надо было для того, чтобы наверняка действовать с неплательщиком: если платит всем, то можно припугнуть протестом маленького векселя. Тит Титыч испугается сразу. «Как,— скажут,— по малому векселю да протест? Значит, плохи у него дела!», да и откажут в товаре или в кредите. Если Соколиковы имеют дело с каким-то Самсон Силычем, не желающим заплатить вдове сто целковых, то достаточно их, соколиковского фабрикантского слова этому, нуждающемуся в их товаре Силычу: «Что же ты, братец, ста рублей-то вдове Николая Зиновеича не можешь заплатить? Али разориться боишься?», чтоб эти сто рублей очутились в портфеле у Сергеева, а через день превратились бы в дрова, муку, крупу, латинскую грамматику и гимназическую шинель на Переведеновке.

Но чтоб достать для Сергеева эти справки от Соколиковых, людей крепких, молчаливых, умело блюдущих свою «коммерческую тайну», матери надо было приложить много труда, ума, такта, привета-ответа: ведь отец никогда почему-то не знакомил ее с этими Соколиковыми, Константиновыми и пр., с которыми имел торговые дела. Знают их лишь «старшие братцы» и своим знакомством успели уж воспользоваться не на пользу мачехе. Но и это все преодолела материнская, вооруженная умом, любовь. Соколиковы распознали хорошо и ее и братцев и относились к ней с уважением... <...>

Но «получения» от Сергеева были нечасты, а, скорее, являлись тем, что называется «Бог на шапку послал», и матери приходилось искать всякого случая, чтоб добыть денег своими руками. Она вязала кружева, какие-то прошивки и продавала знакомым. Летом отправлялась «варить варенье» к своим «посаженым отцу-матери» — богатым одиноким Залогиным, доживавшим некороткий свой век в усаженной розами даче в Сокольниках, и за три-четыре дня варки абрикосов и дынь ей давали золотой (десятирублевик) и отвозили на своей лошади до «круга», откуда

мама тряслась на конке домой. «Варила» она и у богатых мучников Мухиных... <...>

Обед у нас был всегда. Но на ужин — и то только детям — был стакан молока с ломтем белого хлеба. <...> Самое тяжелое было с квартирой: тут не было ни милости, ни просрòку, а деньги, полученные из Купеческого общества, уходили на еду, на дрова, на каждодневный обиход. <...>

Так шло из года в год, пока я не стал давать уроки и помогать ей.

Но я же и подрезал самую дорогую, самую лелеянную ее надежду. Ее мечтой было, что я окончу гимназию, окончу университет, буду ученый, профессор, получу казенную квартиру (ах, как отравили ей жизнь «рвавшие и метавшие» хозяйки захолустных квартир!) — и она получит на старости покой. <...>

И я разрушил эту ее мечту!

Я уходил месяц за месяцем от всего, дорогого ей, этого мирка тишины, книг, стихов и молитвы, и однажды, обуян честнейшим и бестолковейшим народничеством на свою стать (только эта «своя стать» и была в нем ценна), заявил в гимназии, что не могу больше продолжать там ученье, так как считаю это безнравственным: ученье в гимназии и в университете есть привилегия, которою не пользуются миллионы простого народа, кормящего нас своим трудом. Долой с народной спины! И я слез с нее — «сказать попроще» (Крылов) — ушел из среднего класса гимназии.

Она перенесла этот удар мужественно. Она меня почти не упрекала.

Я тотчас, разумеется, принялся зарабатывать деньги, чем мог,— уроками, первым литературным трудом. Но все это мало ее утешало. Не деньги мои ей были нужны, а мое будущее, то, которое прочила она мне, и разумно прочила, сообразуясь с моим характером и истинными склонностями, полнее и ярче сказавшимися в поздние годы.

Но ее ждал другой удар, занесенный моею рукою, а затем и рукою брата.

Она узнала хорошо, что такое обыски, аресты, что такое «передачи» в тюрьму, что такое невольные беседы с вежливыми чинами охранного отделения, наконец, что такое высылка сына из Москвы.

И тут, в этой жизни сквозь слезы, продолжавшей-

ся годами, она была мужественна и деятельна, терпелива и умна. <...>

Она никогда не «обращала» меня в веру отцов. Она не упрекала ни в каком неверье. Она только молилась тайно и просила.

И выпросила мне то зернышко веры, которое пусть не дало и не даст ростка зеленого и высокого, но и не умрет в душе, пока не умрет сама душа.

Молодость нашу — и чужую, ту, которую мы приводили в наши тесные комнатки на Переведеновке, мама *чувствовала* и была с нею не сурова, даже не строга, и хоть знала, что вся эта молодежь строит воздушные... нет, не замки, а усовершенствованные казармы на кисельных берегах с молочными реками, воздушные казармы, под обломками которых сама же застонет и искалечит свою жизнь, она терпела и этих строителей, иной раз шумливых и безалаберных, а иной раз (и далеко не раз!) и назойливых и озорных, и, терпя, и для них умела найти кусок хлеба мягкого... И хотя эти всевозможные «исты» — она не могла не думать этого — украдывали у нее детей ее или то, что она вложила в этих детей, она умела *жалеть* их. А *жалость* — известно, что такое *жалость* была у прежнего русского человека: любовь прикрывал он этим словом. «Исты» всех толков и мастей, толстовцы (и сам будущий секретарь Л. Н. Толстого — милейший Н. Н. Гусев [17]), «добролюбовцы» [18] — Петя Картушин [19], покончивший потом самоубийством (она звала их, жалеючи и чуть-чуть подсмехаясь про себя, «братцами»), и другие, искавшие мистического союза с народной душой, милые молчаливцы; «декаденты» разных призывов; «штирнерианцы» [20] и творцы «кинетического понимания истории»; опростившиеся интеллигенты и обинтеллигентившиеся мужики; поэты и художники (в их числе Боря Пастернак); провинциальные актеры и непризнанные творцы социальных утопий; мистические бродяги по русским неоглядным просторам — кого-кого у нас не перебывало, не переночевало, не перегостило, не переедало за эти мятежные годы моей и братней юности!

Нелегко было ее старости сносить эту юность, шумливую, безумную и слепую на всякий «труд и болезнь» старости... А она не только сносила, но и привечала.

Но схлынула и эта волна весеннего прилива.

Еще при первых отступлениях этой волны, я дошел уже до отчаяния. «Я лил потоки слез нежданных». Мне противен был всякий человеческий голос, кроме голоса матери. Я знал, что давно нацелил себе в висок дуло револьвера и даже досадовал, что кто-то невидимый не давал мне спустить курок. Теперь я знаю, кто был невидимый: мать.

Прошел буйный час прилива.

И, сам не замечая того, я начал реставрацию себя по тому фундаменту, который был заложен ее руками, по тому чертежу строения, который был начертан ею еще над моей детской постелькой.

Я поступил в археологический институт. Я перевез ее на другую, лучшую квартиру. Я повел ее с собою в театр — в Малый, куда она не могла пойти чуть не два десятилетия и где застала еще великих актеров, в их числе подругу ее детских игр М. Н. Ермолову, в Большой на Шаляпина в «Борисе Годунове», где она все поняла и все оценила с чутьем удивительным, на «Вишневый сад» в Художественный. Я мог выписать ей ту же старую любимую «Ниву», которая получалась и на Болвановке, и в Плетешках и перестала получаться на Переведеновке.

Получив деньги за книжку о Китеже [21], я повез маму туда, куда она хотела,— в Оптину пустынь и к Тихону Калужскому, куда она возила меня с отцом — маленького, слабенького, худенького мальчика. В 1914 году летом я повез ее к Троице — и она вспоминала, как в трудную минуту, после смерти бабушки, она взяла меня, маленького, и уехала внезапно для всех домочадцев к Троице-Сергию.

В этот зимний день ей, потерявшей мать, стало особенно тяжело от горестного одиночества, от ее безрадостных забот о большой разваливающейся семье, ей стало так непереносимо от давно накопившейся и постоянно подбавляемой жизнью тоски, что она, взяв своего «старшинького» («первинький» был умерший Коля), поехала с ним к Преподобному, чье имя он носил, поехала искать утешения, как в течение пяти веков брели, ходили, ездили и шествовали туда искать утешения все старые русские люди — от холопа до царя.

Я не помню, как мы ехали по железной дороге, как стояли обедню в Хотькове, где почивают родители

преподобного Сергия, не помню даже, стояли ли ее. Смутно помню, как поклонились родителям Преподобного, Кириллу и Марии, как служили панихиду и отведывали кутью с большого блюда, стоявшего на их гробнице, но отчетливо помню, что мы сильно запоздали ехать к Троице. Когда мы напились чаю в маленьком гостиничном домике, короткий зимний день начал уже мутнеть. До Троицы от Хотькова десять с лишком верст. Подходящего поезда не было. Приходилось заночевать в Хотькове. А маме хотелось к Преподобному. Ей предложили ехать на лошадях. Она колебалась. Дело быстро шло к сумеркам. Предстояло ехать полем и лесом. Я был одет для теплого вагона, а не для зимней дороги. Наконец она все-таки согласилась.

Каурая лошадка в деревенских лубяных расписных саночках стояла у крыльца. Среднего росту мужичок с русой бородой приветливо похлопывал рыжими рукавицами. И лошадка, и санки, и мужик — все располагало ехать. Мы сели. Мама укутала меня шерстяным платком, и, напутствуемые монашенкой с гостиничного крыльца, мы тронулись.

— С Богом!

Ничего не было необычного в этой поездке: и дорога недолга, и возница самый обыкновенный, но навсегда вошла в мою душу эта зимняя поездка.

Это был мой первопуток. В первый раз я был среди русской зимней природы, в ее нерушимой тишине, в ее бескрайней белизне. Сеялся реденький мягкий снежок — ни сухой, ни мокрый; он не колол, не влажнил лицо, а приникал к нему ласковыми седыми пушинками. Белое, черное, серое — других красок не было в природе. Надвигавшиеся сумерки смягчали все кругом. Белою мглою заволакивался лес. Встречные деревеньки закутывались в белые овчины. Серое низкое небо все ближе и ближе приникало к земле. <...>

Лошадка бежала весело. Полозья бодро поскрипывали. Возница изредка перекидывался словами с мамою. О чем он говорил? Я теперь не помню. Но я помню, что из его нехитрой речи, из его немногих слов и в мою детскую душу, и в мамино горюющее сердце вливался тот же покой, неразлучный с тихою грустью, что был разлит кругом — в безмолвном лесу, отдыхавшем от летних гроз, в широких полях, спавших под белым покрывалом.

И чем гуще спускались плотные сумерки, чем глуше становился лес, тем спокойнее становилось на душе.

Я жался ближе к маме. Она охватывала меня рукою, но, верно, она чувствовала, она желала того же, что и я: чтобы подольше не нарушался ничем этот белый грустно-радостный покой.

Какое-то умиление от чудесной встречи с чем-то дорогим и родным, великим и прекрасным, чему я не знал и не мог знать тогда имени, охватило меня.

Когда много лет спустя, уже юношей, я прочел впервые строки Тютчева:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя...[22]

я испытал, как постигаю теперь, то же чувство, что и в тот сумеречный час, в лубяных санках на зимней дороге...

Это была первая встреча с родной природой и родным народом.

. . . .

— А вот и Троице-Сергий!

Мужичок указал кнутом на редкие огоньки, мелькнувшие далеко впереди. <...>

Мама привезла с собою от Преподобного долгий запас сил и терпения, а я привез то, о чем только что рассказал. И долгие годы спустя, когда маме, бывало, взгрустнется, она спрашивала меня:

— Сережа, помнишь, как мы ехали в саночках к Троице?

Скоро исполнится четверть века, как мамы уже нет на земле, а я все по-прежнему отвечаю ей:

— Помню.

Помню эту первую мою грусть-радость от встречи с родиною, второй матерью, так обильно дарящей своих детей и грустью и радостью. <...>

Глава 2

ОТЕЦ

Так мы никогда его не называли. Мы не называли его ни тятенька, ни батюшка, называли: папаша и всегда на «вы». Но когда он умер, а я остался по три-

надцатому году сиротою, я испытал всю горечь *безотцовства,* и о тягости растить детей без отца всегда скорбела мама.

Старый дом, где я родился и где провел первые одиннадцать с половиной лет жизни, неразрывно связан в моей памяти с отцом. Это был отцовский дом в полном и точном смысле слова: им купленный, им созданный, им поддерживаемый, и немудрено, что, когда дом этот не по его вине рухнул, он умер...

Отчий дом!

Многие ли могут сказать теперь, что он у них был, что в нем послышался первый шорох их бытия?

Отца я вспоминаю ярче и ближе всего вот так.

Я еще совсем маленький. Брат на полтора года моложе меня. Мы сидим за столом в детской. Горит свеча в медном подсвечнике. Няня вяжет чулок. Мы ждем возвращения отца «из города». Маятник больших стенных часов мерно и дружелюбно шагает под стеклом.

Пробило семь часов. В половине восьмого раздается звонок в передней. Это звонок отца: негромкий, нерезкий, но внятный и полный — такой доходчивый, что никогда не бывает нужды во втором. Горничная бежит отпирать дверь и помогает отцу снять енотовую шубу. Он идет в залу. В ней пусто и темно. Только в правом углу теплится лампада перед большим Нерукотворенным образом Спасителя.

Темный лик Спаса в серебряном венце озарен алым светом. Этот же слабый отблеск борется с темнотой в зале, но не может побороть черного треугольника, падающего от образа на пол.

Я боюсь этого черного угла. Когда няня, по желанию отца, ведет нас на сон грядущий помолиться перед Спасом, я жмурю глаза, чтоб не видать этого черного треугольника под образом. Лик Спаса строг и величествен. В нем скорбь и власть. Очи его не спящи и всегда обращены на человека.

Теперь, через полвека, мне словно слышится из уст древнего Спаса: «Бдите и молитеся, да не впадете в напасть».

А тогда, малый ребенок, я бывал обезмолвлен этим скорбным и строгим величием — и молился перед образом горячо, ни о чем не прося и забывая слова первых выученных молитв.

Но когда мне приходилось класть последний зем-

ной поклон, меня охватывала зябкая жуть. Свет от лампады казался кровавым. Точно капли крови сочились на пол от страдающего Лика. Но это было не самое страшное. Страшное был черный треугольник. Мне казалось — в нем копошится злая сила. Ей нет места там, куда проникает свет от лампады. Ее нет нигде в зале. Но в этом узком треугольнике, сжатом светом лампады,— казалось мне, ребенку,— кишмя кишит темная сила. И, кладя земной поклон, было страшно нарушить черту треугольника и нечаянно коснуться злой черноты.

Так молился перед родовым Спасом я, ребенок, худенький мальчик в русской рубашке.

Но отец благоговейно благодарил Спаса за прошедший день. Осеняя себя крестным знамением перед тем же образом, перед которым молились его отец, дед и прадед, он обретал какую-то особую бодрость и, помолившись у Спаса, начинал свой обход дома: заходил в гостиную помолиться перед «Успеньем», точь-в-точь таким, как в Киевской Лавре, затем шел в комнату «молодых людей» (старших братьев), а оттуда к нам, в детскую. Перекрестившись на образ, он здоровался с нами. От него пахло морозной свежестью, усы и бакенбарды были чуть влажны от растаявших снежинок. Если все было хорошо в лавке, он говорил мне, веселый:

— Вот ты, Сережа, дал мне утром руку на счастье, все и было хорошо.

Он доставал из кармана любимое свое лакомство — миндальные пряники — и потчевал нас с братом. Но иногда он замечал мне:

— Плохо ты поутру дал руку на счастье. Почти без почину были.

Из детской он заходил в столовую, где был уже накрыт стол к обеду, молился там перед Деисусом, затем спускался вниз, обходил все комнаты, здороваясь с дочерьми, и наконец, обойдя весь дом, возвращался в переднюю и шел в спальню, к маме, мимоходом приказывая всех звать к обеду.

Этот ежедневный утренний и вечерний обход всего дома не отменялся никогда. При обходе отец не обделял никого и ничего своим вниманием, заботой, лаской или «сердца горестной заметой». Бывало, кончит обход и спросит у мамы:

— Мамаша, ты не знаешь, отчего Таня (младшая дочь) сегодня скучная какая-то?

Или:

— Лизавете Петровне (пожилая дальняя свойственница) не зябко ли в ее тальме-то? Не взять ли ей шерстяной платок из лавки?

Или:

— У рододендрона что-то листья повяли. Не позвать ли садовника пересадить цветы?

Или:

— Я заходил в горницу (к горничным), Маша хлеб жует. Хорошо ли их черная Арина (кухарка, готовившая для прислуги) кормит? Солонину варит ли?

Или:

— Васька мне встретился на лестнице. Уж больно он обдергался, по задворьям бродючи. Запереть бы его на чердак.

Этим заметам не было счету. Каждое утро и каждый вечер одни сменялись другими, но не переводились никогда до горького утра, когда был совершен последний обход покидаемого дома.

Тут был не один «хозяйский глаз», о котором говорит пословица. Тут было глазатое сердце, которое все видело и обо всем в доме болело настоящей доброй заботою, чтоб ни для кого в доме кусок не был черств и чтоб никто не был обделен ласковым отчим словом.

Таким запечатлелся облик отца в самой ранней моей памяти.

Его писаного родословия у меня никогда не было. Но это не значит, что вообще не существовало родословия.

Родословие старого русского человека, не знавшего ход в департамент геральдики, заключалось не в «родословном древе», а в старинных молитвословах и в «Божием милосердии», то есть в старинных родовых образах.

То и другое было у отцовского рода.

Самым прочным достоянием православной русской семьи были образа. Когда наступала огненная беда, пожар, из дома прежде всего, часто с опасностью для жизни, стремились спасти «Божье милосердие». Ни при какой имущественной беде, ни при какой степени бедности и разоренье не отдавали в заклад и не продавали икон. При прочности этого заповедного семей-

ного достояния иконы становились лучшею достовернейшею летописью семьи.

В нашем доме и роду были иконы от XVII века, от времен московских царей. <...>

Оттуда же, из Калуги, был и деревянный с иконою старого письма Животворящий крест, врезанный по желанию матери в золоченую доску. На исподе креста была надпись, что он сооружен усердием Петра Осипова, родного брата моего деда по отцу. Его же имя сохранилось на серебряном исподе превосходного финифтяного образа Григория Богослова.

Был и еще один примечательный образ — Трех Святителей. По письму его можно было отнести к началу XIX либо к концу XVIII столетия. Свидетельствовал он об уважении предков моих ко «вселенским учителям и святителям», а свидетельством этого уважения было то, что образ был нарочито заказан иконописцу и велено было ему по сторонам Трех Святителей приписать Зенона, Евдокию и других угодников тезоименитых деду моему, бабке, прадеду, прабабке и т. д.

Портретов этих родичей моих (кроме деда) не сохранилось, да и вряд ли существовали эти портреты, но лики их тезоименитых святых хорошо указывают, *каким родословием* дорожили предки мои. <...>

Эти образа, вывезенные из Калуги, хранили безымянную летопись старого купеческого рода, к которому я принадлежу.

Хранил эту летопись и старый помянник, подававшийся за обедню и на панихиду в родительскую субботу: в нем было много десятков имен, писанных уставом, но ни при одном имени не было гордого «болярина» такого-то, как в дворянских помянниках, но был, сколько помню, один «игумен», один или два «воина», много «младенцев» — и только. Никаких других житейских поименований не оставили по себе мои предки... <...>

Раскрываю Молитвослов славянской печати, издания Киево-Печерской Лавры 1825 года, месяца мая и читаю на вклеенном листке: «Сии святцы Зиновея Осипова...» Это молитвослов моего деда, но это же и маленькая летопись. На одном из листков написано:

«1841 года Мая 28-го дня в 5 часов пополудни преставилась родительница наша Авдотья Артамоновна. Это запись о смерти матери моего отца, а близко к ней

есть и другая запись: «1843 года, ноября 12-го дня совершился второй брак Зиновея Осипова... с девицею Екатериною Алексеевной Петровой в Никольском приходе, при протоиерее Дмитрии Исаеве». Это запись о дне, когда вступила в семью мачеха моего отца. А на одном из следующих листов краткая отмета: «1849 года июля 6 родитель наш Зиновей Осипович... покончил жизнь свою в Киеве в 11 часов пополудни».

Мой отец Николай Зиновеевич родился 25 марта — в Благовещенье — 1832 года. Стало быть, девяти лет лишился он матери, а семнадцати — отца.

В купеческих семьях был обычай на молитвословах и псалтырях делать отметы семейной хроники. У мамы моей для сего имелся «Памятник веры», где на особые страницы наносились числа наших рождений и заносились события семейной достопамятности.

<...>

Вспоминаю образа, книги, предметы, связанные с отцом и его верою, но не вспоминаю *лиц*.

В нашем доме никогда не бывало ни парадно принимаемых архиереев, ни важных архимандритов с золотыми крестами, ни монахов, ни странников, ни странниц. Из духовенства у нас в доме бывало лишь приходское, приходя с крестом в великие праздники, да то духовенство, что приезжало в положенные дни с чтимыми иконами — Иверской и Спасителя. Не только какая-нибудь «странница Феклуша» из «Грозы», мнимую набожность которой отец раскусил бы с первого взгляда на нее, но и «юродивый Гришка» из «Детства» Толстого были бы невозможны в нашем доме. Сама почтенная монахиня мать Хиония, которой отец помог снарядиться в Святую землю, вхожа была в дом наш прежде всего как великолепная мастерица стегать одеяла в приданое многочисленным дочерям. Бессомненная искренняя набожность отца была строга и глубока и не нуждалась ни в «знамениях», ни в «пророчествах», ни в пышностях церковного чинопочитания, которые — если верить Островскому и Лескову — привлекали к себе исключительно «боголюбцев» из купеческого сословия. Отец не любил и каких-нибудь рассказов и россказней о духовенстве и, кажется, чуть ли не одинаково не любил ни «поведаний», клонящихся к прославлению здравствующих «яко святые», ни россказней, осуждающих или осрамляющих духовенство.

Помню псаломщик приходской церкви Богоявления в Елохове, степенный и басовитый Николай Федорович Преферансов, уважаемый отцом и уважавший отца, принес ему однажды для прочтения запрещенные тогда «Мелочи архиерейской жизни» Лескова (по приказу Победоносцева том сочинений Лескова с этими «Мелочами» был *сожжен*), и советовал прочесть, как некую скрижаль, раскрывающую правду об архиереях. Отец поблагодарил, спрятал книгу в комод и, подержав некоторое время для приличия, возвратил Преферансову, не читавши.

Я не вспоминаю ни одного разговора или рассказа о митрополитах, архиереях, протоиереях или протодиаконах — рассказов, исходивших от отца. Зато я отлично помню его благоговейно-строгие, исполненные живой веры слова о Спасе Христе, о Пречистой, об архистратиге Михаиле, об Иоанне Предтече, о Святителе Николае, о московских святителях, о преподобном Тихоне Калужском, чтимом на родине отца.

Он не читал «Мелочей архиерейской жизни», и в его руках я не видал никаких «житий» на здравствующих подвижников, но под большие праздники, придя от всенощной, или тогда, когда по болезни не мог быть в церкви, он читал, а иногда и певал с благоговением ирмосы [1] и кондак [2] Празднику из книги Е. Ловягина, где песнопения эти были даны и в славянском тексте, и в русском переводе с греческого. Он знал наизусть службу и акафист [3] своему ангелу, святителю Николаю...

Каждый понедельник — день, посвященный ангелам, отец неопустительно ходил к обедне в Архангельский собор, особенно почитая архангела Михаила. Икона архистратига небесных сил была в комнате отца. Это неопустительное хождение в Архангельский собор по понедельникам, нарушавшее обычное течение его «трудов и дней», отец исполнял по обету, данному еще в молодых годах, и исполнял до старости. Никто не знал, когда и при каких условиях дан был отцом этот обет, но он никогда — разве болезнь приковывала его к постели — не нарушал исполнения этого обета и, сколько помню, никого, никогда не брал с собою в эти понедельники в Архангельский собор. <...>

Когда мы с братом подросли, отец водил нас с собою в приходскую церковь Богоявления и неопусти-

тельно требовал, чтобы мы строго держали себя во время богослужения: не смотрели по сторонам, крестились истово, кланялись в землю добросовестно, стоя на коленях, не приседали корпусом на пятки. Отец следил и за тем, чтобы дома мы сохраняли благоговение к чтимым иконам, молились перед едой и после нее, не позволяли пустить себе на язык «черное слово». Но никаких особых проявлений нарочитого благолепия он от детей не требовал. Зная сам отлично богослужение, он радовался, если замечал, что я уже воспринял кое-что из обычного богослужебного круга приходской церкви, но никогда сам не заставлял меня «учить» и «твердить» из богослужебных песнопений, канонов [4] и молитв. Никогда, никто — ни отец, ни мать — не засаживали меня за «душеспасительную книгу» с обязательным ее усвоением и еще более обязательным предпочтением ее книжке «светской».

Я очень рано усвоил себе немало церковных молитв и просто не помню себя, когда б я не знал «Царю Небесный», «Отче наш», «Богородицу», но не помню и никаких своих слез или детских огорчений, вызванных обязательной зубрежкой церковно-славянских текстов дома и в гимназии, а у большинства моих сверстников и товарищей этих огорчений от «иже» и «како», этих конфликтов с «тропарями» и «кондаками» было без числа.

Это не значило, что отец был «веротерпим» или, еще дальше, «либерален» в делах веры; нет, он был строг здесь и тверд не меньше, чем его предок в XVIII веке. В его присутствии никто не посмел бы позволить себе малейшей «вольности» по поводу предметов духовных и вероисповедных. <...>

Вспоминаю такой случай. Старшие братья и сестры (из которых некоторые годились бы мне в отцы и матери) задумали сыграть на праздниках домашний спектакль. Отец не с большой охотой, но согласился на это, и сестры принялись за свой «Лакомый кусочек». Но когда дело дошло до «репетиций на сцене» — а ею служил тот конец зала, где висел образ Спаса — и «режиссеры» возымели намерение на время перенести образ в другую комнату или завесить его гардиной, отец строго-настрого запретил это. Все, на что он согласился, это поставить ради спектакля в углу, где висел чтимый им образ, купу высоких тропических растений.

В другой раз я был невольным участником следующего происшествия.

В доме получалась «Нива» с приложениями сочинений Достоевского. Ее получали наверху, во втором этаже, где жили отец, мать, старшие братья, ничего не читавшие, и мы, дети; сестры, упивавшиеся романами, жили в нижнем этаже. Как-то зимним утром мама вручила мне только что полученных «Братьев Карамазовых» и поручила отнести книжку сестрам, вниз. На беду, на дубовой винтовой лестнице я встретился с отцом, поднимавшимся снизу. Он спросил, зачем я иду вниз и что у меня за книга. Я показал ему «Карамазовых» (мне было восемь лет, я понятия еще не имел о Достоевском). Ничего не объясняя, он взял у меня книгу, велел мне вернуться в детскую, а книгу на моих глазах бросил в топившуюся печку.

Мне ужасно досталось от сестер, что я не сумел донести к ним романа, первую половину которого они только что прочли. А я и до сих пор не знаю, почему отец сжег его, не знаю, но предполагаю, почему этот не гнев (никакой вспыльчивости тут не было и следа), а приговор к истреблению огнем обрушился на православный роман великого писателя. В зрелые годы я узнал (и писал об этом сам), что замечательный писатель и тайный оптинский постриженик К. Н. Леонтьев[5] убежденно считал именно этот роман Достоевского неправославным, старца Зосиму называл мечтательным и сентиментальным и решительно отметал всякое сходство между ним и оптинским великим старцем Амвросием. Вряд ли отец слышал что-нибудь о К. Леонтьеве (хотя катковский «Русский вестник»[6], где печатались и Достоевский и Леонтьев, временами получался у нас в доме: помню комплект за 1871 год с «Бесами» Достоевского и с «Аспазией Ламприди» Леонтьева), но, несомненно, и для отца моего, как и для Леонтьева, «монастырь старца Зосимы» не был *православным* монастырем (а православный монастырь отец знал и чтил), и весь образ старца Зосимы мог казаться соблазняющим на то, что Леонтьев называл «розовым христианством». Несомненно для меня, что и «Легенда о великом инквизиторе» и беседа Ивана с Чертом должны были казаться отцу недопустимым вольномыслием около величайшей святыни — около Спаса Христа. И еще несомненнее, что образ растлен-

ного «родителя» Федора Павловича Карамазова, заражающего развратом все и всех вокруг себя, должен был казаться отцу, строгому семьянину, с чистой совестью выполняющему обязанности отцовства, образом, сеющим соблазн и колеблющим уважение к отцовству.

Понять же, какая глубина религиозного *утверждения* таится у Достоевского за этими realia и realiora (лат.) [7] его романа, отец был не в силах.

Сжигая роман Достоевского, он карал прежде всего отвратительного Федора Павловича, осуждал распутство и безверие в его сыновьях, карал, мне кажется теперь, «карамазовщину», боясь ее для своих детей и оберегая от нее свою семью.

Это охранительное начало веры было в отце очень сильно, но будь в нем, как это часто бывало в людях его века, оно одно, оно привело бы его к сухости, к холодности, к суровости.

Ничего этого в нем не было.

Отец мой был истинно добрый человек и всем сердцем понимал, что «вера без дел мертва».

В доме у нас никогда не было счету куску хлеба. При наличии большой, даже исключительно большой семьи (в наличном составе семьи бывало до двенадцати детей) дом наш кишел бедными родственницами, свойственницами, просто знаемыми. Одни из них постоянно жили у нас в доме; другие домовничали, то есть переселялись на летние месяцы; третьи «гащивали» неделями; четвертые приходили на праздники, на рожденья и именины — а сколько их было, этих именин и рождений в огромной семье! <...>

Как ни трудно было отцу «поднимать огромную семью» и выдавать дочерей (а их было семь) замуж, заблаговременно готовя приданое, он никогда не посчитал в прòторю этих гостевых кусков, а первый бы огорчился, если б узнал, что гостевой кусок в его доме суше и меньше, чем кусок семейственный.

Но большие короба таких кусков шли и на сторону, притом не случайно, а постоянно. Не было секрета, что в лавках у него служат на немалом жалованье родственники и свойственники, которым что-то не служилось в других местах, где не по родственному, а по деловому с них спрашивалось. Не было секрета, что отец

из года в год «помогает» трем своим замужним сестрам, попросту дает им ежемесячную «дачу» и что он же в свое время выдал их замуж, наградив и «Божьим милосердием» (образа) и всем потребным по обычаю скарбом. Не было секрета и в том, что отец вплоть до своего разорения продолжал выдавать замуж, то есть снабжать приданым, своих родственниц и свойственниц из молодых поколений, которые зачастую и появлялись-то в нашем доме, чтобы доложить: «Я, дядюшка, ваша троюродная племянница такая-то и выхожу замуж за такого-то», и затем предъявлялся реестр приданого, которое предполагалось получить из лавок отца. Иной раз такой реестр сообщался письменно. Один из них сохранился. Свойственница, выходящая замуж, благодарит «сестрицу» (мою мать), что уже получила от Николая Зиновеевича и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, но тут же сообщает, что ей по ею сочиненному реестру не хватает бархата на выездное платье, шелкового «верху» на шубу и «шляпы для визитов» и что она ввергнется в неизлечимую горесть, если не получит всего этого от Николая Зиновеевича, за которого обещает «по гроб молить Бога». Просительница выходила замуж за владельца колониальной лавки на Стромынке, причем единственный визит, который ей пришлось бы сделать после свадьбы,— это к нам же в дом, в Плетешки, визит, вовсе не требовавшийся, но «шляпа для визитов» поднимала эту Лизаньку в ее собственных глазах, тешила миражем, что и она, как другие, «устанет от визитов», разъезжая по родственникам и знакомым после «бракосочетания» и «вечернего стола». И отец, понимая, как дорог и нужен человеку такой мираж, не только посылал Лизаньке «верх» на шубу, но и посылал на шляпу для визитов.

Но кроме свойственниц, чем-то и как-то все-таки сцепленных с нашим домом, отец помогал и множеству «бедных невест», у которых все право на его внимание и заботу было в первом слове: «бедных». Но это право очень много значило в его сердце, и я не ошибусь, сказав: и в его вере. «Отрежьте на подвенечное платье и запишите на дом» — этот отцовский приказ часто слышался в его лавке, и приказчики не очень-то его любили: на подвенечное платье всегда шел самый дорогой товар — белый шелк или белый кашемир. «За-

пишите на дом» значило, что товар отпущен без денег, будто для дома, в Плетешки.

На каждую Пасху и на Рождество приезжали к нам Коля и Оля — мальчик и девочка из какой-то обедневшей купеческой семьи, над которой отец был опекуном. Приезжали со своей матерью. Нам с братом было раз навсегда сказано: Колю и Олю этих надо было угощать, заботиться, чтоб им у нас было весело, сытно и вкусно. Коля и Оля получали подарки, мамаша их, тихая, приятная женщиина, прятала что-то в ридикюль, выходя от отца. Они уезжали, благодаря отца, и исчезали до следующего праздника.

Так продолжалось много лет, пока Коля и Оля выросли и, приехав однажды на Рождество, узнали, что в доме в Плетешках живут уже новые хозяева, а Николай Зиновеевич ютится в тесной квартирке на Переведеновке, забытый всеми. Мать Коли и Оли не без тревоги, но и с изумлением спрашивала маму потихоньку: «Как же это случилось?» Мама в ответ только отирала слезы.

Однажды мне, взрослому, пришлось встретиться в одном доме с архимандритом, приехавшим из Иерусалима. Услышав мою фамилию, он спросил меня:

— А вы не сынок Николая Зиновеевича?

Получив мой утвердительный ответ, он с живостью воскликнул:

— А мы поминаем его за каждой литургией.

Я удивился: никогда не слышал ни о каких дарах отца на монастыри и храмы Палестины. Приметив мое удивление, архимандрит сказал:

— Как же нам не вспоминать Николая Зиновеевича за каждой литургией, если мы служим ее за завесой, им пожертвованной, и облачение на престол, и воздухи на святые дары — у нас все от него.

Это была обычная, но совершенно тайная жертва отца на церкви — в дальнюю ли Палестину или в какую-нибудь калужскую или архангельскую глушь. <...>

В нашем приходском храме у Богоявления в Елохове завесы в трех приделах были все приношением моего отца.

В бедные деревенские церкви, в дальние пу́стыни севера он жертвовал облачение для духовенства и парчовую одежду на престол.

После его смерти нашлось много писем из русских монастырей и с дальнего Афона; эти просительные письма были обращены к нему, как к известному жертвователю, но все это хорошо узналось только после его смерти.

Все жертвы его были тайные — иных он не признавал и никаких «честей» себе за них не желал.

Помню, однажды зимою отец приехал «из города» особенно веселый — нет, не то слово: светлый, радостный.

Мама, обрадовавшись, спросила:

— Что, хорошо торговали?

Он подтвердил, что хорошо, и тут рассказал про главный свой барыш. Он ехал на извозчичьих санках и в пестряди уличного движения приметил мужика и бабу, понуро ведущих корову. Своим тихим деревенским ходом они всем мешали на бойкой улице, и на них то и дело кричали то кучера, то городовые, то дворники. Отец присмотрелся внимательно к их поношенным тулупам, к стоптанным валенкам, к понурой деревенской буренке, изредка жалобно мычавшей, остановил извозчика и спросил:

— Хозяин, продавать, что ли, ведешь корову-то?

Это было в голодный год. Мужик со вздохом отвечал, что точно, приводили корову продавать на рынок, да никто не купил, и теперь они с бабой не знают, что делать, вести ли назад корову — кормов нетути, либо продать на бойню — мало дадут, да и скотину жаль: добрая.

Мужик смахнул слезу, а баба всплакнула, не смахиваючи.

— А мне как раз корова нужна. Сколько возьмешь?

Мужик сказал. Отец отсчитал вдвое против сказанного, вручил деньги растерявшемуся крестьянину и, велев извозчику трогать и погонять, крикнул бабе:

— А корову детишкам сведи.

Только и слышал он, уносясь на санках:

— Пошли тебе Господь...

А что пошли, уж ветром отнесло.

Отец умел понимать, больше того, умел чуять чужую нужду.

В детстве и юности он сам испытал большую нужду. Она же ждала его в старости.

Он никогда не рассказывал про свое детство.

Не знаю, по какой причине: из-за разорения ли его отца, Зиновея Осиповича, или по проискам мачехи, или еще по какой другой причине, только свое отрочество и юность он провел не в отцовском доме в Калуге, а в Москве, у богатых купцов-шелковщиков Капцовых, куда был отдан «в мальчики» и где, отслужив положенный срок «мальчиком», вышел в приказчики.

Это была тяжелая школа. Дом Капцовых был известен не только своим строгим порядком, но и своей, говоря старым языком, «жестоковыйностью»: «мальчики» проходили всю школу «заушения» и «наказания», считавшегося законным и необходимым, с точки зрения Диких и Большовых. Почему считалось при этом необходимым и держать этих «мальчиков» и впроголодь и впрохолодь, это необъяснимо, но все это горькое сиротство детской беззащитности и покинутости отцу пришлось испытать полностью. Никакого недовольства этой долей я никогда не слышал из уст отца. Наоборот, не скрывая суровости пройденной им капцовской школы, он признавал, что вынес из нее знание своего дела (шелкового) и приобрел требовательность к себе.

Помню рассказ отца, как ему, уже «молодцу» (приказчику), а не «мальчику», приходилось путешествовать с шелковым капцовским товаром на Нижегородскую ярмарку. Ездили на лошадях по Владимирке, по которой гнали в Сибирь ссыльных и присужденных к каторге. По дороге еще «пошаливали» то там, то тут, по изложинам, по овражкам и лесным чащобам; еще более, кажется, «пошаливали» на постоялых дворах, где приказчиков, ехавших на ярмарку с хозяйским товаром, опаивали сонным снадобьем, подсыпанным в вино, и одурманивали сладкою бабьей ласкою — все для того, чтобы пограбить хозяйский короб или растрясти доверенную хозяевами мошну.

Отец приучил себя смолоду не идти ни на хмельную сонь, ни на бабью ласку. Он никогда с молодых дён до смерти не брал в рот глотка вина, а тем паче водки. В первый брак, человеком уже не самой первой молодости, лет 26, он вступил девственником.

— Едучи в Нижний на ярмарку,— рассказывал он,— я не разлучался с хозяйским добром: в избах никогда не ночевал, а всегда при товаре, в повозке. Да и

ночью-то, бывало, глаза заведу, будто сплю, а у самого ни в одному глазу сна нет. А в первое время, когда в мальчиках подростком служил, за возами с товаром шел пешком.

Ни одной копейки не тратил отец на себя — ни на вино, ни на табак. «Копейки», слагаясь в рубли, шли на приданое сестрицам... Из этих же копеек сложились рубли, на которые он открыл впоследствии, уйдя с честью от Капцовых, свое небольшое шелковое дело.

Из этих же копеек кое-что тратилось им на книги.

Отцовских книг, не считая духовных, было в доме немного, но все они были очень характерны для него. Среди них первое место занимал Ломоносов в толстом кожаном переплете. Это было «Собрание разных сочинений в стихах и прозе» в издании 1803 года — мой первый источник знакомства с одами и похвальными словами великого поэта — «испытателя натуры». Отец питал к нему глубокое уважение — и едва ли не из его уст запомнил я два стиха, выражающих все величие мироздания:

Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна. [8]

Дальше в книгах отца были исторические романы 1830-х годов: «Рославлев» Загоскина [9] в первом издании с гравированными картинками (1839), «Клятва при гробе Господне» Н. А. Полевого [10] (1832). У тетушки Лизаветы Зиновеевны хранилась «Шапка юродивого, или Трилиственник» Р. М. Зотова [11] (1839) — вероятно, также из отцовских книг.

Отец любил историческое чтение. В хороших переплетах стояли в шкафу «Рукописи о Севастопольской обороне», собранные по приказанию наследника (3 тома), и «Два похода на Балканы» кн. Шаховского. Он сам подарил брату «Историю Суворова» Н. Полевого.

Он выписывал две газеты — утром читался «Московский листок» [12] для телеграмм и текущих городских новостей; вечером из города отец привозил «Московские ведомости» [13] — для политики: их отец читал между обедом и вечерним чаем. Он получал их и при Каткове [14], получал и после Каткова и не позволял при себе отзываться о нем неуважительно.

Отец любил русскую военную славу, и имена Суворова, Кутузова, Нахимова, Корнилова и героев недав-

ней турецкой войны — Скобелева, Гурко, Тер-Гукасова (героя Кавказской кампании 1887—1888 года), Лорис-Меликова[15] — были для отца дороги и заветны.

Отец был монархист, я бы сказал, спокойный монархист, совершенно чуждый какого-нибудь вмешательства в действительную политическую жизнь. На небе — Бог, на земле — царь — это для отца было истиной самоочевидной, но ничего «воинствующего» за эту истину в отце не было, так же как математику, убежденному в том, что часть меньше целого, нет надобности «воинствовать» за эту истину. В гостиной у нас висели портреты Александра III и императрицы Марии Федоровны; когда же началось новое царствование, портреты нового царя и царицы не были помещены на стену. Там по-прежнему царил Александр III. Помню искреннюю скорбь отца по случаю смерти Александра III, которого он уважал за его миролюбие и за любовь ко всему русскому.

Как уважаемый член московского купеческого сословия, отец получил приглашение и во дворец на коронацию Николая II. (Я помню царские «билеты» не только для отца и матери, но и билет на шапку кучера для свободного проезда в Кремль.) Старый богатый купец А. Е. Залогин, «посаженый отец» на свадьбе у матери и отца, поздравил отца с «монаршей милостью», но «милостью» этой отец не воспользовался: не любя торжественного шума, он не поехал в Кремль на царский коронационный выход из дворца в Успенский собор. Вечером же в день коронации он возил нас смотреть на иллюминацию Кремля. Мы смотрели ее с Устьинского моста.

Все, что я пишу здесь об отце, об его внутреннем и внешнем облике, глубоко расходится с тем основным обликом «купца», который создан Островским и утвердился в историческом сознании как основной, господствующий, определяющий собою все сословие в его быте и характере. Все комедии Островского написаны не о таких людях, как мой отец, и я почти ничего не мог бы заимствовать оттуда для его характеристики.

Я уже говорил, что отец отроду не пил вина, и тем самым не про него писано все, что говорится (а как часто и много говорится это!) у Островского, Лескова и Горбунова о купеческих попойках; строгий семьянин — не про него писано и все, что говорится у этих писате-

лей о купеческих кутежах в Марьиной роще, у цыган и в Кунавине во время ярмарки.

С покупателями отец хаживал пить чай в трактир к Арсентьичу, но ни в какие рестораны не знал дороги. Наиболее уважаемых и почетных покупателей приглашал к обеду в Плетешки.

Из развлечений отца помню одно — игру в карты, но это была спокойная игра в рамс и преферанс дома с почтенными пожилыми людьми или в таких же семейных домах, игра по маленькой, по самой маленькой, не причинявшая никому никаких беспокойств. Отец отродясь не бывал ни на скачках, ни на бегах и ни копейки не потратил на тотализатор. <...>

Курить он стал уже не в молодых годах, курил немного, дорогие тонкие папиросы «Дюшес» фирмы Комова. Это были скорее папиросы для дам, чем для мужчин. Их же курила мама.

Я не получил от отца никакого денежного наследства, но не получил за то и тяги к вину по наследству; не заразился ни страстью к табаку, ни к картам.

Родительская *власть* чувствовалась в нашем доме, но *произвол* родителя-«самодура» со знаменитым «Чего моя нога хочет!» — в нашем доме полностью отсутствовал.

Не было этого произвола и там, где отец был не родителем, а просто купцом: в «молодцовской», в «городе», в лавке. Там отец также жил и действовал не по Островскому.

Бывать с отцом в оптово-розничной лавке в Богоявленском переулке, между Никольской и Ильинкой, было для меня большим счастьем и, как сейчас я думаю, еще большим счастьем было видеть отца за делом.

Он любил это дело и этой любовью влек меня к нему.

У отца было две лавки в городе. Одна на Ильинке, возле церкви Никола «Большой крест». Эта лавка была розничная, с большим выбором всяких тканей, от ситца до бархата, от ярославского льняного полотна до английского шевиота. Но в эту лавку отец ежедневно наезжал только на полчаса: в ней посажен был за главного старший сын, Николай Николаевич.

Вторая, главная лавка была оптово-розничная в Богоявленском переулке. Там пребывал сам отец.

В ней не было ни ситцу, ни шерстяного товару, в ней были только шелк и парча.

Убранство лавок было одинаково: высокие шкафы со «штуками» материй в обложках из желтого картона и с картонными же ящиками для шалей, платков и полушалков, шелковых и шерсть с шелком; длинные дубовые прилавки. В оптовой лавке была конторка, за которой орудовал с торговыми книгами второй сынок, Александр Николаевич. В дальнем конце обширной лавки было отгорожено небольшое отдельное помещеньице с дубовым столом, за которым сидел сам отец. Все освещалось лампами-молниями. В полутемном помещеньице отца лампа горела весь день. Под лавкой был подвал, где хранился нераспакованный товар и где «мальчики» паковали в лубяные коробы товар, посылаемый в провинцию, и накладывали на него пломбы.

Никаких пестрых и пышных выставок на окнах не было. Еще в розничном магазине на двух полукруглых окнах, выходивших на бойкую Ильинку, были наброcаны модные материи легонькими каскадами и сложены «фунтиками» шелковые платки, но в оптовой лавке и того не было; на окна были протянуты медные прутья, а на них вместо занавесок выцветали на солнце шелковые платки двух-трех сортов: простой знак, что здесь торгуют шелковыми товарами.

Когда отцу говаривали, что нужно бы устроить «выставки» на окнах и эффектнее убрать тканями, пригласить мастеров этого дела, как делают конкуренты, отец неизменно отвечал:

— Покупатель, глядя на окна, должен только знать, чем я торгую, а мой товар сам за себя скажет, хорош он или нет.

У отца были покупатели долголетние, постоянные: раз попав к нему в лавку, они уже постоянно возвращались в нее.

В оптовой лавке, где душой дела был сам отец, все шло лучше, чем в розничной, где отец бывал лишь наездами.

Покупатель, главным образом провинциал, узнав отца, чувствовал какую-то связь с ним. Бывало, заглянет в лавку, увидит, что отца нет, сядет на стул и скажет: «Я подожду хозяина», а то и ничего не скажет, а зайдет в тот час, когда отец в лавке.

Вот как образовывалась эта прочная, вряд ли понятная в наше время связь.

Покупатель — в суконной поддевке, с русой бородой — отцу сразу видно: не москвич и не подмосковный человек, а заезжий издалече денежный человек — долго выбирает товар. От отца ничего не укрылось: товар спрашивает ценный, прочный, рассматривает ткани, как хозяин: деловито, внимательно. Один кусок шелковой материи отложил в сторону: видно, решил взять кому-то в подарок на платье; выбирает на другое платье, но колеблется, что выбрать, и никак не может решить. Приказчик, отпускающий товар, предлагает то, другое, третье — и начинает уже скучать с покупателем.

Отец подходит к прилавку, смотрит на дорогой «фай-франсе», отобранный в сторону, внутренне одобряет выбор: прочность — на четверть века,— и обращается приветливо к покупателю:

— Супруге на платье?

Покупатель, точно обрадовавшись внезапному участию, отирает потный лоб платком.

— Верно, супруге. Только потрафлю ли?

— На что лучше! Товар отличный.

— А вот свояченице никак не подберу: то ли посветлее взять, покрасовитей, то ли потемней.

Отец задает вопрос:

— А свояченица-то девушка?

— В девицах. Капитал у ней особый от бабки завещан.

— А о женихах-то думает ли еще?

— Как сказать? В летах она. А дума-то будто есть.

Отец на минуту задумывается и обращается к приказчику:

— Тогда дайте дамассе из залогинских же, номер такой-то.

Приказчик развертывает штуку шелковой материи — добротной, ценной, тяжелой.

— Вот это подойдет,— говорит отец.— Свояченица-то, верно, хоть в летах, а все еще не на постную стать.

— Вот, вот!

— Вот ты и возьми из серых — в серебре, это немножко повеселее, и хоть с небольшим — немолода

ведь она,— а с цветочком. Думаю, будет в самый раз.

Покупатель, облегченно вздохнув, приказывает отмерить дамассе на платье.

Проходит год. Та же поддевка, с той же бородой, входит в лавку и прямо к отцу, весь сияя от удовольствия:

— Уж как ты, Николай Зиновеевич в прошлый раз всем потрафил: и бабке, и жене, а больше всех — свояченице.

— Уж будто потрафил? — с добродушной усмешкой переспрашивает отец.

— Взяла в руки отрез и говорит: «У первого человека такое понятие обо мне настоящее вижу, даром, что он меня не видал. Не вам, пустоглядам, чета. То меня в печальные травы старушечьи обрядите, то — в крупный горох турецкий, а я и не печальная, и не гороховая: вот я какая!» — И к лицу себе материю ложит.— «Умнеющий,— говорит,— вижу по всему, человек!» — Это про тебя все, Николай Зиновеевич.

И тут же покупатель в поддевке заявляет новую просьбу к отцу:

— Попади ты теперь еще теще во вкус: шаль нужна ей, и чтоб с золотом, и серебро чтоб. Да золото-то чтоб червонное.

<...>

На следующий год покупатель — он был купец-гуртовщик из дальней степной губернии — приехал сам да еще прихватил с собой двух приятелей, и у каждого было по жене, по дочери, по свояченице, по теще, по бабке, а у кого и по прабабке. Они увезли с собой в свой Скотопригоньевск по лубяному коробу дорогих товаров.

Приходит в лавку пожилая женщина с девушкой, обе одеты чистенько, но на небогатую стать. Просят показать материю для подвенечного платья.

— На какую цену? — спрашивает приказчик.

— На такую-то.

Называют очень небольшую сумму.

Все, что ни показывает приказчик, все не нравится.

Отец молча ходит по лавке, заложив руку за спину; сам ни слова, но все видит и все слышит.

Наконец, невеста сквозь слезы готова брать, что не нравится, но сходно по цене. Молчит. Приказчик,

видимо, томится в нерешительности. Тогда подходит к ним отец:

— Что не изволите решиться?

Лицо невесты покрывается краской. Но отец с улыбкой:

— Конечно, семь раз примерь — один отрежь. Покажите им, Иван Степанович, то-то.

Отец называет дорогой сорт, значительно превышающий по цене сумму, назначенную невестой как крайнюю.

Иван Степанович напоминает:

— Да ведь они просили...

Приказчик хочет назвать эту малую сумму. Но отец не дает ему договорить:

— Муар залогинскиий в самый раз им подойдет.

Иван Степанович, стоя на лесенке, подставленной к полкам, еще раз оглядывается на отца, но тот продолжает с твердостью:

— И в ту же цену, в самую ту до копеечки, что они назначили.

Тогда, поняв отца, Иван Степанович уже весело сбрасывает на руки превосходную залогинскую ткань, и муаровая белая волна льется на прилавок, сверкая на солнце белою своею кипенью.

Невеста в восторге не может налюбоваться.

— Прикажете отмерить? — спрашивает Иван Степанович.

— Ах да! — спешит согласиться невеста, а матушка ее не удерживается от упрека приказчику:

— Что же вы нам раньше не показали этой материи?

Но отец поддерживает тотчас и Ивана Степановича:

— Ну, матушка, сказано: конец — делу венец. Вы дочку выдаете...

— Племянницу.

— Ну, племянницу. Так должны знать: сладкий-то пирог небось на конец подадите, а капустный поначалу? Так, что ли?

— Так, батюшка, так.

Тетушка успокоена. Иван Степанович спрашивает невесту, сколько аршин отмерить.

Та называет.

— Сколько? — переспрашивает отец.

— Столько-то.

— Много,— замечает отец.— Это вам портниха столько назначила?

— Портниха.

— Отрежьте столько-то,— велит отец приказчику, ровно на полтора аршина менее назначенного портнихой.

— Да как же...— пробуют возразить невеста с тетушкой.

— Да так же,— отвечает отец,— вы портнихе ничего не говорите, но полтора аршина лишку мы от нее отнимем. <...>

Девушка ничего не поняла из того, что произошло в лавке,— она только безмерно счастлива. А произошло вот что: отец избавил покупательницу от уплаты за «лишек» в материи и подкладке, который пошел бы в комод к запросливой портнихе; эти сбереженные отцом чужие заветные деньги покрыли разницу между ценой залогинского муара и той материи попроще, которая была по средствам покупательнице. Покрыли... не полностью, впрочем, покрыли, недостающее отец доложил из своего кармана.

Тут отец «доложил», но иногда и не докладывал, а обращал дело на тот же счастливый исход. <...>

Однажды отец был в розничном магазине и молча присматривался к тому, как идет там торговля.

Дело было к зиме. Входит женщина — сразу видно, самого среднего достатка, а может быть, и ниже среднего. Входит, чуть ли не сама шеста: вокруг нее — и малыши, и подростки, и «на выданье», и все девочки. Мерекает, мерекает над товаром — как их всех одеть? И то нужно, и другое необходимо. Да ведь все девочки: не просто нужно их одеть, а приодеть, чтобы к лицу было, чтобы по вкусу. А денег муж дал всего ничего. Девочки тянутся к тому, что получше, покрасивее, а значит, и подороже, и между собой чуть не ссорятся. Мерекает, мерекает бедняга, и за ухо щипнет одну девчонку и полуподзатыльник даст другой, а все ничего не выходит: медный грош никак не превращается в золотой империал. В конце концов у нее, по ее собственным словам, «ум за разум зашел».

Отец не выдержал и поспешил на помощь.

— Сударыня!.. (Он давно уже вслушивался в ее пререкания с приказчиком, с детьми, с самой собой и

даже успел запомнить, как зовут ее девочек.) А мой совет вот какой... Аничке вашей (а эта Аничка уже смотрит на отца голубыми глазами с великой надеждой и доверием) — она у вас старшая — вот я бы на фланельке этой остановился: нарядно, и тепленько, и модно(Аничка уже держится обеими руками за фланельку).

Отец продолжает:

— А Катеньке... средняя она у вас? и блондинка, ей вот это бы посоветовал. К лицу будет. (И Катенька удовлетворена: она верит, что «к лицу», а у нее личико такое свежее, милое, весеннее, что все, решительно все будет ей к лицу.)

— А вот для Оленьки (отец задумывается на мгновенье, а черноглазая Оленька глаз с него не сводит — ждет!)... Степа! — обращается отец к молодому приказчику.— Достань-ка... был, помнится, остаточек от палевого куска. Как раз на платьице выйдет. И уступить можно — недомерок! Взрослому мало, а на подростка в самый раз...

Степа, порывшись, достает остаточек, и он оказывается как раз на Олю: вершка больше — не нужно, а меньше — нельзя.

— А на малышей, Степа, покажи им еще из остатков.

Степа приносит целый ворох. Мать живо подобрала, что нужно.

Отец всех одел, и как раз на ту сумму, которая была намечена. Велел для каждой девочки завернуть покупку особо, и с гордостью понесли они каждая свой сверток. Мать не знала, как благодарить отца.

— Я уж к вам теперь всегда.

— Милости просим. <...>

Все это записано по моим собственным впечатлениям и припоминаниям, по воспоминаниям матери и по рассказам бывших приказчиков отца. Я не погрешу, сказав, что за всеми этими рассказами кроется не только мастер, горячо любящий свое дело, но и человек с большим сердцем, чуткий на чужую нужду, скорбь и радость. <...>

Я не помню отца, бранящегося ни в лавке, ни в «молодцовской», ни дома. Неисчерпаемый словарь бранных, оскорбительных и уничижительных слов, величайшими знатоками которого были Дикие и Тит Ти-

тычи, не мог быть неизвестен отцу, выросшему в той самой гостинодворской Москве (амбар Капцовых был в Старом гостином дворе), которую описывал Островский. Но никаких заимствований из этого словаря я не помню в языке отца даже в те минуты, когда он был недоволен приказчиком, раздражен «мальчиками» и «выведен из себя» кем-нибудь из старших сыновей. Для него, человека внутренне религиозного, бранное слово было большим грехом — и разразиться бранью ему было так же нестаточно, как напиться пьяным. Не знавший никаких степеней разгула, он сторонился в деле и в слове от всего, чему не могло быть места в семье. Он был тот же в своей «комнатушке» при лавке, что и у нас в детской,— с тем же добрым (отнюдь не сентиментальным) обхождением, с тем же словарем. <...>

Бывало, отец, беседуя с важным покупателем у себя в «комнатушке», пошлет «мальчика» принести образцы товаров или что-нибудь другое из числа предметов, входивших в «круг ведения» этого Миши или Паши, а мальчик, не вслушавшись хорошенько в наказ отца или поленившись поискать, воротится с пустыми руками и с ленивым вопросцем:

— А где, Николай Зиновеич, это взять?

Отец, оторвавшись с досадой от делового разговора, бросит ему в ответ:

— Сыщи, а я укажу.

<...>

Отец был человек старого закала. Если б при нем кто-нибудь стал нападать на телесные наказания для детей и подростков, он, вероятно, стал бы защищать их необходимость и законность, но на деле он никогда не применял их ни к нам с братом, ни к «мальчикам», которые поступали «на ученье», «в дело», как тогда говорили. «Мальчики» эти превращались в «молодцов», из подростков становились юношами, «молодыми людьми», некоторые уходили от отца к другим хозяевам, женились, но не было случая, когда бы они отходили от отца «с сердцòв» на него, с желанием раз навсегда «отрясти прах от ног» на пороге его дома или лавки. Наоборот, «молодые люди» эти, служившие уже в других «делах», являлись к отцу на именины и по большим праздникам. У некоторых из них отец был посаженым отцом на свадьбе.

Был единственный случай, когда бывший «мальчик» не так хорошо отошел от отца. Это было дело с «Илюшкой». Я еле помню этого краснощекого чернявого упитанного парня — с самоуверенной походкой, щеголя с развязной ухваткой.

Этот парень, выйдя из «мальчиков» в «молодцы», обокрал отцовскую лавку. Он умело, даже со вкусом выбрал то, что наметил красть: тонкие шали и платки из крученого шелка, шедшие в старообрядческие уезды, где молодицы покрывались ими точно так, как при тишайшем царе. Выбрав самый ценный, но и негромоздкий товар, вор крал понемногу, но систематически.

Кража на крупную сумму была обнаружена; вор был пойман с поличным, но заветным желанием отца было не доводить дело до судебного вмешательства. Не знаю, удалось ли ему это (никаких рассказов или слухов о суде над вором я не помню), но имя «Илюшка» стало горьким в его устах. С этим именем отец связывал начало своего разорения.

<...>

Отец очень редко вспоминал о своем отрочестве в «мальчиках» у крутого купца Капцова, но помнил о нем и не желал, чтобы печальная его история повторилась на «мальчиках», живших в Плетешках.

«Бог накажет» — это для отца было не одним громким «душеспасительным словом», остающимся только словом, это было для него сердечным сознанием, неумолкающим вразумлением совести, непрестанно остерегающей от злых действий и недобрых поступков.

Слово «богобоязненный» принадлежит к числу самых выцветших слов, истрепанных от многого и беззаконного употребления. Один старый опытный архиерей, когда при нем хвалили за «богобоязненность» какую-нибудь старуху, на деле истую внучку и преемницу Кабанихи, отзывался:

— А! Знаю! Богоязвенная!

Так много внутреннего лицемерия и жесткой сухости скрывается зачастую под этой «богобоязненностью».

Отец же воистину был *богобоязненный* человек.

Он боялся Бога и в прямом, точном смысле слова. Летом во время грозы он приказывал тщательно закрыть окна и форточки, запрещал зажигать огонь, тушил свечи. При ярких, острых вспышках молнии, при

ударах грома он осенял себя крестным знамением, крестил окна и двери и восклицал благоговейно:

— Свят, свят, свят Господь Саваоф. Исполнь небо и земля славы Твоея!

Он искренно, неколебимо верил, что в грозе, в молнии и громе говорит сам Господь, грозный и всемогущий. И, веря так, был «богобоязненен» пред этим голосом громов, признавая себя ответственным не только за себя, но за дом свой, за чад своих и домочадцев, за грехи их, вольные и невольные.

Но когда отцу случилось однажды плыть на пароходе по Волге и вся публика, гулявшая на палубе, при первом порыве грозы поспешила укрыться в каютах, он один остался в рубке с капитаном, любовался величественной картиной грозы над великой рекой и тихо время от времени восклицал:

— Небеса поведают славу Божию!

<...> Он много раз передавал мне, ребенку, эту картину ночной грозы над Волгой и достиг того, что картина эта захватила мою душу своим величием и красотой.

Но так же по-истинному богобоязнен был отец и в своих внутренних чувствах, и в делах своих, и помышлениях.

Он вовсе не был человеком «жития», который строит жизнь свою как подвиг, упорно «взыскуя града небесного». Отец был человек своего века, своей среды со многими слабостями личными и с недостатками, свойственными этому веку и среде. Но он искренно верил в ожидающий всех Суд Божий и был убежден в том, что избежать сурового приговора на этом суде возможно, только следуя незыблемым законам совести и чести. <...> Бывало, он сидит вечером за книгой или газетой. Стеариновая свеча под зеленым картонным колпачком, прикрепленным к ней бронзовой «держалкой», приятным, мягким светом покрывает страницу книги или лист газеты. Отец давно не читает; он сам не заметил, как перестал читать; он забыл и о том, что я, восьмилетний мальчик, подле него. Еще недавно, благодарно принимая от меня ласку, он, обняв меня и прижав мою голову к своему плечу, шутил про себя и про меня:

— Два друга: колбасник и его супруга!

Но теперь он явно не примечает меня. Он погружен в думу, в невеселую привычную думу, а я и сам стараюсь не вспугнуть эту думу и жмусь у стола так, чтобы не попадать в свет от свечи.

Вся комната во власти теплого тихого сумрака. Но мне видно лицо отца — оно скорбно. Тяжелая усталость лежит на нем. Глаза его, светло-серые, почти голубые, беспомощно грустны. <...> Мне жалко отца до слез, но чем более я его жалею, тем незаметней, тише мне хочется быть. Я словом боюсь вспугнуть сумрак, отделяющий меня от отца и его одиночества.

А у него тихо, еле слышно горестным и покорным вздохом вырывается молитва, лучше всего выражавшая его душу:

— Боже! Милостив будь мне, грешному!

<...> Он устремил взор в угол, где перед образом теплилась лампада, и приметил меня.

— Сережа,— сказал он,— тебе пора спать. Дай я тебя перекрещу.

Он перекрестил меня, я поцеловал у него руку, как всегда при прощанье на ночь и при здравствовании поутру. Но я еще прижался к нему, я еще поцеловал его в лоб, в щеку, в глаза. Он не сказал ни слова, он только поцеловал меня, но я знал, что он понял мое чувство: он не один, я с ним, я люблю его.

Уходя из комнаты и обернувшись в дверях, я увидел, что он провожает меня взором ласковым и благодарным, но таким грустным, грустным. <...>

Судить себя и строго осуждать при этом было для отца делом привычки. Напротив, судить других и тем более осуждать он не любил. Когда при нем осуждали кого-нибудь из знакомых, он старался прекратить разговор:

— Сегодня,— скажет,— в «Ведомостях» интересная статья. Бисмарк-то, оказывается... <...>

А прибегать к внешнему насильственному суду, имеющему власть осуждать и карать, было для него делом несносным.

Бывало, мама скажет ему:

— Не знаю, что делать с такой-то (имя какой-нибудь портнихи или белошвейки): работает плохо, забрала вперед деньги, просит еще, а о тех и не поминает.

Ответ один:

— Оставь, матушка, Бог с ней. Когда-нибудь отдаст.

Старшие сыновья, бывало, пристают к нему:

— Папаша, надо бы подать на такого-то ко взысканию. Не платит по векселю. Протестовать надо вексель.

— А вы напоминали ему, что срок прошел?

— Не один раз.

— Ну, напомните еще.

Сын Александр Николаевич, с характером крутоватым, с досадой отрежет:

— Что тут писать? Тут в суд подавать надо.

А отец ему:

— Что у тебя, Саша, все суд да суд! Он — человек маленький. В суд подать легко, а на человеке пятно.

<...>

Достоинство чести и совести было так присуще отцу, что купеческое сословие назначало его своим представителем туда, где требовались полнейшее нелицеприятие и строгая честность.

Отцу были до крайности тяжелы эти общественные должности или обязанности, но, когда отказ от них был невозможен, он нес их с твердостью, действовал по крайнему разумению сердца.

Не помню, как называлась его обязанность, но он бывал чем-то вроде эксперта в Коммерческом суде при разборе каких-то путаных дел.

Много лет пришлось работать ему в трудном, ответственном и неприятном деле по ликвидации 2-го Московского купеческого общества взаимного кредита. Общество это — попросту сказать, коммерческий банк — проявило сперва необычайно кипучую деятельность, но деятельность эта кончилась тем, что оставила на краю разорения многих людей, доверивших обществу свои небольшие сбережения.

Отец мой никогда не участвовал ни в каких банковских предприятиях и не вел биржевой игры, мало того, он относился к ней совершенно отрицательно. Почитая торговлю делом законным и добрым, он, наоборот, считал все эти кредитно-банковские и биржевые операции делом, от которого следует держаться в стороне.

Это отношение отца к биржевым делам было широ-

ко известно в купеческом мире. Не поручусь, что над отцом не посмеивались за такой старозаветный испуг перед кредитными и биржевыми операциями. Следует вспомнить, что отдача денег «в рост», под проценты, была строго запрещена древнею русской церковью, и отец знал это. Но когда разыгралась история со 2-м Купеческим обществом взаимного кредита, именно отца и именно за эту его полную неприкосновенность к «кредитным операциям» всякого рода выбрали единогласно от купечества в правительственную комиссию (не знаю ее точного названия), которая должна была разобраться в делах общества и по возможности удовлетворить разоренных вкладчиков. Кажется, должность отца называлась «присяжный попечитель над делами такого-то общества».

Дело это тянулось много лет — и отец помог довести его до такого конца, которому радовались все честные люди в торговой Москве.

Когда, оставшись после смерти отца без всяких средств, мать обратилась в купеческую управу с просьбой о помощи, ей готовы были отказать на том основании, что отец ко времени своей кончины перестал уже быть московским первой гильдии купцом, а стал московским мещанином Панкратьевской слободы. Но нашлись в Купеческом обществе люди, которые вспомнили, что этот «мещанин Панкратьевской слободы» с честью вел когда-то запутанное дело по доверию купеческого сословия и помог выпутать из него многих честных людей и спасти им их честь и достояние, а за весь этот многолетний труд не взял ни копейки, отрывая для него время и силы от своего собственного дела. Права отца на добрую память были так бесспорны, что Московское купеческое общество назначило его вдове пенсию в размере 30 рублей в месяц. Это и были те основные заветные гроши, на которые мы жили в пору моего отрочества и первых юношеских лет.

Отец был некрепкого здоровья. Тяжелая житейская школа, пройденная им в отрочестве и юности, не прошла даром. Отец был нервен, мнителен, периодически страдал сильнейшими головными болями. Время от времени он советовался с известным московским невропатологом профессором Сергеем Сергеевичем Корсаковым, которого глубоко уважал за бодрую ласковость и успокоительную приветливость и сам был

уважаем этим человеком кристальной чистоты и сердечного ума.

Борясь с нервозностью, отец каждый день, по совету Корсакова, окачивался водою, и ему растирали спину мохнатою простынею. Лечение это было постоянным, для него следовало иметь душ, но отец не хотел тратить на себя лично ни копейки, и потому лечение это производилось самым примитивным способом: в комнату вносился большой круглый цинковый таз (мы, дети, называли его «папашин барабан») и «мальчик» окачивал отца из обыкновенной садовой лейки.

Следуя предписаниям тогдашних медиков, отец носил на руке, повыше локтя, фонтанель (Fontanell) — нарочитую рану, не заживлявшуюся с особой врачебной целью. Рану эту ежедневно нужно было перевязывать особым бинтом. Лечение фонтанелью давным-давно теперь оставлено врачами.

Я часто видел отца лежащим в спальне с компрессом на голове в стареньком сером суконном халате. Помню его больным, но не помню, чтоб он жаловался на болезнь или предавался любимому занятию людей пожилых — говорить о болезнях.

Тут у него был только один страх — перед сквозняками, коварно наносящими простуду. Из-за этого страха двери и окна даже в летнюю пору находились у нас под строжайшим отцовским контролем.

<...>

Такое большое семейство требовало от отца больших забот и трудов. Он нес эти труды, дававшие семье лишь самый средний достаток, с большим напряжением сил, но и с неменьшим терпением. Горькой его ошибкой было, что он возлагал надежды на свое старшее потомство, ища в нем опору своей старости. Надежды эти развеялись, как прах. Я не знаю, читал ли отец «Короля Лира», но если у Тургенева есть «Степной король Лир» из помещиков, у Златовратского есть «Деревенский король Лир», то отец имел печальное право называться «Королем Лиром» из купцов, с тою только разницей, что был оставлен не одними дочерями, но и сыновьями.

Двое из старших сыновей — первенец Николай Николаевич и второй, Александр, участвовали в деле отца: первый был посажен за главного в розничной лавке, второй был чем-то вроде главного бухгалтера

или управляющего делами в оптовой лавке. Но ни тот ни другой ничем не порадовали отца.

Мечтою отца было не только продавать, но и производить шелковый товар. Он любил шелковые ткани, как художник любит картины.

Полотна, ситцы, шерстяные материи — во всем этом он знал толк, но любил по-настоящему только шелковые ткани. С ними у него была связана своеобразная эстетика одежды. Он сердился на дочерей, когда, выбирая себе на платье, они прельщались одною модностью ткани, не выказывая чуткости к ее эстетике — к стройности и тонкости рисунка, к красоте цвета, к общей гармонии рисунка, цвета и типа материи (муар, фуляр, фай). У отца был прекрасный строгий вкус; следуя ему, он мог одеть дочь так, как и не снилось ни ей самой, ни ее портнихе: с прекрасной простотою и благородной красотою.

Однажды к нам на званый вечер явилась Софья Сергеевна Кедрова, красивая барышня из богатой семьи, жгучая брюнетка. На ней было пышное платье из тяжелой шелковой ткани цвета saumon — изжелта-розовой лососины, модного в начале 1890-х годов. На проймах лифа при бальном декольте, трепетали две маленькие, черные птички, выписанные из Парижа. Выбор материи, цвет сóмон и фасон с парижскими птичками — все принадлежало вкусу знаменитой портнихи m-me Минангуа, у которой шила сама Ермолова, бывшая тогда в зените своей славы. Все восторгались или делали вид, что восторгаются туалетом m-lle Кедровой. Один отец находил, что это туалет для театральной сцены, а не для вечера в семейном доме. «Все кричит на этой барышне: и цвет сóмон кричит еще громче этих птиц».

В то же приблизительно время пресловутая «Madame Sans-Jêne» В. Сарду — кокетливая прачка, пленившая самого Наполеона, прокричала грубым контральто Яворской на сцене театра Корша, и этот крик повторился всюду — на туалетном мыле, на духах, на бонбоньерках с карамелью, на папиросных коробках — всюду появилась «Мадам Сан-Жен». Появилась и шелковая материя «Сан-Жен» необычайной пестроты: основа красная, уток зеленый или основа синяя, уток желтый. Были модны дамские кофточки из этих «двуцветок». Отец находил материю безвкусной,

смеялся над модой и, глядя на дочерей, иронически поздравлял их: «Надели на себя яичницу с луком».

Его тонкому строгому вкусу претило все кричащее, все яростно-яркое, негармоничное в рисунке и цвете.

Он рвался к ткацкому стану, он мог бы создавать сам новые образцы тканей, сочетая их добротность с изяществом и красотою.

А между тем он всю жизнь был только продавцом материй, а не их творцом. Он покупал шелковый товар у подмосковных фабрикантов, не имевших в Москве лавок и магазинов.

Мечтою отца было завести небольшую, на несколько станов, шелкоткацкую при своем доме в Плетешках, но этой мечте он не встретил ни сочувствия, ни поддержки у старших сыновей, лишенных капли его любви к эстетике тканей.

Я был еще совсем маленький, когда отец, сидя на террасе в тихий летний вечер и держа меня на коленях, делился со мной планами: надстроить над нашими кирпичными службами еще один, деревянный этаж и поставить там ткацкие станы.

Я сочувственно внимал этим мечтам, потому что... потому что у меня самого была тогда «лавка» шелковых товаров, где я отпускал покупательницам няне Поле и Лизавете Петровне... файфрансэ и летний фуляр за мною же выпускаемые ассигнации.

И это наивное сочувствие ребенка, игравшего в шелковую лавку, было единственным отзывом, который отец получил в своей семье на свою давнюю мечту.

Но сыновья были плохими помощниками отцу и в *торговле.*

Старший сын, Николай Николаевич, заведовавший розничною лавкою, высокий, с холеными баками, в золотом пенсне, казался барином, случайно зашедшим за прилавок. Покупатели попроще — как раз те самые, которые так любили покупать у отца — так и звали его «барин». Он учился когда-то в коммерческом училище, но не кончил его, он посещал симфонические собрания, умел немножко рисовать, он искал (и не нашел) невесту, пересмотрев их немало, он страдал хроническими мигренями, был капризен и брезглив на пищу, не скрывал ни от кого, что брезгает и лавкою, и всеми этими льнами и шелками, с какими ему поневоле приходилось иметь дело. Впрочем, он и не имел с ними

дела: сидя у окна и греясь у печки, нагреваемой антрацитом, он зябко, только еле-еле соизволял получать деньги с покупателей, нисколько не интересуясь тем, как приказчики ведут дело с покупателями и что творится в лавке. Старые покупатели предпочитали не иметь с ним дела, а старались выждать время, когда в лавке появится сам отец, или попросту перекочевывали из розничной лавки в оптовую. От «барина» веяло ледяным холодом, он сам зяб и еще больше знобил других. Розничная лавка всегда вызывала тревогу отца и в конце концов причинила решающий ущерб всему его делу.

Когда дело отца окончилось, Николай Николаевич, или «братец Коля», как звали мы его, никуда уже не мог поступить на место, он кончил жизнь нахлебником в доме своих сестер.

Второй сын, Александр, сидевший с отцом в оптовой лавке, был совсем в другом роде, но принес отцу огорчения едва ли не горше и больше первого.

Широкоплечий высокий блондин с румяным лицом и черными бровями и усами (они чернели с помощью фиксатуара) — от него веяло здоровьем, от него пышало жаром откровенного жизненного, но вовсе не жизнерадостного самодовольства. Вот его можно было бы ввести в какую-то из комедий Островского второго периода. Он был холост, и никогда я не слышал, чтоб он искал или для него искали невесту, как для «братца Коли».

Учился он в свое время еще меньше, чем его старший брат, и у него не было ни единой книги... <...>

«Братец Коля» выезжал изредка с сестрами в театр и концерты. «Папаша крестный» (Александр Николаевич был крестным отцом моим и моего младшего брата) предпочитал выезжать каждый вечер один и возвращался поздно ночью. <...> «Братец Коля» обычно бывал с отцом молчалив и брезгливо-сух; «папаша крестный» бывал с отцом тоже неговорлив, вероятно, считал это ниже своего достоинства, но, когда он снисходил до слов, он бывал с отцом резок, иногда груб до дерзости; это случалось иной раз при приказчиках, при покупателях. У меня все сердце, помню, вздрогнет от обиды за отца, а отец только тихо, с каким-то горестным изумлением взглянет на сына: «Что ты, Саша!» — и отвернется, занявшись каким-нибудь делом.

Оба братца считали, что отец не имеет понятия, как нужно вести дело, и мнили себя обиженными, что отец не вверяется их коммерческому руководству. В ценность этого руководства плохо верил не только отец, но и все, кто мог наблюдать дело со стороны.

Старый приказчик отца, знаток дела, Николай Алексеевич Галкин посмотрел-посмотрел, да и ушел от отца в другое шелковое дело — Соколиковых. Когда огорченный отец спрашивал его, почему он уходит, проработав с ним столько лет, Галкин отвечал:

— При молодых хозяевах я лишний.

А когда после разорения отца тот же Галкин навестил его, умирающего, старый приказчик признался:

— Я не мог видеть, как сынки губят ваше дело.

Несмотря на участие в деле двух старших сыновей, а вернее сказать, благодаря этому участию отец чувствовал себя одиноким и беспомощным. Старея, он видел, что материальные нужды семьи растут, а дело падает, поддержать же его он уже не мог, не находя в себе новых сил.

Была ранняя Пасха. Второй день Святой совпадал с днем Благовещения, а день Благовещения был днем рождения отца, ему исполнилось 64 года. Итак, в один день соединились три праздника, но для отца это 25 марта было днем величайшего горя.

Я помню плотно притворенные двери из залы и из детской в комнату «молодых людей». Весь вечер — несмотря на тройной праздник — оттуда раздавалось отчетливое сухое щелканье на счетах и доносились громкие голоса, и резче, грубее всех доносился голос Александра Николаевича. Голос отца был еле слышен и тотчас же тонул в шуме других голосов.

Мы с братом упорно спрашивали всех, кого могли, что там происходит, и почему затворены двери, и почему пьют вечерний чай без папаши?

Нам отвечали, что это не наше дело, кто-то буркнул нам, что папаша с братцами и еще с кем надо рассматривают торговые книги.

В Светлый день, когда в церкви поют: «друг друга обымем», в день своего рожденья, отец попросил помощи у старших сыновей. Тут же был зять Жемочкин, богатый фабрикант. Отцу предстояли срочные

важные платежи, от уплаты которых зависело, быть или не быть его делу. Он рассчитывал на помощь старших сыновей, которые, получая большое жалованье от отца, продолжали жить у него в доме на всем готовом, ни единой копейки не внося в дом. Он надеялся на помощь богатых зятьев; помощь эта должна была быть временной, чтобы дать ему возможность обернуться с векселями.

Отец плакал, заклиная Александра Николаевича помочь ему, плакал, прижимая к голове тряпку с компрессом (я видел это в щелку двери из детской). А сын отвечал на это отцу:

— Москва слезам не верит.

Сын был убежден, что у отца есть тайно укрытые запасные средства. «Братец Коля» не повторил этого слова вслед за братом, но и не опроверг его.

Отец был сражен поистине страшным словом сына.

Но он не ответил сыну другим, не менее страшным словом отцовского проклятия. Он только беспомощно махнул рукою и отвернулся, отирая слезы.

Отец нес свое одиночество, свою беду как испытание, хотя и не знал всей ее меры и не представлял всего, что его ждало, как Лир не представлял себе того, чем одарят его Гонерилья и Регана.

Никто отцу не помог из тех, кто мог помочь: ни сыновья, ни зятья, ни очень богатый посаженый отец Залогин.

Отцу пришлось принять жребий конечного разорения, но и его он принял с высоким достоинством.

Он мог спасти дом — большой дом в Плетешках с обширной усадьбой. Для этого стоило ему заблаговременно перевести дом, по дарственной или запродажной записи, на имя жены (моей матери). Так давно уже советовали ему поступить те два-три человека, которые, зная положение дел, искренно жалели его и малолетних его детей. У московских, да и вообще у русских купцов было в обычае переводить недвижимость на имя жены: русский закон, признавая раздельность имуществ мужа и жены, давал на это право. Если бы отец своевременно сделал это, его старость и наше детство были бы избавлены от бедности.

Но, зная, что право и закон на его стороне, отец не считал возможным сделать это: он жил по своему, более строгому закону совести и чести.

Он отдал своим кредиторам все, что имел: две лавки с товарами и ценный дом, и остался без всяких средств к жизни.

Репутация отца как купца была так честна и стояла так высоко, поведение его при прекращении торговли было так безукоризненно, что — редчайший случай в истории московского купечества — у кредиторов не возникло даже мысли объявить отца несостоятельным должником. Старый царский закон знал три вида несостоятельности: «злостное банкротство», «несостоятельность по злой воле» Островский изобразил в комедии «Свои люди — сочтемся!» (первоначально называвшейся «Банкрот»). Это было преступление, караемое тюрьмой. Несостоятельность «по неосторожности» не была преступлением, но бросала тень на «неосторожного», как на плохого дельца, с которым нельзя иметь дело. Несостоятельность «по несчастью» не бросала такой тени, но какой-то оттенок жалости и убожества все-таки приобретал тот, кто был объявлен «несчастным должником», и, во всяком случае, и ему, как и «неосторожному», если не пресекались, то затруднялись пути к коммерческой деятельности.

На отца даже не легло и этого оттенка «несчастности». По делам его не было учреждено «конкурсного управления», как это обычно делалось в те времена. Была учреждена лишь небольшая контора по ликвидации его дела — и отец был сам главным ее работником: кредиторы отлично знали, что он отдаст им последний грош. И он действительно отдал им этот грош: он не остался никому ничего должен.

Но сам 65-летний старик с двумя малолетними детьми был разорен до конца и остался с горьким сознанием, что никто из близких не подал ему руку помощи.

Могли ли сыновья подать ему ее?

Не прошло и года со дня смерти отца, как Александр Николаевич открыл в модном центре торговой Москвы, в Александровском пассаже, свой мануфактурный магазин. Не знаю, совесть или что другое внушило ему мысль открыть магазин не под своей фамилией, а «З. Н. Мясняев и К°». Этот «Мясняев» был не кто иной, как племянник отца, также служивший у него в приказчиках. У него так же, как у Александра Николаевича, не нашлось средств помочь дяде, но

нашлись откуда-то средства открыть большое коммерческое дело. Кстати сказать, дело это не процвело — и оба его хозяина через недолгое время превратились в приказчиков.

<...>

Но случилось то, чего отец не ожидал: старшие дети, жившие с ним в доме, в их числе и будущий содержатель магазина и помощник Плевако,— все до одного и до одной, целым караваном оставили отчий дом, покинув отца раз и навсегда. Он прожил после отъезда детей еще полтора года, но не получил от них за это время никакой помощи.

<...>

Последняя надежда отца была уничтожена. Он мог считать, что весь многолетний труд его воспитания этих дочерей и сыновей короля Лира пропал втуне. Но он не сошел с ума, как Лир. На 66-м году жизни он собирался заново начать свой старый труд — поступить на место в какую-нибудь шелковую фирму.

Но его уже поджидала тяжелая болезнь и смерть.

Свои именины на вешнего Николу он впервые за много лет встречал не в своем доме, не на террасе, выходящей в сад, благоухающий весенним первоцветом вишен и яблонь. Он встречал своего Николу тяжело больной в тесной комнате маленькой квартирки в шумном и пыльном Переведеновском переулке. Он приобщался в этот день Св. Тайн.

Были ли у него в этот день Реганы и Гонерильи с поздравлениями, я не помню; может быть, и были, но Корделии среди них не было. Отца навестил в этот день бывший его приказчик Галкин и подарил ему 25 рублей.

— Спасибо тебе, Николай Алексеевич,— сказал ему отец со слезами и нагнулся к его уху.— Стыдно мне сказать, а я отдал вчера на расход последние 5 рублей. Больше нет ничего.

А через пять дней, 14 мая, отец, пожелавший по какакому-то неясному устремлению перейти в мою комнату, на мою кровать, на моих глазах отдал Богу душу. Мне не забыть его последнего взора тоски и любви, устремленного на меня.

Мне было 12 лет. Это была первая смерть, происшедшая на моих глазах. Но она не устрашила меня. В лице отца и в его последних вздохах была усталость

и покорность человека, дождавшегося заслуженного успокоения.

Я позвал маму. Она, сдерживая себя, наклонилась над отцом.

Было тихо-тихо. А в дверях комнатки моей стояла наша няня Пелагея Сергеевна, по какому-то сердечному предчувствию поспешившая к нам из богадельни. По ее лицу текли слезы.

«Похули Бога и умри» — этого совета, данного многострадальному Иову, отец не принял, хотя не раз слышал его в конце жизни от мнимых сострадателей. Он не похулил ни Бога, наделившего его многими скорбями за долгую жизнь, ни людей, причинивших ему немало тяжких обид и страданий. Он умирал в глубокой вере в правосудие Божие и в уповании на его милосердие.

Кончина отца была мирна и тиха. <...>

Болшево. 7.XII.1941.
Катеринин день

Часть третья

ГИМНАЗИЯ

Глава 1

«РУССКИЕ»

В истории Московской 4-й гимназии преподаватели русского языка и словесности занимают самое почетное место. Достаточно сказать, что в числе них был академик Н. С. Тихонравов[1], переводчик «Фауста» И. Н. Павлов, знаток Пушкина и биограф Жуковского Л. И. Поливанов[2], исследователь русского богатырского эпоса В. Ф. Миллер[3], известный славист П. А. Кулаковский[4]. Какие имена, с каким научным блеском! Но все это было давным-давно, так сказать, в древней и средней истории 4-й гимназии. В мое время о них еле-еле хранилась только поблекшая память, уже совсем выцветшее воспоминание.

В мое время русский язык и словесность преподавали П. Д. Писарев, А. Г. Преображенский, Н. И. Целибеев. Все трое окончили Московский университет и,

стало быть, были слушателями лекций Ф. И. Буслаева[5], Н. С. Тихонравова, С. И. Соловьева[6]. Но как поразному сохранился след университетской науки и ее знаменитых созидателей у наших незнаменитых преподавателей!

Если б кто-нибудь мне сказал, что грузный, толстый Писарев с заплывшей жиром шеей, с тройным загривком слушал когда-то, вместе с В. О. Ключевским, лекции С. М. Соловьева, автора «Истории России с древнейших времен», и был учеником изящнейшего Ф. И. Буслаева, с его великолепным мастерством ученого-художника, я бы этому не поверил.

1

Вот как я встретился с Писаревым.

После каникул вошел я в класс на первый урок русского языка. Не успел я сесть за парту, как прозвенел последний звонок, и в класс вдвинулся, тяжело отдуваясь, переупитанный грузный человек с мясистым загривком, с рыжевато-седым бобриком на голове, с глазами навыкате, с вислыми усами, как у моржа, и щетинистой бородой — наружность точь-в-точь морского царя, каким его изображал А. К. Бедлевич в первой постановке оперы «Садко» в Московской частной опере С. И. Мамонтова[7]. Этот морской царь в форменном сюртуке остановился посреди класса и мановением тяжелой десницы посадил нас на место (мы при его появлении, разумеется, встали). При этом он сделал нам строгое внушение, что мы не умеем вставать как должно, приветствуя входящего в класс преподавателя, и что он намерен нас научить этому важному искусству. Мастодонт (так я назвал про себя этого господина) тотчас же приступил к обучению нас науке правильного вставания. Он объяснил нам, что для этого необходимо всем враз положить руки на парту, затем, так же враз, приподнять бесшумно крышку парты и тогда уже моментально подняться в рост и застыть неподвижно. При команде же: «Сядьте!» — нужно проделать все эти движения в обратном порядке. Грузный толстяк скомандовал басом: «Встаньте!»

Мы встали по новым правилам, но, увы, вызвали резкое замечание: «Разве так встают? Все вразброд! Шумят, топают, как стадо ослов!»

Мастодонт громко, наподобие трубного звука, высморкался от негодования и скомандовал: «Сядьте!»

И затем он неутомимо продолжал отдавать команду: «Встаньте — сядьте! Встаньте — сядьте! Встаньте — сядьте!» А мы как Ваньки-встаньки беспрекословно вставали и садились, вставали и садились. <...>

Таков был первый урок русского языка, преподанный мне Петром Дмитриевичем Писаревым. К счастью, этот первый урок оказался для меня и последним. Выяснилось, что я попал не в то отделение моего класса, куда был зачислен. С каким удовольствием я вернулся в параллельное отделение, где преподавал Александр Григорьевич Преображенский. <...>

2

Александр Григорьевич Преображенский ни в чем не был похож на своего коллегу по преподаванию русского языка.

Когда они из учительской шли в классы, Писарев казался Михаилом Иванычем Топтыгиным, одетым в форменный сюртук: он тяжело и коряво вытоптывал по коридору своими огромными ступнями. Преображенский же, худой, высокий, тонкий, с небольшой головкой, в золотых очках, не в длиннополом сюртуке, а в узком фраке,— полностью оправдывал свое прозвище Запятая.

Да, если искоса поставленную длинную, тонкую запятую, начинающуюся с небольшой точки, заставить двигаться,— вот это и будет длинный худой Преображенский с маленькой головкой.

Идя в класс, он нес под мышкой классный журнал, а обеими руками подносил к носу безукоризненно белый носовой платок. Торопился ли он... покончить на ходу все дела с носом до начала урока или это была простая привычка, но в такой именно позе Преображенский всегда входил в класс — и столь же неизменно — носовой платок этот во время урока пребывал у него не в кармане, а на учительском столике. Платок был нужен Преображенскому во время урока для того, чтобы протирать золотые очки. У него было плохое зрение, и в старых годах он стал совсем подслеповат. В ответ на шум в классе он снимал очки, протирал их платком, дабы лучше разглядеть виновника шума, но

когда очки вновь водворялись на его носу, то шум прекращался и в классе уже царила вожделенная тишина.

Другим предметом, с которым Преображенский не расставался в классе, был ключ; от какого замка или от какого стола, шкафа, двери был этот знаменитый ключ, оставалось для нас неведомо,— но ключ этот был для Преображенского необходимым оружием преподавания русской и церковнославянской грамматики.

Когда Запятая находил, что в классе слишком шумно, он постукивал этим большим ключом о край стола: ключ на время водворял тишину. Преображенский продолжал объяснение урока.

Это занятие Преображенский любил. Он учил русскому языку по собственной, составленной им грамматике, которая была научнее и живее, но зато и труднее тогдашних грамматик, давно и далеко отставших от современного языкознания. Эта грамматика Преображенского, в особенности синтаксис, исправлялась и пополнялась для новых изданий тут же, на уроках, в классе. Бывало, Преображенский крикнет:

— Слушай примечание! — и постучит ключом.

В примечании он подробно развивает какой-нибудь этимологический казус, доискиваясь происхождения мудреного слова, перекочевавшего еще в древние времена откуда-то в русский язык. Устное «примечание» это длилось пять, десять, пятнадцать минут. Те немногие из учеников, в коих билась жилка филолога, слушали Преображенского с большим интересом. Он увлекался этим этимологическим казусом или синтаксическим вопросом, приводил примеры, параллели из других славянских языков, был оживлен. Но для большинства учеников это было скучно, они увлекались в это время занятиями, отнюдь не филологическими: играли в перышки, метали друг в друга бумажными стрелами и т. д. Поднимался шум, и Преображенскому приходилось прекращать его неизбежным ключом. То же повторялось при разборе статей из хрестоматии Л. И. Поливанова, которую Преображенский справедливо предпочитал всем другим. Какой-нибудь ученик, беззаботный насчет грамматики, разбирая отрывок из классической прозы С. Т. Аксакова, которую Преображенский признавал образцовой, ляпнет, бывало, жестокую ахинею по поводу глагольной формы или син-

таксического оборота,— Преображенский даже вздрогнет, как от внезапного удара, и вскрикнет на весь класс:

— Зарезал, разбойник, зарезал! — и тут же примется объяснять этому краснощекому разбойнику всю великость его ошибки и безмерность его незнания. Объяснения приведут к цитатам из образцовых писателей, к тонкому анализу данной этимологической и синтаксической формы, и опять Преображенский уйдет так далеко в филологические пределы и высоты, что вновь наткнется на новый шум в классе и вновь застучит ключом.

Но тем, кто был не лишен любви к родному языку, он давал много.

Я лично многим обязан А. Г. Преображенскому.

Помню, кто-то заявил ему:

— Александр Григорьевич, я не смог приготовить урок...

Преображенский сразу прервал его:

— Где ты смок? Разве шел дождь? Надо просто сказать: я не мог приготовить урока.

Это на всю жизнь осталось для меня уроком из эстетической фонетики, о которой так часто забывают даже писатели.

Максим Горький укорял писателей в этом забвении благозвучий родной речи. Однажды он спросил молодого писателя:

— Откуда вы набрались столько вшей?

На удивленное молчание писателя Горький пояснил:

— У вас только и слышишь: «Се-вши, пое-вши, наде-вши...» Все вши, да вши, вши! Когда же вы избавитесь от этих «вшей»? Пишите просто: «надев, уехав».

Преображенский понял бы здесь Горького и посочувствовал бы ему.

Однажды кто-то в сочинении употребил страдательный оборот речи вроде: «Он был обучен», или: «Он был обучаем». Преображенский сказал ученику:

— Ломоносов занимался, одновременно с профессором Рихманом, опытами по громовому электричеству. Однажды, во время грозы, в комнату, где Рихман производил опыт, влетела молния и убила Рихмана. Как это сказать в трех словах?

— Рихман убит громом,— отвечал ученик.

— Нет,— с живостью возразил Преображенский.— Нет! Ломоносов написал об этом Шувалову так: «Рихмана громом убило». И русский слуга Рихмана точно так сказал об этом Ломоносову: «Профессора громом зашибло». Вот как надо сказать по-русски!

Я на всю жизнь благодарен Преображенскому за этот пример из Ломоносова, которого он так любил и отлично знал (он редактировал одно из изданий его сочинений). Преображенский навсегда привил мне любовь к этим безличным оборотам, столь свойственным нашему чудесному языку.

Однажды мне пришлось в наши дни задать такую задачу молодым поэтам:

— Представьте себе, что вы засветло пришли к приятелю в гости, засиделись, заговорились, а когда вышли на крыльцо, то увидали, что уже ночь и все небо в звездах. Выразить все это в одном слове.

Ни от кого не услышал я этого одного слова. Все многословно отвечали: «На небе высыпали звезды», или: «Небо было усеяно звездами», или: «Все небо было в звездах». Никто не сказал просто и прекрасно: «Вызвездило».

Я невольно поблагодарил в душе Преображенского за его столь памятное: «Рихмана громом убило». Оно ввело меня навсегда в одну из тех живых тайн русской речи, которые для многих раскрываются с таким трудом, а для иных и вовсе не раскрываются никогда.

Преображенский любил читать в классе Карамзина и давать для разбора отрывки из «Писем русского путешественника» и из «Истории Государства Российского». Карамзинские периоды трудны для разбора, но с каким удовольствием можно было следить за железной логикой, за словесным золотом этих трудных периодов, когда отдашься вполне их изящному течению. Тут Преображенский был на своем месте. Он любил и тонко понимал словесное зодчество Карамзина и умел передать эту свою любовь кое-кому из нас.

В прекрасный пример художественного зодчества и ваяния речи Преображенский ставил (и приводил в своем синтаксисе) период Карамзина: «Здоровье, столь мало уважаемое в юных летах, делается в зрелости истинным благом; самое чувство жизни бывает гораздо милее тогда, когда уже пролетела ее быстрая

половина: так остатки ясных осенних дней располагают нас живее чувствовать прелесть натуры; думая, что скоро все увянет, боимся пропустить минуту наслаждения» *. Преображенский восторгался здесь отчетливостью в выражении мысли и строгой логичностью в ее развитии и построении и живою поэтичностью чувства, включенного в эту строгую форму речи. Перечитывая теперь этот карамзинский период в синтаксисе Преображенского, соглашаюсь во всем этом со старым своим учителем, а конец карамзинского периода приводит на память стихи Пушкина:

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас,
Так иногда разлуки час
Живее самого свиданья.

Стихи эти также живут в душе со времен далекого отрочества, едва ли не с уроков Преображенского. <...>

Описание Куликовской битвы — первой решительной победы над монголами — Преображенский знал наизусть.

До сих пор помню, как он декламирует оттуда: «Инде россияне теснили моголов, инде моголы россиян...» Это старинное «инде» чуть-чуть было смешновато, но оно придавало какую-то торжественность речи, соответствующую величию описываемого события,— и Преображенский давал понять, что мы здесь беднее Карамзина, что наш современный язык растерял многое из того, чем были богаты старые писатели — Ломоносов, Державин, Карамзин.

Отрывки из хрестоматии, примеры грамматики, даже статьи для диктантов, взятые из разных писателей для учебных целей, превращались иной раз у Преображенского в куски из драгоценной словесной ткани: он мог ими наслаждаться даже и тогда, когда они должны были служить для самых будничных педагогических целей — для усвоения учениками правил русского правописания.

---

* Русская грамматика. Часть 2. Синтаксис. Составил А. Преображенский, преподаватель Московской 4-й гимназии. Изд. 18-е. М., 1907. С. 108.

«Я ехал с охоты, вечером, один, на беговых дрожках. До дому было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно подвигалась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные, серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом, тени быстро густели».

Это начало рассказа Тургенева «Бирюк».

Я помню его наизусть не потому, что Преображенский заставлял нас учить наизусть этот отрывок из «Записок охотника», а потому, что он часто диктовал нам его. Диктовать по нескольку раз один и тот же отрывок — это педагогическая бессмыслица, но в Преображенском любитель Тургенева торжествовал тут над педагогом: намереваясь продиктовать нам что-нибудь и наткнувшись на «Бирюка», он отдавался прелести тургеневского рассказа и принимался диктовать нам его чуть не в пятый раз.

В четвертом классе Преображенский преподавал грамматику древнего церковнославянского языка по своему руководству. Для большинства учеников изучение «юсов» [8] и «аористов» [9] было делом очень скучным и весьма нелегким. Но я пришел в гимназию уже со знанием нового церковнославянского языка, и мне было любопытно вникать в старые формы языка, читая с Преображенским отрывки из Остромирова Евангелия [10]. Мертвые «юсы» оживали в величавые живые звуки. Преображенский умел здесь, в этих древнейших страницах, найти целые золотые россыпи поэзии и словесной красоты. «Морю велику сущу дыхающу» — превосходный пример употребления «дательного самостоятельного» (dativus absolutus) в Остромировом Евангелии — но и какой чудесный образ бури заключен в этом обороте!

Я благодарен старому учителю, что он не утаил от нас этот поэтический образ за строго разобранной формой дательного самостоятельного. Некоторые ученики Преображенского через десятилетия вспоминали чтение с ним «Слова о полку Игореве». Старик увлекался и молодел при этом. С подлинным увлечением декламировал он: «О, Русская земля! За шеломенем еси!».

«Слово о полку Игореве» читалось в подлиннике — и в подлиннике же запоминались отдельные места наизусть: вступление о Бояне, плач Ярославны. Лучшее свидетельство, что Преображенский умел захватить учащихся поэтической силой «Слова».

Когда ученикам приходилось отвечать ему заданные баллады Жуковского, отрывки из поэм Пушкина, стихотворения Лермонтова, он, задумавшись, вслушивался в стихи, и, точно зачарованный, нет-нет да и повторит вслух тот или иной стих или отрывок, словно любуясь им, как самоцветным камнем или алмазом чистейшей воды.

Одним из любимейших писателей Александра Григорьевича был Крылов. Он восхищался его чисто народной речью и часто приводил в образец владения русской речью отрывки из басен Крылова или стыдил, усовещал крыловскими речениями лентяев и бездельников.

Любопытно, что в его синтаксисе отрывки из Крылова постоянно приводятся в образец живого построения речи,— и рядом с ними приводятся народные пословицы, как бы в свидетельство, что речь дедушки Крылова и речь народа — одна и та же могучая и простая речь, богатая и смелая.

Преображенский любил читать в классе, вслух, басни Крылова, и, слушая эти басни в «ответах» учеников, он добивался чтения «с чувством, с толком, с расстановкой». Он подметил мою любовь к такому чтению и в первом же классе выбрал меня читать, вместе с другим товарищем, басню «Добрая лисица» на литературно-музыкальном вечере учащихся, устраиваемом перед Рождеством. Это было мое первое — и успешное — выступление перед публикой. Сколько раз, в течение жизни, мне привелось затем читать басни Крылова и выступать с лекциями о нем, играть и ставить его «Трутня», выпускать печатные работы о дедушке Крылове! И всегда это было как в детстве, радостно и успешно.

Преображенский позволял мне кое-что, чего не позволялось в гимназии.

Однажды он задал домашнее сочинение на тему что-то вроде «Воскресный день» или «Праздничный день». Вместо обычного сухо-казенного «описания» с предварительным «планом» я подал ему в тетрадке

для «письменных работ» народную сценку при выходе из церкви в праздничный день, взятую с натуры, из приволжской деревни Ярославской губернии, где я провел лето. Я не читал еще тогда ни «Народных сцен» И. Ф. Горбунова[11], ни деревенских сцен Николая Успенского[12], но меня поразила живость и яркость тех прибауток, праздничных словечек, метких прозвищ, которыми парни и девки осыпали друг друга при выходе из церкви. Тут же пофыркиванье лошадок, веселый звон с колокольни, степенное здравствование бородатого кума с дородной кумой в золотистом полушалке, заунывное пенье слепых с шустрым мальчонкой-поводырем. И тут же надо всем щедрое солнце, летучие светлые облака. А вдали — широкая Волга.

Я попытался выразить все это так, как виделось, слышалось это нам, на Волге летом, без казенных прописей и благонамеренных рассуждений.

Думалось и так и сяк — и примет, и не примет Преображенский такое вольное сочинение.

Но он принял, похвалил и, помнится, сказал что-то ободряющее по поводу моего «литературного опыта», но тут же легонько предостерег от заимствования из повседневной речи слишком натуральных выражений и словечек.

В этом он, конечно, был прав.

И в дальнейшем он не избегал беседовать со мной в классе на темы литературные и филологические, но и не искал этих бесед.

Дивлюсь теперь, что ни я, ни кто другой никогда не слышали от нашего учителя об его знаменитом ученике — об академике А. А. Шахматове[13], окончившем 4-ю нашу гимназию в 1883 году, с серебряной медалью. А ведь еще со школьной скамьи этот ученик Преображенского участвовал в ученых диспутах в университете и вызвал одобрение такого ученого, как И. В. Ягич. Почему Преображенский ни разу не погордился *таким* учеником, ни разу не поставил его в пример нам, кто так плохо внимал «примечаниям» своего учителя? До сих пор не могу этого понять. Или, может быть, Преображенскому пришлось бы тут воздавать честь «ученику от побежденного учителя», а он этого не хотел?

Любопытно, что в предисловии к своему синтаксису он ссылается как на пособия на труды Буслаева, Во-

стокова[14], Потебни[15], Корша[16], Соболевского — того самого А. И. Соболевского[17], который был уязвлен на своем магистерском диспуте замечаниями гимназиста Шахматова — и не ссылается на труды академика А. А. Шахматова. Не может же быть, что Преображенский ими не пользовался!

Приходится покаяться.

Гимназисты умели пользоваться склонностью Преображенского к науке о русском языке. Иной раз принесут в класс какую-нибудь редкую книгу, как бы невзначай подложат ее к нему на столик. Александр Григорьевич развернет книгу, задержится на одной, другой странице — и сама собой завяжется беседа об этой книге, ее авторе, издателе, глядишь, на это и уйдет минут пятнадцать из урока. Помню, я раз подсунул ему так рукопись «Сон Богородицы» — он долго говорил об апокрифах. В другой раз кто-нибудь из товарищей шепнет мне перед уроком: «Заговори подольше Запятую». Почти никто не готовил ему проклятые эти «юсы». Исполняя просьбу товарищей, заводишь, бывало, с Запятой некий филологический разговор, стремясь вызвать его на как можно более длинные «примечания», или закинешь удочку вопросом по истолкованию темного места в каком-нибудь памятнике древней словесности — и бедный Александр Григорьевич отдается «слов течению», полагая, что утоляет словесную жажду своего ученика, любителя российской словесности.

Но вдруг остановится, призадумается — и ударит ключом о стол:

— Впрочем, это к уроку не относится. Пожалуйте сюда, господин Меркулов...

А это как раз один из тех, кто просил вовлечь Запятую в ученый разговор.

Но иной раз Преображенский так увлечется изъяснением какой-нибудь этимологической тонкости, что проговорит, незаметно для себя до самого звонка. Заберет он со стола свой платок, свой ключ, журнал — под мышку — и высокий, худой зашагает по коридору — точь-в-точь как движущаяся запятая.

Какое отношение было у учеников, да и не у одних учеников, пожалуй, к Преображенскому? Я бы сказал: почтительно-ироническое: «почтенный человек и знающий, слов нет, но какой-то немножко не всерьез».

И он сам, кажется, знал об этом отношении. Вспоминается такой случай, очень редкий в летописях гимназии. Преображенский заболел и долго не появлялся на уроках. Носились слухи, что его заменят другим преподавателем.

Я подговорил двух-трех товарищей навестить больного Александра Григорьевича. В квартире было чинно, чисто, просторно. Но доносились детские голоса. Мы удивились, что у него, очень уж пожилого человека, такие маленькие дети.

Александр Григорьевич вышел к нам, как всегда в форменном фраке, и явно удивился нашему приходу. Мы сказали ему, что беспокоимся его отсутствием, пришли навестить его, узнать о состоянии его здоровья и пожелать ему скорого выздоровления.

Он слегка улыбнулся на нашу довольно нескладную речь, поблагодарил и сказал, что чувствует себя лучше и надеется скоро начать уроки.

Мне показалось, что он не без изумления смотрел на состав нашей делегации; что пришел к нему я — это его не удивило: я был завзятый словесник, но два других члена делегации были из разряда шалунов и забияк, многошумных на его уроках, а ни один из «первых учеников» и «паинек», которым он ставил пятерки, в делегации не принял участия.

Он высморкался от удивления, еще раз поблагодарил нас и проводил в переднюю.

Я думаю, в большинстве ученических воспоминаний моих сверстников и людей из позднейших поколений Преображенский так и остался «Запятою» с ключом и носовым платком, чудаком-словесником с бесконечными «примечаниями», изнемогающим порою в борьбе с шалунами и бездельниками. Не без иронии, как я сказал, относились к Преображенскому и некоторые из преподавателей: дожить до седых волос, прослужить чуть не полвека в Министерстве народного просвещения — и навсегда остаться на скромном положении преподавателя русского языка (правда, с титулом «заслуженного преподавателя»),— в то время как его, гораздо более молодые, сослуживцы занимают посты инспекторов и директоров гимназий. Ну не чудак ли этот почтенный Александр Григорьевич!

А между тем эта «Запятая», вооруженная ключом и носовым платком, этот застарелый «учитель русского

языка», замкнувшийся в стенах Московской 4-й гимназии, был замечательный *ученый,* энтузиаст и подвижник науки.

Никому из нас это не приходило в голову, и должен покаяться: я узнал об этом много лет спустя после смерти А. Г. Преображенского.

В те годы, когда Запятая воевал ключом с шумливыми гимназистами и тщетно призывал «разбойников» слушать «примечания», он упорно, усердно, укромно работал над «Этимологическим словарем русского языка», трудом всей его жизни.

В 1907—1916 годах Преображенский издал *четырнадцать* выпусков своего словаря, доведя его до слова «строптивъ». Этот труд был выполнен *единолично* Преображенским и издан на его собственные средства (учительское жалованье и гонорар за учебные руководства) без какой-либо субсидии со стороны правительства, ученых обществ или меценатов [18].

«Капитальное издание, предпринятое автором на свои средства, близилось к концу. Но судьба решила иначе: начавшаяся весною 1917 года революция и сопровождавшие ее затруднения и дороговизна печатания, а затем и смерть самого автора словаря не дали нам возможности увидеть окончание этого ценного издания» *.

Так пишет академик Б. М. Ляпунов [19] о труде Преображенского в академическом ученом журнале. За первые четыре выпуска своего «Словаря» Преображенский получил от Академии наук премию им. Ахматова. Премия была присуждена скромному учителю гимназии на основании отзыва сурового академика-филолога Ф. Ф. Фортунатова [20]. Указывая на некоторые недостатки первых выпусков «Словаря» Преображенского, знаменитый ученый-лингвист признал, что выпуски труда учителя гимназии «могут служить полезным пособием и для лингвиста», и более того: «Труд Преображенского представляет собою в русской литературе первый опыт лингвистического пособия такого рода по изучению русского языка» **.

---

* *Ляпунов Б. М.* Этимологический словарь русского языка А. Г. Преображенского // Известия отделения русского языка и словесности Академии наук СССР. 1925. Т. XXX. С. 1. (Далее ссылки: Ляпунов Б. М. и соответствующая страница этой статьи.)

** Сборник отчетов о премиях и наградах за 1911 г. С. 2287.

<...>

В «Словарь» Преображенским был вложен огромный добросовестнейший труд, о котором с уважением отзывался лингвист-академик:

«Автор принимал во внимание не только все крупные труды по сравнительной фонетике, морфологии и этимологии, но и небольшие этимологические заметки, рассеянные в лингвистических журналах. Что это действительно все изучено автором, видно при чтении объяснений происхождения каждого слова. И понятно, что материал, привлекаемый автором, рос по мере выхода в свет каждого отдельного выпуска словаря. Кроме лингвистических журналов, на которые находим ссылки в словаре, здесь цитируются сокращенно около сотни словарей и лингвистических диссертаций. Но автор пользовался, конечно, не только словарями и работами сравнительно этимологического характера: он исчерпал много словарей и общего характера и этнографических сочинений, а также и самостоятельно изучал древне-церковно-славянские памятники, как видно из привлеченных им к исследованию известных изданий Ассеманова [21] и Остромирова Евангелий, Саввиной книги [22], Супрасльской рукописи [23]... Мы, благодаря осторожности и добросовестности автора, привлекавшего все доступные ему пособия по изучению общерусского языка, получаем в труде Преображенского весьма ценную книгу, восполняющую крупный пробел в русской лингвистической литературе» *.

Отзыв академика Ляпунова свидетельствует прежде всего об обширных познаниях Преображенского в сравнительном языкознании. Чего стоит один перечень славянских языков, вплоть до кашубского и верхне- и нижнелужицкого, словарные записи которых Преображенский привлекал к уяснению этимологий русских слов, чего стоит указание академика на то, что скромный «учитель словесности» обильно и полноправно пользовался богатством «различных индоевропейских языков»! У гимназического преподавателя, как удостоверяет рецензент-академик после строгой проверки цитат, было в работе «около сотни словарей и лингвистических диссертаций», и сверх того — он «принимал во внимание не только все крупные труды по сравнитель-

* Ляпунов Б. М. С. 9—10.

ной фонетике, морфологии и этимологии, но и небольшие этимологические заметки, рассеянные в лингвистических журналах». При крайней обширности изученного материала не только лингвистических словарей и работ «он исчерпал много словарей общего характера и этнографических сочинений». Академик дает и еще иное, может быть, более ценное указание: учитель гимназии «самостоятельно изучал древне-церковно-славянские памятники».

В результате этого многолетнего упорного труда Преображенский, по свидетельству академиков-рецензентов, создал «весьма ценную книгу, восполняющую крупный пробел в русской лингвистической литературе» (Ляпунов); его «Этимологический словарь русского языка» «представляет собою в русской литературе первый опыт лингвистического пособия такого рода по изучению русского языка» (Фортунатов).

С гордостью за своего учителя читал и с изумлением и гордостью за него перечитываю эти отзывы академиков-лингвистов.

Из статей Б. М. Ляпунова видно, что давным-давно существовали уже этимологические словари французского, немецкого, английского языков, существовали уже этимологические словари некоторых славянских языков: польского, чешского,— и только русский язык был обделен этимологическим словарем.

Чья забота и труд должны были вызвать к жизни этот словарь? Забота об этом должна была быть на совести Отделения русского языка и словесности Академии наук, русских академиков-лингвистов. Но ни Отделение русского языка в целом не взялось за этот труд, ни один из академиков (в их числе те же Фортунатов и Ляпунов, давшие отзывы о словаре Преображенского) не приняли на себя этот труд, труд, который, по справедливым словам Ляпунова, «не по силам одному человеку». Труд этот взял на себя, из любви к русскому языку и науке языкознания, простой «преподаватель русского языка» и довел его почти до конца с несомненным успехом. Словарь Преображенского — через тридцать лет после смерти составителя и через сорок с лишком лет после появления его первого выпуска — и поныне является *единственным* «Этимологическим словарем русского языка».

И если вспомнить, что труду этому скромный учи-

тель гимназии мог отдавать лишь часть досуга от своей обязательной утомительной работы: давание уроков, исправление «сочинений» гимназистов, отправление обязанностей «классного наставника», если вспомнить, что приобретение книг для этого труда, печатание его учитель гимназии производил без копейки пособия от государства, от той же Академии наук, исключительно на свое «жалованье» и доход от учебников, то поневоле вновь и вновь исполняешься чувством гордости за своего учителя русского языка и словесности!

Но к этому чувству гордости за него неизбежно прибавляется и чувство стыда за себя, за своих товарищей, за гимназию в целом: как отравляли мы гимназические часы этого ученого, утаившегося за мундиром преподавателя, своим поведением на его уроках, своими проказами (правда, не злоумышленными) и как равнодушны и холодны были к нему его коллеги по гимназии.

Только теперь, больше чем через полвека, я постиг, что пресловутые «примечания» Преображенского, вызывавшие скуку у одних, порождавшие шутовство у других, были отражениями его заветной думы о родословии русских слов, были продолжением его работы над научной этимологией русского языка. Многие из этих «примечаний», плохо внимаемых мальчиками-гимназистами, вошли в его словарь, вызвав добрый отзыв академиков.

А. Г. Преображенский в конце жизни носил редкое звание «заслуженного преподавателя»; он заслужил его сорокалетним преподавательским трудом в 4-й гимназии, своими учебными руководствами по русскому и древнеславянскому языку (всего десять названий). Но в истории науки о русском языке Преображенский заслужил почетное место своим бескорыстным трудом, свидетельствующим о его любви к языку великого родного народа: своим «Этимологическим словарем» преподаватель гимназии проделал работу, которая была под силу и которую по долгу перед наукой надлежало сделать академикам.

Но все это ясно мне теперь. В те далекие годы ни я, ни мои товарищи не имели понятия, что наш Преображенский работает над «Этимологическим словарем» и вряд ли имели об этом понятие и его коллеги в казенных фраках: для огромного большинства из нас он

был — Запятая, для них — чудаковатый преподаватель без авторитета «у мальчишек» и глуховатый член педагогического совета. Он не водил особой дружбы ни с кем из преподавателей. Ученого, работающего над словарем, он умел заточить в тесные пределы своего кабинета в своей квартире; и умел отгородить высокой стеною от «преподавателя», дающего уроки, и «классного наставника», возящегося с баловниками и выставляющего ученикам баллы за поведение, внимание и прилежание. <...>

14.II.1953.

В СВОЕМ УГЛУ

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Пушкин

ТЕТРАДЬ I

1924 г. Август — Октябрь
Челябинск

У Горького в его «Заметках» о Льве Толстом записано (М. Горький. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Петербург, 1919 г.):

«Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя иногда — любуется им, но едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — Его девки засмеют».

«Едва ли любит!» — вот самые умные, самые верные слова об отношении Толстого к Христу. Просто: не любит. Они мне напомнили — на первый взгляд, невероятный рассказ — «Аввы»[1] о том же, но Авва *действительно* близко знал Толстого (был им уважаем: см. письма к нему Толстого) и всегда говорил правду. Теперь Горький мне подтвердил — своим умным, налетным «нюхом» — то, что рассказывал Авва, а рассказывал он вот что:

Однажды — еще в *80-х годах,* еще при толстовстве Аввы — он сидел с Толстым и кем-то еще, и перебирали великих основателей религии — обычное толстовское поминанье: Будда, Конфуций, Лао-Си, Сократ и т. д. и т. д.— кто-то сказал, что вот, мол, хорошо было бы увидеть их живых, и спросил у Толстого: кого бы он желал увидеть из них. Толстой назвал кого-то, но, к удивлению Аввы, не Христа. Авва спросил тогда:

— А Христа разве Вы не желали бы увидеть, Лев Николаевич?

Л. Н. отвечал резко и твердо:

— Ну уж нет. Признаюсь, не желал бы с ним встретиться. Пренеприятный был господин.

Сказанное было так неожиданно и жутко, что все замолчали с неловкостью. Слова Л. Н. Авва запомнил точно, именно потому, что они резко, ножом, навсегда резанули его по сердцу.

Читаю в первый раз «Сокровище смиренных»[2] Метерлинка — книгу, которую двенадцать лет тому назад я купил, по желанию Пети, и не прочел, которую он собирался издать.

«Горе нам,— восклицает Карлейль,— если мы носим в себе лишь то, что можем выразить и показать». Петя носил в себе «то, что *не* можем выразить и показать». Приходит, бывало, открытка от него; почерк у него был похож на Мишин — детский, мягкий, ласковый какой-то, а сам Петя[3] — три сажени росту, высокий, стройный, статный красавец, с черною бородой, с прекрасными черными, густыми-густыми волосами; на нем высокие сапоги, всегда рыжие, серые от пыли, без лоску и чистки; какие-то штаны, какая-то куртка — не скажешь — *какие;* вся одежда — только, чтоб прикрыть тело; только самое нужное и, значит, самое бедное. Приходит открытка от него: «Прости, брат Сережа... это *внешнее* писанье»; «эта внешняя бумага»; и ласка, и нежность, и духовные лучи от открытки, от штемпеля, от «на этой стороне пишется только адрес».

А придет сам — молчалив; будто всегда слышит призыв Ал[ександра] Добр[олюбова]: «помолчим, брат!» Молчанье его было то самое, о котором пишет Метерлинк,— конечно, не совершенное, начальное, но начальное к молчанью озаренных и ведающих тайну ведающего молчания. Я не знал души нежней, души духовно целомудренней, чем эта тихая душа в большом телесно крепком человеке,— но эта нежность, эта тонкая духовность всегда была оволокнута скорбью. Он и умер от этой скорби. Его любимая книга — «Из книги невидимой» — была символом его жизни: в нем самом открылся иной лист из книги невидимой с ее прекрасною тайной. Чтобы прочесть этот лист, чтобы ничто не мешало читать, он бросил Технологический институт в Киеве, бросил родную семью, крупную зажиточность, граничущую с богатством, бросился к Толстому в Ясную Поляну — и я читал сам письмо к

нему Толстого, которое начиналось словами: «Как завидую я Вам, дорогой К.»,— завидовал Толстой тому чистому, прекрасному рвению к чтению страницы из книги невидимой, раскрывшейся в душе, а может быть, завидовал — и свежести, чистоте, красоте самой этой раскрывшейся страницы «из книги невидимой» — в сравнении с покрытой пылью страницей яснополянской проповеди, столько лет не переворачиваемой в душе самого Толстого... Но в Ясной Поляне — и при помощи самого Толстого — плохо читалась прекрасная страница. Он ушел в другое место: полюбил «старшего брата»; избавлялся от собственности, давал деньги ленивому, кто только его просил: на книги, на издательства — толстовцам, православным, антропософам — всем, кто только верил в «книгу невидимую», и учился ее читать в себе — все равно, сначала,— по Лао-Си, по Христу, по Штейнеру[4],— а потом, чем дальше, тем больше душа его влеклась к одному способу чтения, влеклась, но не суждено ему было остановиться на этом способе. Он погиб — сошел с ума и убил себя в ужасную войну — не в силах приучить себя к чтению «книги *зла*» вместо книги невидимой (он служил санитаром в санитарном поезде). Помню, как он просил сказать Оптиной, чтоб он молился о нем, что он любит Оптину.

Не встречал я души прямее и определеннее по религиозному своему существу. Ткань души его была религиозна. Эта ткань не приняла форму никакой одежды (религия, как кристаллизованное нечто), и в этом было его личное горе. Но не это вспоминается мне теперь. Есть люди и их многое множество — это <...> это был [неразборчиво]. В этом была его красота; тут была его сила, правда, нежность. Все это неточно и отвлеченно; души человеческие пахнут — и запахи эти очень редко бывают, какими хочет ум, чтоб души пахли: вот, например, Толстой был «специалист» по «религиям» и исписал томы (скучные томы), так хотел его ум, но душа его не пахла религиозным; ее запах не был тонкий аромат религиозного; ни одно его слово, ни одна его книга религиозно не пахучи. От этого он так много «выражал себя» (целые десятки томов о религии) — на горе себе, выразил, кажется, себя всего: и это все оказалось религиозным ничем — ни самой маленькой струйки религиозного аромата. А вот грешный

и байронический Лермонтов — весь религиозен: религиозный запах его прекрасен. От Пети только самый нечуткий не слышал этого запаха. Его душа, его молчание, его редкие слова, его открытки, его грустная улыбка — все было религиозно-пахуче. Я обеднел с его смертью. Давно, давно ни от кого не слышу такого запаха. А тяжко и скучно без него. У меня же его нет.

Горький был «на Китеж-озере» [5].

И ничего о том, что там видел и слышал, не написал. Не по нутру ему, как и Короленке. Удивительно! Там, на Светлояре, религиозно-светло и ярко — так ярко и явно светло, что отрицать этого *прямо* нельзя,— и приходится зажмурить глаза: ничего не виделде. Короленко и Горький оба и зажмурили. Удивительно!

У Василия Васильевича [6] (Розанова.— *Е. Л.*) было любимое «гневное» слово — *дуролом.* Напр[имер], критики-семинаристы были для него — дуроломы. Некто, рассуждающий «о политической экономии как о поэзии и о поэзии как о политической экономии» [7] (выражение Пушкина),— был для него дуролом.

Произносил он это слово гневно, выпукло, сочно и так убедительно, точно прикреплял к тому, о ком оно было, завершительный и липко-невозвратный «аминь». Это было *его* слово. Оно все было окрашено *им,* и его как-то, в свою очередь, окрашивало. Я часто вспоминаю это слово. Оно многое объясняет. Думаешь, думаешь иногда, так и этак судишь, теорию строишь, объясняешь себе, ищешь, создаешь объяснения... а все просто: просто дуролом действует. Дуролом говорит. Дуролом сочиняет.

Мы шли с Вас. Васил. в Музей Александра III [8] смотреть египетский зал. Было устроено так, что мы будем смотреть одни с хранителем А. А. С., и сколько нам захочется. С В. В-чем ... смотреть египетский зал — мумии, талисманы, фаюмские портреты! Я предвкушал не удовольствие даже, а потрясение.

Мы шли мимо храма Христа Спасителя. Купол его ослепительно блестел. Мы о чем-то говорили. Не о

Египте. Так о чем-то. И вдруг В. В. остановился, схватил меня за рукав пальто и, строго и возмущенно глядя в лицо, сказал:

— Какую глупость написал Достоевский в «Легенде об инквизиторе», будто католичество тем погрешило, что ввело в религию авторитет и тайну! К-а-к-а-я же религия возможна без а-в-т-ори-тета и та-й-н-ы? — тоном величайшего изумления, точно у него что-то «ахнуло» в душе на глупость Достоевского, произнес В. В.

И пошел в Музей через дорогу. Перед этим ни слова не было говорено ни о религии, ни об авторитете, ни о Достоевском. У него шла своя мысль непрекращающеюся волною, и никто никогда не знал, о чем бьет сейчас в нем эта волна. Он и сам, я думаю, часто этого не знал, а всплеск этой волны — иногда высоко! высоко! дерзостно высоко! неудержимо силен и резок! — мы видели в виде такого вот его неожиданнейшего замечания, изумительного письма, в виде парадоксальнейшей статьи, неожиданнейшего утверждения, совершенно противоположного тому, которое были вправе ждать от него.

В Музее В. В. внимательно, но как-то скользяще, без зацепки, осмотрел египетский зал. Почти ничего не говорил. Было только приметно величайшее уважение, с которым он смотрел на дела рук, духа и культуры древних египтян, которые всегда были ему так дороги и любы. А в зале средневековой христианской Европы, где все в Музее — имитация и копии, перед дверями готического собора, пред христианскими надгробиями он вдруг заговорил горячо, живо, с зацепкой — о христианском искусстве, о том, что оно выше всего, о том, что все скучно и мертво перед ним. Это было так неожиданно, что я выпучил глаза на него — и даже не мог, от изумления, поддержать этот интереснейший для меня разговор. Что же его «зацепило?» *Что*-то, чего мы никогда не узнаем. Через его душу и мысль лились волны.

Однажды я его спросил в Посаде, узнав, что он только что вернулся из Москвы, зачем он туда ездил, когда ездить туда трудно, недешево, тòлкотно и неприятно.

— Я ездил поцеловать руку у Владимира Ивановича Герье. Ведь он мой профессор.

И это была правда. Я знаю, что он поцеловал руку у Герье[9].

О Буслаеве он не мог говорить без волнения и благодарного умиления.

Он был старый студент.

Он был дитя.

Однажды в холодную осень 1918 г. вижу, он в плаще, худой, старый тащится по грязи по базарной площади Посада. В обеих руках у него банки.

— Что это вы несете, В. В.?

— Я спасен,— был ответ.— Купил «Магги» на зиму для всего семейства. Будем сыты.

Обе банки были с кубиками сушеного бульона «Магги».

Я с ужасом глядел на него. Он истратил на бульон все деньги, а «Магги» был никуда не годен — и вдобавок подделкой.

Удивительна, удивительна судьба его!

Его критика старой школы («Сумерки просвещения»[10]) выше, строже, основательнее и ядовитее всего, что написано против нашей старой средней школы, а написаны горы. И никто не знал ее. В 1905—1912 гг. я находился в самом жерле, пекле нападений на эту школу («Свободное воспитание»[11] с Крупской в числе сотрудников; я был секретарь редакции), мы подбирали отовсюду даже крохи (отдельные мысли в 2—3 строчки) — лишь бы они были *против* этой школы, даже у Меньшикова отрыли что-то против нее, у какого-то Эскироса, Себастьяна Фора, а никто даже не упоминал, даже не слыхал о «Сумерках просвещения». Т. е. заглавие-то я знал, но совершенно удивился бы, если б кто-нибудь сказал: «А посмотрите, нет ли там чего? Вы собираете перец — нет ли там?»

А никто и не сказал.

Цветок папоротника, для всех невидимый, мало того: невидимый — несуществующий.

Н. К. Метнер [12] с величайшею серьезностью уверял, что слово «пессимизм» происходит от слова «пес», а женский род от «пес» будет «психея».

Нюхая цветок, он воскликнул однажды: «какая прелесть!» — и указал мне (в Михайловском). Я понюхал и заметил, что цветок пахнет медом. «Это потому,— пресерьезно заметил он мне на ушко,— что пчелка туда накакала». (1915 г.)

Любимейшими прозаиками его были Андерсен и Лесков. Я читывал ему в Михайловском главы из своего «Лескова» в обмен на его «Сказки», сыгранные им самим на рояле. Он смеялся по-детски светлым, частым, звонким смехом, с широчайшей улыбкой и ласкающими глазами.

Вот в ком живо нечто от Пушкина!

Римского-Корсакова я видел один раз: на первом представлении его «Сервильи» в Солодовниковском театре, в Москве, в 1904 г. Он вышел на вызовы. Это был высокий, костлявый, жилистый старик с седым бобриком, в черном сюртуке, с умным, даже умнейшим лицом — лицом профессора. А еще он был както похож... на кого? Через 5 лет я узнал, на кого: на звездочета из его оп[еры] «Золотой петушок». Несокрушимая энергия и воля были на его лице — не казалось, что он скоро умрет.

Его шумно принимали.

Но опера прошла не больше 5—6 раз.

Маленький Скрябин (8 лет) на вопрос: «Кого ты играешь? Баха?» — отвечал, качая отрицательно головой: «Нет, я играю только Скрябина».

Слышал от Пастернаков [13], близко с ним знакомых.

Блока я видел однажды. В изд-ве «Мусагет» [14], на ритме. Он сел у письменного стола и промолчал весь вечер. Лицо его было маска — казалась она какою-то известковою, тяжелою, навсегда прилипшею к лицу. Маска была красна и корява. Над нею был кудрявящийся вал волос. Я никогда ни у кого не видал такого

застывшего, омаскировавшегося, картонного лица. Было нестерпимо жутко на него смотреть.

Глядя на этот личной картон, пропитанный клеем и белилами и смазанный румянами, я понял, почему он написал «Балаганчик». Даже снег — буйный, чистый — дал ему только *«снежную маску»*. А за маской, должно быть, больно, всегда больно, неизлечимо больно. Она ведь не дает жить и дышать живому телу лица.

«Вячеслав Ивàнов». Никто не говорил никогда: «Иванòв». А если б сказать...

[Из письма А. И. Южину-Сумбатову[15] по случаю 100-летия Малого театра]

Прежде всего я благодарю за то, что, благодаря Малому театру я знаю, что такое «великий и могучий русский язык» (Тургенев). В сотнях и тысячах театров играют пьесы на русском языке, но только в Малом театре в Москве можно было узнать, что такое великий русский язык. <...> Из уст Садовских, Ленского, Ермоловой и иных из стаи славных — лилась живая и живая и животворящая струя «живого великорусского языка», во всем его блеске, силе и великой правде. <...> Вспоминаю 3-й акт «Горя от ума» с Федотовой, Садовской, Лешковской, Ленским, Никулиной, Музилем, Южиным. Пишут книги о «Грибоедовской Москве». А я утверждаю, что я *был* в Грибоедовской Москве: я был в Малом театре на 3-м акте «Горя от ума». Может быть, придумают какие-нибудь новые способы играть «Горе от ума», но я думаю, что Грибоедовская Москва умерла дважды: тогда, когда она умерла в истории, и тогда, когда умерла графиня Бабушка — великая О. О. Садовская и сошли со сцены Малого театра другие ее представители. <...>

...Я сознаю, что *дважды* были *созданы* «Горе от ума», «Ревизор», «Воевода», «Не в свои сани не садись» — тогда, когда их написали Грибоедов, Гоголь, Островский, и тогда, когда их сыграли Щепкин, Садовские, Ленский, Ермолова. Для меня навсегда бесспорно, что не только Грибоедов, но и О. О. Садовская — творцы графини-бабушки, и пусть возражают

мне — я не считаю, что творчество О. Садовской меньше творчества Грибоедова, а иногда... иногда, я опять не боюсь это сказать, мне представляется, что второе творчество — творчество Малого театра бывало и выше... <...>

Но кроме Грибоедова, Гоголя, Островского есть еще Шекспир, Мольер, Шиллер.

Не Н. Полевой, не Кронеберг [16] и Жуковский были их переводчиками для России, а Мочалов, Щепкин, Ермолова. <...>

Какая удивительная участь была дана Малому театру: усваивать русской культуре, русской литературе, русской жизни великих писателей всего мира! Его деятели не только великие актеры, они великие *авторы,* великие переводчики. Честь и слава Малому театру!

ТЕТРАДЬ II

1924 год. Челябинск.
Октябрь — Ноябрь

Слышу, что жива еще Вера Фигнер [1]. Ей, верно, под 70, если не все 70. В 1904 г.— *до* революции 1905 г.— весть о ее освобождении из Шлиссельбурга была встречена с необыкновенной радостью. Она была героиня для многих. Ее имя было овеяно каким-то особым обаянием.

В 1906 г., в эпоху борьбы против смертной казни, я подобрал стихи Гюго, Верхарна, Уайльда, Полонского и др. против смертной казни — и книжечка была издана «Посредником».

Однажды призывает меня Ив. Ив. Горбунов-Посадов [2] и подает мне бандероль с голубой тоненькой книжечкой.

— Это вам,— и по лицу его вижу, что он знает, что это мне будет приятно.

Книжечка была только что изданные «Стихотворения В. Фигнер». На титульном листе была надпись такому-то от Веры Фигнер. Почерк четкий, немного прописный. Я был в восторге. Оказывается, Горбунов послал ей книжечку со стихами против смертной казни и, должно быть, назвал мое имя (на книжечке были только инициалы С. Д.). Не от стихов я был в восторге, а

от того, что книжка от самой В. Фигнер и эта надпись *ее* надпись.

При книжке был фототипический портрет — вероятно, начала 80-х гг.— она была снята в некрасивом платье моды того времени, слишком обтянутом; фототипия была какая-то слишком унылая. Я посмотрел на портрет, но не он меня сам по себе интересовал. У меня было чувство (приблизительно) такое, что будто я встретился с самою В. Фигнер. *Ее* книжка! *Ее* надпись! Многие завидовали мне.

Рассматривая пристальнее портрет, я заметил, что под ним, сбоку, есть тоже надпись, тем же почерком, но карандашом. Надписано было под портретом: «Портрет не похож».

Надпись эта меня, помню, очень удивила. Я ее не понял. Не похож! Но разве я просил — смел просить! — схожего портрета? Я был счастлив и тем, что у меня была книжка *В. Фигнер* с ее надписью. Я был не родственник, не давний знакомец ее, которого предупреждают о сходстве потому, что он видел ее раньше другой и может изумиться и огорчиться, не встречая знакомых черт. И кто же видал и мог видеть — *до* этого портрета — какие бы то ни было портреты человека, просидевшего 20 лет в одиночном заключении? И что значит — не похож? Так говорят обыкновенно про портреты, которые *хуже* оригинала. Но к чему это *тут? Тут* — не у кого-нибудь, а у Веры Фигнер? — героини, мученицы? (Так и звали их тогда «шлиссельбургские мученики».) Я теперь ясно выражаю свои недоумения перед карандашной надписью; тогда я, вероятно, не мог бы так ясно их выразить, но *все они* — не сомневаюсь — *были* под моим удивлением перед этой надписью. Так я ничего тогда и не объяснил себе, почему была сделана эта надпись, обращенная к совершенно неизвестному ей лицу, не имевшему никакой возможности ни знать В. Фигнер лично, ни видеть ее какой-нибудь другой портрет.

Прошло два года. В 1908 г. я познакомился с художником Л. О. Пастернаком, известным портретистом. Говоря с ним как-то о лицах, с которых пишут обыкновенно портреты, я выразил ему удивление, почему портретисты, изображая писателей, ученых, артистов, частных лиц, не напишут портреты старых, знаменитых революционеров?

Л. О. живо на это отозвался:

— Да вот я хотел было написать портрет Веры Фигнер, да ничего не вышло.

— Почему же?

— Представьте, я приехал к ней и предложил ей написать ее портрет, выразив весь восторг и уважение перед ее личностью. Но вижу, что она хоть и соглашается, да что-то не очень-то охотно. И вдруг задает мне вопрос: «А что, мой портрет будет выставлен на выставке?» Я очень удивился этому вопросу и ответил: «Да, конечно».

Это ведь и была моя цель — ознакомить публику с чертами ее лица. И вдруг она мне решительно отказала: «В таком случае я не согласна позировать». Я развел руками и уехал, ничего не понимая.

А я в ту же минуту вспомнил свою голубую книжечку, фототипический портрет и карандашную надпись под ним: «не похож». Мне портрет был прислан с надписью «не похож», Пастернаку запрещалось выставлять портрет на выставке, где его видели бы все... Одно и то же. Мысль была и там и тут одна и та же: «Я — не этот портрет, напечатанный или написанный: тот плох, потому что не похож на меня, на ту, какой я была в 1882—83 гг. (предполагается, очень красивую лицом), этот — будущий — нехорош потому, что будет похож на меня ту, какая я в 1908 г., на старуху, и я не хочу, чтоб тот портрет вы (некий Дурылин) считали за похожий, и чтоб этот портрет — похожий — все видели на выставке».

Я рассказал Пастернаку о своей книжечке и о своей разгадке, блеснувшей у меня при его рассказе. Он рассмеялся и сказал:

— Я тоже подумал тогда, когда она мне отказала: не хочет, чтоб видели, что она стала стара и некрасива. В пословице: homo sum и т. д. — тут надо переиначить homo на femina, и выйдет — верно: «Я женщина, и ничто женское мне не чуждо».

Шлиссельбург и 20 лет заключения не уничтожили в женщине женщины.

Вечно женское.

Есть сказочные русские писатели: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, К. Леонтьев (восточные повести).

В существование их в России едва веришь. Смотришь на липкую октябрьскую черноземную грязь, на старые заборы, на завалившиеся избы в деревнях, на каланчи и бывшие «присутственные места» в городах, на заплеванные хмурые полустанки, из каждой щели которых глядит белесая вошь, слышишь «мать твою» во все предметы видимого и невидимого мира, видишь широкие скулы, курносые обрубки, сенные бороды, бесцветные глаза, задыхаешься от густого, тягучего, черно-серого облака махорки, плывущего над Россией, обоняешь отвратительный рвотный запах самогона — и понимаешь, откуда взялись Салтыков-Щедрин, Помяловский, Глеб Успенский, Горький, Некрасов (и их критические alter ego — Чернышевские, Добролюбовы, Скабичевские[3] и проч.); *должны* были быть! *не могли* не быть! *неизбежны* — при махорке, «матери твоей», воши в «присутственных местах», завалившихся избушках, широких, землистых скулах! Критики, говорят, объясняют писателей. Вот также махорка, вошь, самогон, сенная борода и прочее *объясняют* Глеба Успенского, Горького и проч., и проч. до Ив. Вольнова[4] и «Деревни» Бунина (а также и всех критиков, их объясняющих). Вполне понятно. Но Пушкин, но Лермонтов, но Тютчев, но Фет, но К. Леонтьев — откуда? Кем и чем объяснить «Каменного гостя», «Ангела», «Silentium», «Измучен жизнью», «Пембе»?

Сказка. Чудесная сказка, снившаяся России.

Сказочные писатели.

Василий Васильевич влезал в топящийся камин с ногами, с руками, с головой, с трясущейся сивой бороденкой. Делалось страшно: вот-вот загорится бороденка, и весь он, сухонькой, пахнущий махоркой, сгорит... А он, ежась от нестерпимого холода, заливаемый летейскими волнами, лез дальше и дальше в огонь.

— В. В., вы сгорите!

Приходилось хватать его за сюртучок, за что попало, тащить из огня...

— Безумно люблю камин! — отзывался он, подаваясь назад, с удивлением, что его тащат оттуда.

Это слово «безумно» у него не сходило с языка: «безумно хочется тепла!», «безумно хочу сметаны!», «безумно хочу щуки!» — и ничего этого не было, не

было, не было. Были ужасные, разваливающиеся, колючие лепешки из жмыха.

Это было зимою 1918 г.

В нем была величавая, детская, изумительная и изумляющая наивность.

Даже не детская: он был иногда наивен, как березовый листок, развернувшийся под солнцем на ветке, и, вероятно, думающий, что солнце светит для него и будет всегда светить.

Ветку с листком сорвали. Она очутилась в венике. Веник употребили, на что обыкновенно употребляют веник.

А листок все ждал, что на него по-прежнему будет светить солнце.

Он ждал солнца. Он был наивен.

А может быть, он был мудр?

Пушкин писал ни для кого. «Цель поэзии — поэзия» [5],— говорил он. Он писал, потому что писал. В «Капитанской дочке» чувствуется, что — «никто» — все, для *кого* пишет Пушкин; *ни по чьему* адресу — там Пушкин не говорит ни слова; от этого — никто там не мешает Гриневу быть Гриневым, Пугачеву — Пугачевым, и Екатерине II — Екатериной II. Уже у Толстого в «Войне и мире» кроме Кутузовых, стариков Болконских и др. есть еще «некто», постоянно присутствующий и мешающий, он есть в Пьере, есть в Андрее: это сам Толстой, рассуждающий, поучающий, спорящий (с Пьером, в сцене с Лаврушкой). Но *большие романы* Тургенева, очерки Щедрина, рассказы Успенского, комедии Островского — все писаны для «кого-то», и этот «кто-то» постоянно в них присутствует, авторы постоянно имеют его в виду, считаются с ним, обращаются к нему, говорят в его сторону. И потому «Капитанская дочка» не устарела ни в чем и на йоту: мало сказать, не устарела — это произведение *будущего,* всегда *будущего,* ибо в настоящем нет ничего, что бы на 1 000 000 в[ерст] приближалось к нему — а Салтыков (у кого больше всего виден «кто-то», для кого все пишется) устарел совершенно, вдоль и поперек, Успенский — также, а Тургенев — в значительной ча-

сти: самые «ни для кого» писанные в свое время рассказы его — «Рассказ отца Алексея», «Собака» — устарели меньше всего.

Писать ни для кого — это, собственно, и значит быть художником, а писать решительно ни для кого, как писаны «Капитанская дочка», «Медный всадник», «Каменный гость» — значит быть великим художником.

Толстой никогда так не писал. Это он и сам знал. На мой вопрос, какое произведение русской прозы он считает лучшим, он решительно ответил:

— «Тамань» Лермонтова!

Трудно назвать другое, более «ни для кого» писанное, «никого» не имеющее в виду, «ни для чего» рассказанное произведение, чем «Тамань».

— Там нет ни одной строки, ни одной буквы лишней,— добавлял Толстой. (1909 г.)

Я бы добавил теперь:

— И ни одной строки и ни одной буквы, для «чего-нибудь» и «кому-нибудь» написанной.

Десятка полтора лет на все лады из всего Брюсова (а были уже все лучшие книги — «Urbi et orbi» [6]) цитировали одно только стихотворение:

О, закрой свои бледные ноги!

А теперь сразу оказалось, что это был поэт-гражданин, и «всегда так думал»...

Писемского не читают.

Почему? Неизвестно.

Помяловского читают.

Почему? Тоже неизвестно.

История русской литературы тем и интересна, что в ней нет никакой истории — смены, последовательности, внутренней закономерности. *Литературные* силы в ней не действуют, не действуют изнутри ее, из литературы, оттуда ничто не творит *истории* литературы. Вся «история» ее создается извне; двигатели и силы этой «истории» ничего не имеют общего с литературой. Судите: до 90-х годов (Черняев [7]) у нас не было *ни одной* критической статьи о «Капитанской дочке».

Почему? Потому что эти «двигатели и силы» нисколько за 60 лет не были заинтересованы в том, чтобы была эта статья или исследование о лучшем русском романе. Почему не были заинтересованы? Потому, что «судить о литературе, как о политической экономии» (выражение Пушкина), «Капитанская дочка» не давала решительно никакого повода. И «история русской литературы» — так называемая «история» — прекрасно обходилась без «Капитанской дочки» с ее скромными героями, а о Рудине, Базарове, о «темном царстве», о всяких «лучах» в этом царстве и об ожидаемом «настоящем дне» было уже (к 90-м гг.) полным-полно и в «критиках», и в «историях литературы». Еще бы: там можно было «судить о литературе, как о политической экономии».

У Скабичевского, судя по портрету, были удивительно большие, толстые, пухлые руки с широкими пальцами. Сгребет такими руками: толстый роман в 5 частях с эпилогом — ну, еще может удержать *такими* пальцами, кусок крупный, роман — целый кирпич, удержит и напишет критику; ну а попадись в эти ручищи с этими пальчищами какое-нибудь стихотворение Фета или Тютчева (тоненький листочек!) — пальцы с такою толстой кожей, с таким тугим сгибом даже не ощутят, что в руку что-то попало, и тоненький листочек («Silentium», «Шепот, робкое дыханье») проскользнет меж нечувствительных пальцев так, что они и не ощутят, что было у них что-то. Скабичевский скажет: Тютчев? Фет? Нет, таких не знаю. Их, вероятно, и нет. У меня ничего в пальцах не удержалось. Вот «Что делать?» знаю: почтенная книга, увесистая, я держал в руках. Помню. Вот и расскажу вам о нем.

И рассказывал в течение 40 лет.

А Тютчева и Фета просто «не было».

Не было для Скабичевского, не было и для «русской интеллигенции». Очень тонки. Не удерживаются в мозолистых руках.

1 ноября. Снег. «Сиянье *голубых* снегов»[8].

Какое счастье, что ни цвет, ни холод, ни форма снега не зависят от человека! Иначе немедленно пере-



Отец Николай Зиновьевич Дурылин с первой женой. Конец 80-х гг.

«Достоинство чести и совести было так присуще отцу, что купеческое сословие назначало его своим представителем туда, где требовались полнейшее нелицеприятие и строгая честность»



Мать Анастасия Васильевна Дурылина с детьми. На коленях Гоша (Георгий Николаевич). Около лошадки — Сережа. За ним — одна из сводных сестер. 1890—1891.

«В матери был всегдашний такт — этот ум сердца, помогавший ей быть дружной и приятной самым различным людям; был настоящий многогранный ум...»

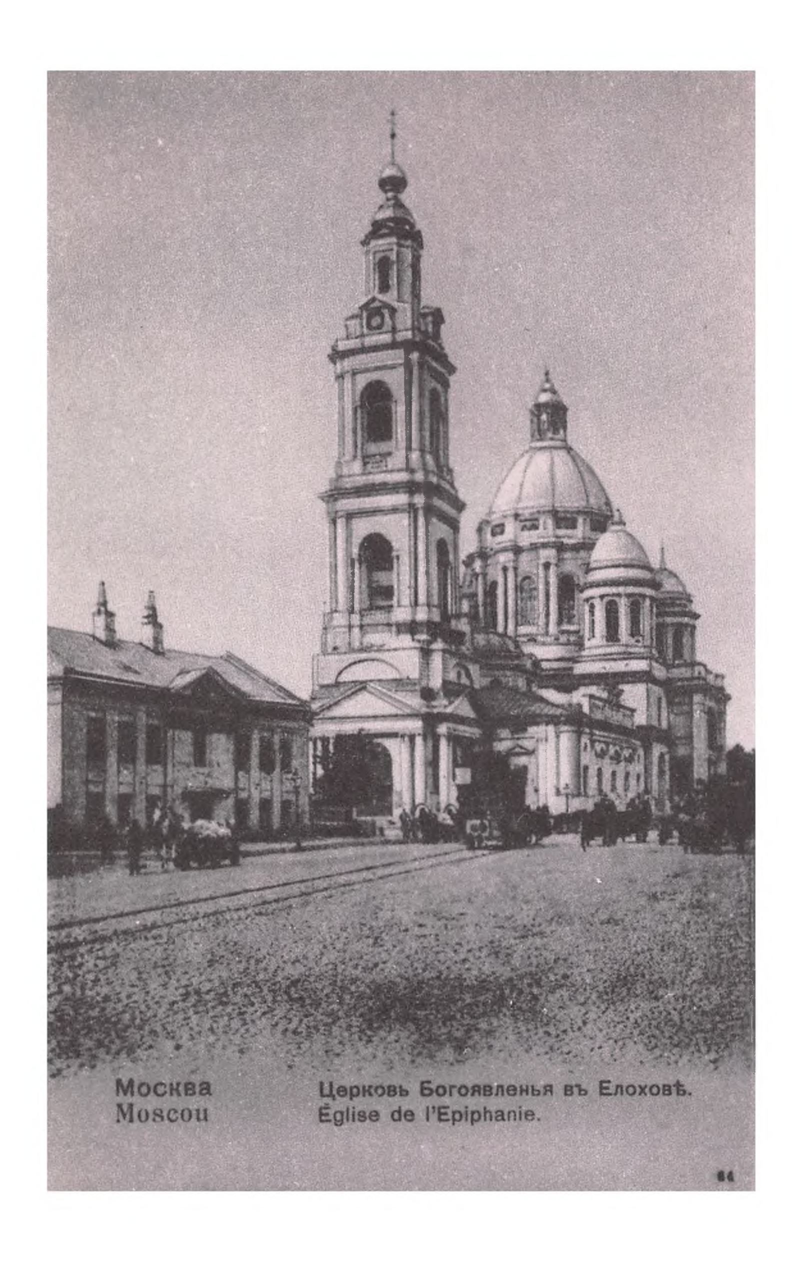
Сережа Дурылин (8 лет). 1894





Дурылины Сережа (справа, 6 лет) и Гоша.

«...По вечерам — в ранние часы до приезда отца из города — мы у мамы обедали, а затем она нам читала. Только тут она была наша, только наша»



«У Богоявления, что в Елохове»! ...Церковь, где нас крестили, венчали и отпевали,— этим указывалась живая связь нашей местности с историческими судьбами Москвы». *(Фото из собрания Я. М. Белицкого.)*



Вид Никольской от Богоявленского переулка к Владимирским воротам. (Фотография из альбома Н. А. Найденова. 1888.)

Покровка, 22. Здание 4-й гимназии





С. Н. Дурылин. 1902

«В 17—18 лет я был атеист. Мама никогда со мной не спорила на религиозные темы.— Я — свое, она — свое»

С. Н. Дурылин, брат Георгий и Всеволод Владимирович Разевиг, друг юности. Сергиев Посад. 1919





С. Н. Булгаков (слева), В. Ф. Эрн и Н. А. Бердяев. 1910-е гг.

В путешествии по Северу. На переднем плане С. Н. Дурылин. Справа за сидящим мужчиной Игорь Владимирович Ильинский



Друг юности и всей жизни А. А. Сидоров. 1912

Сергей Дурылин и Константин Толстой

«...Кого-кого у нас не перебывало, не переночевало, не перегостило, не переедало за эти мятежные годы моей и братней юности!»



Леонид Осипович Пастернак. 1882.

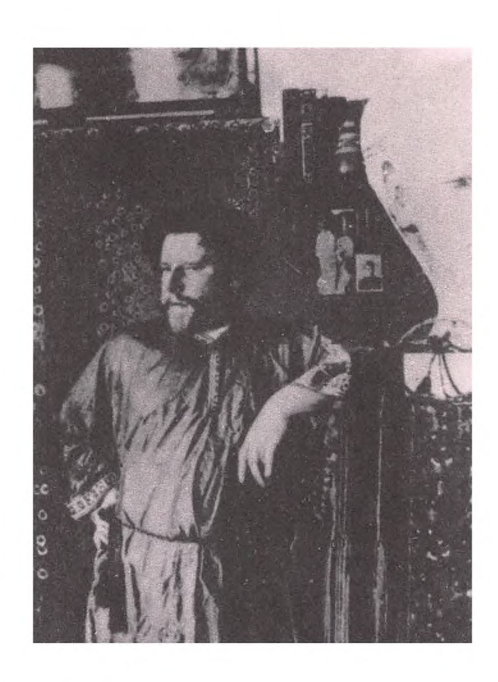
«В 1908 г. я познакомился с художником Л. О. Пастернаком, известным портретистом»





Борис Пастернак. 1913.

«Я верил в то, что поэзия Бориса будет космична... и хаос выльется в золото звезды»



Максимилиан Волошин. 1911?
«У него был символизм действования — оттого в жизни его и в поэзии было много тех «касаний мирам иным», о которых повествуется у Достоевского»



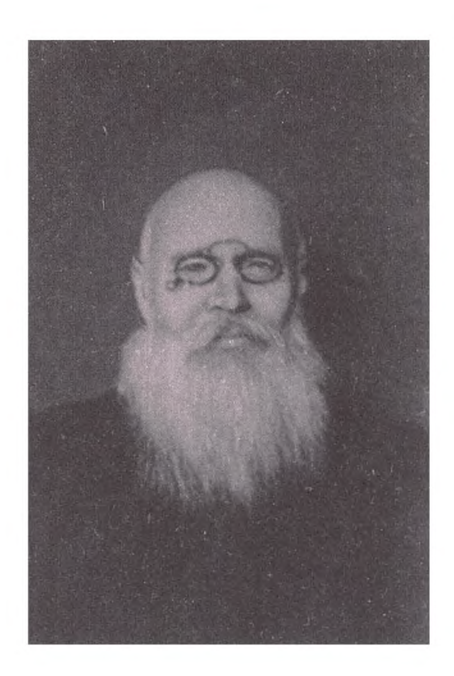
Андрей Белый и Сергей Михайлович Соловьев. 1905





С. Н. Дурылин (второй слева) с группой политзаключенных в исправительном доме пересыльного корпуса. Омск(?) 1927

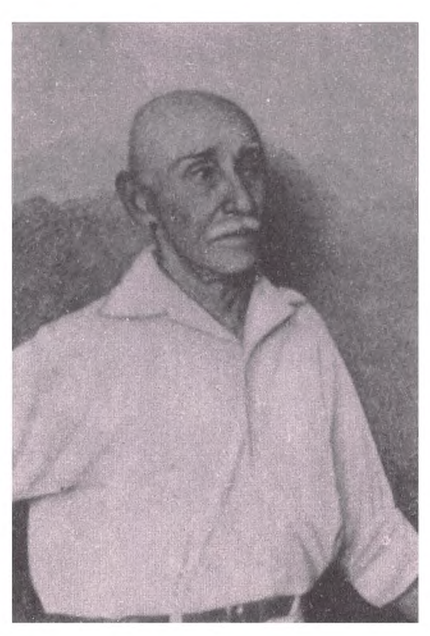
С. Н. Дурылин на археологических раскопках в Челябинске. 1922—1923



Владимир Александрович Кожевников. 1915

К. Ф. Богаевский. 1937.

«В Богаевском есть тот долгий и мудрый настой тишины, который делает глубоким искусство и душу художника»



Борис Садовский.

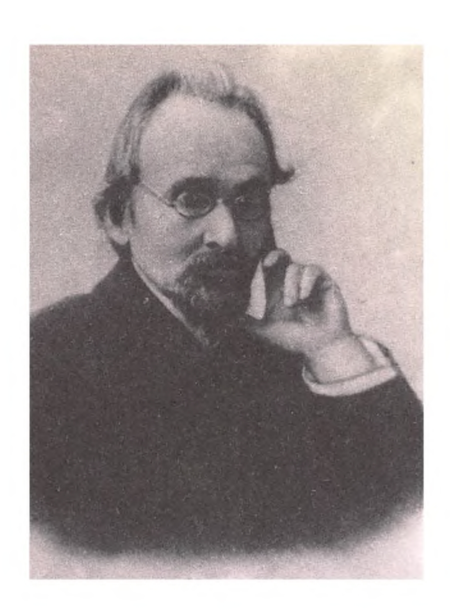
«...Первый, кого я увидал из знакомых, был Борис Садовский в сюртуке, в лаковых штиблетах, тонкий, изящный, обритый наголо...»





Ирина Алексеевна Комиссарова, жена Дурылина, 1917

«...Я Аленушку-то только и люблю в русской женщине. Ах, как крепко, преданно и верно может она любить!»



Василий Васильевич Розанов.
«Я застал его «на самом кончике», и вот этого «кончика» хватит, должно быть, на всю жизнь...»

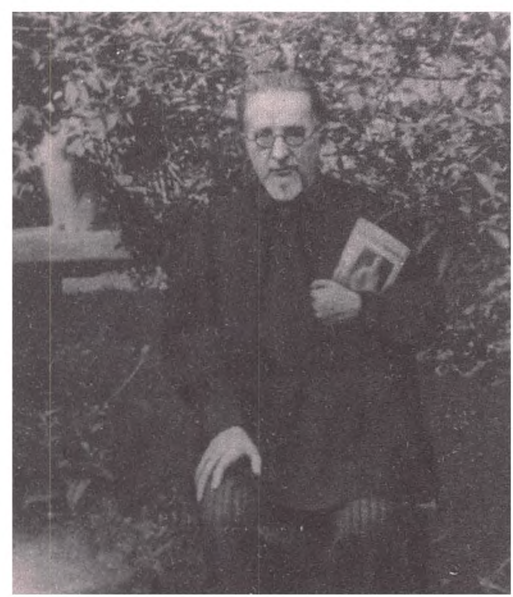
Николай Александрович Бердяев. Крым. 1910





М. А. Новоселов и П. А. Флоренский

С. Н. Дурылин, М. В. Нестеров (стоят), И. А. Комиссарова (слева) и Г. С. Виноградов. Предвоенные годы



С. Н. Дурылин с Маргаритой Кирилловной Морозовой. 1940-е гг.

С. Н. Дурылин. 1932

«Листки мои не «опавшие», а оторванные, подмороженные, засохшие на ветках, а немногие еще зелены, еще некоторые способны даже к росту...»

шили бы, что рациональнее, если бы снег был, скажем, цвета хаки — практичнее, не скоро загрязнится: белый цвет марок! и притом... форму тоже, наверное бы, изменили: слишком свободна; холод — тоже, вероятно, нашли бы, что с ним сделать... Во всяком случае, вопрос о снеге обсуждался бы весьма «научно», и цвет его менялся бы, в зависимости от теорий и -измов. Встал бы вопрос о социальном и всяком, смежном с ним, «использовании» снега в связи с его перекраской и т. п.

А теперь он лежит белый, с голубым сияньем, вольный; скрипят туго полозья, разравнивая его крупкие, сияющие пласты; падает, когда хочет; сияет на солнце — белый, нежный, чистый, чистый.

Какое счастье!

«Подражание Корану», «Стамбул гяуры нынче славят», «Подражание арабскому» Пушкина имеют только одну параллель в русской литературе — «Пембе», «Хризо», «Хамид и Моноли» и др. восточные повести К. Леонтьева: та же свобода, та же прекрасная ясность, тот же подлинный, великий прекрасный мусульманский Восток.

Евгения Сергеевна Ф.[9] только что вышла замуж и приехала с мужем в конс[ульский] домик к Леонтьеву. Я видел ее на картиночке того времени: это — русская красавица, «Марфинька» — краснеющая, милая, добрая. Лизавета Павловна[10] как увидала ее, так с восторгом при всех и воскликнула:

— Ах, куколка! — расцеловала и влюбилась в нее. «Куколка» появилась в письмах К-на Н-ча. Он ее любил и уважал.

Однажды Лиз. Пав. говорит Ев. С-е:

— Куколка, поди укради мне у Костаки папирос. Он не узнает.

Е. С. была в недоумении и ужасе. Она думала, думала, да и сказала К. Н-чу:

— Меня посылает Л. П. взять у вас папирос.

К. Н. улыбнулся грустно:

— Я знаю,— сказал он,— вы возьмите. Я нарочно положу больше папирос в папиросницу, чтоб не было заметно...

Он любил и уважал Л. П-ну.

Е. С. его побаивалась. Он увидел ее однажды в простом ситцевом платье. Она входила в комнату.

— Стойте, стойте! — крикнул он.

Она испугалась. Он оглядывал ее.

— Прекрасно! — сказал он.

«Прекрасно» относилось к ее простому платью, оно шло к ней и было так со вкусом сшито, что Л. залюбовался ею: оттого и не велел трогаться с места.

В другой раз была обратная сцена. Она вошла в другом платье — и он дружески разбранил ее: платье было безвкусно и пестро.

Он чудесно делал букеты цветов и любил испытывать жен своих «учеников» с эстетической точки зрения: разбросает полевые цветы по столу в беспорядке и предложит:

— Сделайте мне букет!

Смотрит, молчит. Букет готов. Посмотрит и отвернется.

— Не умеете делать букеты.

И сам сделает чудесный букет.

С. Н. Б.[11] говаривал про покойного В. А. Кожевникова[12]:

— Вл. Ал. знает всё — и еще кое-что.

И «всё» и «кое-что» было огромно.

Через год после его смерти мы втроем: покойные Вас. Вас. и Прейс пошли на его могилу в Новодевичий монастырь. В. В. сам захотел идти. Шли пешком. Далеко. В. В. поклонился его могиле и сказал:

— Я счастлив, что сподобился поклониться в ноги этому человеку.

Народные рассказы Писемского поразительны. У Григоровича мужики — «жалеемые», у Тургенева — «защищаемые», у Глеба Успенского — «социально-обижаемые», у Златовратского — «обожаемые», у одного Писемского — просто «живущие» — мужики — просто мужики, с кованою речью, с пестрою сложностью характеров, со смутою страстей, темпераментов, вкусов, умов,— и со всем тем они — просто мужики. Ни барин добрый и их жалеющий, ни разночинец, из-за них оз-

лобленный или их обожающий и у них учащийся,— за ними не виден: просто мужики живут своею жизнью и сами ответственны за себя. Изумительная трезвость, простота, сила изображения — и вместе что-то великорусское, крепкое, исторически столь значительное и твердое есть и в изображении и в изображаемых.

Море синее, густо-синее, такое спокойное, точно тяжело ему подняться, двинуть тугою волною сплошной свой плавленый лазоревый сапфир.

Кипарисы чернеют на ослепительно белом снегу: копья, копья, копья.

Около моря — рожденная морем — сияет мраморной пенной белизной Афродита Небесная.

Театр Софокла. Театр Аристофана: Ужас и Смех. И какой ужас! — из недр земли, из темных теснин Аида. И какой смех! — живой, как солнце, вольный, как море,— смех тысячной толпы над солнцем, проносящийся гулливым, буйно-веселым морем.

Тенистые сады маслин. Платон. Мудрость под оливами.

Лукавые, веселые — и священные вместе — Гермы по дорогам. Виноград рассыпает и нежит свои янтари, яхонты, сапфиры, изумруды под солнцем.

Тепло и светло.

Золотое копье Афины Паллады сверкает молнией в голубом безбурном небе — над всем, над всеми.

. . . .

Нет! Все никуда не годно: не орет автомобиль, не мчится трамвай, Платон не говорит по телефону.

И потому — все должно уйти в землю, лечь, как перегной, все: и золотое копье Паллады, и Платон, и Афродита, и театр Софокла, и смех Аристофана, и черные кипарисы, *все*... для того, чтобы некто в блузе мог говорить по телефону и мчаться на автомобиле, оставляющем после себя зловонное облако бензинной гари...

«Какой смысл, леди?» — спрашивает барон у Горького. Вопрос напрасен. Давно отвечают на это и леди, и джентльмены, и блузы, и сюртуки, и даже рясы:

— Прогресс.

Все стихи Брюсова написаны при свете электричества: сухо, ясно, четко, холодно. А есть поэты, которые писали только при свече; при теплящейся лампаде, при догорающем камине: Пушкин, Лермонтов, Фет.

ТЕТРАДЬ III

1926 г. 1 января ст. ст.— 14 марта

Москва. Мураново. Москва

Вас. Вас. три раза возил Нестерова к Суворину [1], который желал познакомиться с художником. Нестеров три раза заходил к В. В., чтоб поехать вместе в Эртелев переулок (ныне улица Чехова в Ленинграде.— *Е. Л.*); но В. В. всякий раз так его заговаривал, что к дому Суворина подъезжали всякий раз в 12-м часу ночи, и Нестеров отказывался идти к Суворину, так как «голова вся была полна Розановым и разговором с ним, и я бы оказался дураком перед умнейшим стариком!». И так-таки и не видался никогда Нестеров с Сувориным.

В. В. был *последний.*

То, что он шептал на ухо, голосом, имеющим от тайны и глуби, то осталось перед глазами немногих, как синенький дым от его папироски. Папироска давно потухла, курить ее некому, да и сорта такого уж не делают. Остались примечания мелким шрифтом, с особыми курсивами: через 5—10 лет их никто не поймет, не услышит в них того же шепота. Книги обрастут мхом — и все будет кончено.

Кому нужно — это «тихое», вверяемое уху шепотком, и в шепотке добирающееся до глубин, до вечных несказуемых тайн?

Нет, папироска потухла навсегда.

И никто не закурил от нее.

Все любимое в литературе у меня — «плавное» — на «л» и на «р»: *Лермонтов, Лесков, Леонтьев, Розанов.*

В. В. был «грешник». Так жена (при мне) и говорила ему, когда он ерепенился: «Я — язычник!»

— Какой ты язычник! Ты просто — плохой христианин!

Должно быть, с ним и было так легко всем, что он был «грешник». Нельзя без слез и улыбки читать его о *святой* Травиате («Среди художников»[2]). Зато — тут и тепло, тут и «уют» — и ласка какая-то, до корней, до ручьев подземных бытия... Как холодны и скупы перед ним «праведники» — Трубецкой[3], Флоренский[4], Булгаков. У «грешника», должно быть, хлеб мягче оттого, должно быть, что и рука мягче: не столь тверда и уверенна, как у «праведника».

Бороденка — зеленая: табачная зелень, и в ней совсем желтые, не от рыжины, а от табаку, волосенки, руки трясутся; на шее синие жилки; все прокурено: бороденка, нос, щеки, шея, даже уши обкурены. Пальцы на руках — коричневые от табаку. Какая уж тут праведность, когда губы сохнут без папироски, как без воды живой! Как другие не только «едят», но и «объедаются» и «обжираются», так и он не только «курил», но и «обкуривался». Весь обкурен и все кругом обкурено.

Я не курю, я и дыму табачного не люблю.

А вот его дым — от его папироски, вечной, неугасимой! — любил и тоскую по нем.

Увидать бы хоть на минутку опять алый огонек его неугасимой папироски. Полегчало бы на душе.

Нет. Не увидишь. Все кончено. Могила.

Вот грущу о нем и вспоминаю по «кусочкам», по маленьким зацепочкам памяти — то за его бородку, то за дымок папироски, то за то, то за другое... И...

Почему же с этою могилой
Меня не может время помирить.

Как о невозможном счастье мечтал я о том, чтоб *увидеть* Лермонтова и Леонтьева живых. А *его* увидеть Бог дал; а то бы так же мечтал бы и о нем, о третьем, как о них. Я застал его «на самом кончике», и вот этого «кончика» хватит, должно быть, на всю жизнь...

Он лежал на столе неподвижный, белый, маленький, чистый, чистый. Покрыт простыней. Ждали Флоренского для панихиды.

В холодной комнате, рядом с той, где он умер, сидели в ожидании панихиды все укутанные Александровы [5], он и она, Софья Владимировна, Мар. А. Голубцова [6], я.

Александров курил махорку, «Александриха» что-то рассказывала про «Русское обозрение» и про В. В-ча, рассказывала, рассказывала — вдруг хвать рукой за папироску мужа, воткнула себе в рот и курнула,— и вновь вставила ему в рот,— и опять за рассказ о «Русском обозрении». А он, ни слова не говоря, затянулся раз, другой,— протянул папироску ей; она курнула — и опять ему. Так было до тех пор, пока позвали на панихиду в большую комнату.

Я очень люблю Перцова [7]. Он напоминает В. В-ча: такой же маленький, с бороденкой рыженькой, седенький, прокуренный, и руки трясутся. Он читал о раннем символизме:

Стоит у стенки. Кругом все чужие,— и его «были»: «Философские течения», «Новый путь», «Мир искусства» — или «баснословье»,— и скучное баснословье.

Прочел два доклада, и так как не «научный сотрудник», то ничего не заплатили. А есть нечего. Из имущества — только архив, где письма всего «русского символизма» и 700 — Василия Васильевича! Но и это никому не нужно: за все в Румянц[евском] Музее [8] дают 200 р.— по... гривеннику за письмо! Подал в КУБУ просьбу о пенсии. Требуют на рассмотрение его «Историю искусств» (рукопись). Он беспомощен. Недолго и ему докуривать свою папироску. Да и на табак — нету.

«Все субъективно».

Для меня — и в личном общении — и в чтении — В. В. был в 1000 раз интереснее Льва Толстого, а за колечко его «Рима» в разговоре я отдам все «Царство Божие внутри вас есть» [9] с придачей «Крейцеровой сонаты».

Строчка Лермонтова — любая: из стихотворений

1838—1841 гг.— для меня *религиознее* всего Толстого, а если б от меня зависело, что сохранить при гибели всей русской литературы — *всю* ли «Войну и мир» или лишь *одну* страничку из «Капитанской дочки», я бы, нимало не колеблясь, сказал: «Одну страничку».

«Все субъективно»: сколько людей видело около В. В-ча бесенка в грязи, а я видел где-то недалеко, совсем недалеко от него, Того, кто прекраснее лилий полевых.

В лице Лермонтова написано: *в глазах* — «какая грусть!», *в улыбке* — «какая скука!».

Так и в поэзии: в глазах — одно, в усмешке — другое. А вместе... что ж вместе?

Вместе — самая глубокая, самая прекрасная тайна, какой отаинствована русская поэзия.

Где-то бродит в полях Александр Добролюбов, где-то «старик», плетя сети, «сказывает» про Добрыню Никитича, где-то верблюд жует жвачку, шагая медленно, как при Аврааме, где-то строят памятник Ленину, где-то плачет колокол перед заутреней, где-то поют дети «Интернационал», где-то постригают в схиму... И все это — Россия! Все — одно слово.

В В. В. был неисчерпаемый и до конца дней неисчерпанный запас детского по чистоте и непосредственности идеализма.

Он женился юношей на женщине [10], которая на два десятка лет была старше его только потому, что она была любовницей *Достоевского, Достоевского,* которого он обожал, боготворил. Выходило что-то невообразимое, вроде того, что он женился на Достоевском. Более книжной, теоретической, идеалистической женитьбы трудно и представить.

И из-за этого он мучился всю жизнь.

Письмо, где он описывал это мученье, было в числе тех, которые он за один год до смерти попросил меня спрятать — и дать родным только после его смерти.

В 65 лет он вспоминал про университет, как какой-нибудь студент 40-х годов — и ездил целовать руку старому Герье. «Буслаев» произносилось им с неменьшим благоговением, чем когда-то «Грановский». «Этому учил нас Буслаев»,— слышалось из его уст, и сколько тут было «вечно-студенческого»!

Николай Иванович[11] встречал Вл. Соловьева у тетки своей Анны Федоровны Аксаковой[12] в Посаде. Она занимала двухэтажный дом. Внизу были комнаты для гостей.

Соловьев с Анной Федоровной горячо спорили: она была православная, он склонялся к папе,— и «чуть не дрались между собой», но она его очень любила.

Однажды они весь вечер говорили о «страшном», в которое глубоко верили оба: о привидениях, призраках, загробных явлениях. Н. И.— ему было лет 12—13 — сначала слушал, но, вспомнив, что ему придется идти вниз ночевать одному — пришел в такой страх, что заткнул уши пальцами и весь вечер просидел у тетки где-то в уголку, не слушая ее разговора с Соловьевым. А они до глубокой ночи проговорили о «таинственном и страшном».

— Как я теперь жалею, что просидел с заткнутыми ушами!

В детстве у меня была копилка — железный домик, покрашенный в красную и зеленую краску. В крышке было отверстие для опускания монет, но очень узкое и недлинное: сквозь него легко проходили гривенники, пятиалтынные, двугривенные, копейки (они хоть из меди, но равны по длине двугривенному) — могли бы проходить пятирублевые золотые (их у меня не было), но вовсе не проходили четвертаки, полтинники, пятачки, рубли, алтыны; бумажный рубль, сложив намелко, я раз втиснул с трудом, но он порвался, и я больше не пробовал это делать.

Когда я думаю о наших сведениях о прошлом (история, история религии, история литературы), мне припоминается моя копилка. В *прошлом были* и алтыны, и рубли, и екатерининские медные гривенники в фунт весом, и империалы, и крошечные серебряные пятачки, и бумажные ассигнации, и одномерные медные копей-

ки, и серебряные двугривенные, и золотые-крестовики, и полушки,— но в *копилку прошлого,* которой имя «ИСТОРИЯ», попало лишь то, что проходило в узенькое и недлинное отверстие, сделанное людьми определенного времени для своих, привычных гривенников и копеек, и что удивительного поэтому, что в копилке истории сохранилось и сохранится так много полушек и не сбережется иной золотой статир [13] или полновесный рубль Екатерины: ремесленник, делавший отверстие в копилке, не знал ничего об его существовании и, отмеривая отверстие, имел в виду хорошо ему известные полушки и гривенники... Так было, так — еще больше — будет.

Я подобен хмелю или повилике: чтобы расти и жить, мне нужно вокруг кого-нибудь обвиться, хоть вокруг сухой и черной палки. И всю жизнь я обвивался вокруг того или другого. Но палки переносили на другое место, стволы, вокруг которых я вился, подрубали — и я оставался один, и в тоске искал новый ствол, новую ветку, новую тычинку, чтоб обвиться вокруг них, чтобы жить...

Ужели же та, вокруг которой вьюсь теперь, не последняя? [14] Ах, на ней хотел бы я и иссохнуть, благо она сама наклонилась ко мне, чтобы моим, уже ослабевшим усикам было легче с земли дотянуться до нее!

Современные поэты, должно быть, очень любят Ломоносова: они все подражают его «Письму о пользе стекла». Очень любят писать стихи «о пользе» — производственной, политико-экономической, всяческой. Впрочем, не менее любят они и Державина: у них все оды, оды и все похвальные.

Современные драматурги очень любят Фонвизина: у них в каждой пьесе есть свой Новодум, свой Милон, свой Правдин в блузе. Они разрешают все коллизии, распутывают все узлы, все приводят к одному знаменателю: коротко и ясно.

Только в одном разница: современные драматурги что-то не выводят ни скотининых, ни митрофанушек «той же оперы». Должно быть, их у нас нет.

Ну и хорошо. При Фонвизине были. Значит, прогресс.

ТЕТРАДЬ IV

1926 г.
19 марта ст. ст.
1—11 апреля ст. ст.
Москва. Мураново

Тернавцев[1] говорил про Леонтьева:

— Леонтьев — это Лермонтов русской философии.

(Перцов. 14.III. ст. ст. был у меня).

На «Восток, Россия и Славянство» Леонтьева Перцов сделал надпись: «Учебник смелости»[2].

Эту надпись очень любил Василий Васильевич.

Перцов, стоя перед асикритовской фотографией Вл. Соловьева: — Вот наружность не то Моисея, не то черта.

(У меня 14 марта ст. ст.)

Вл. Соловьев читал публично «Повесть об Антихристе» в Петербурге, в 1900 г., незадолго до смерти. Вдруг, в то самое время, когда Соловьев достиг того места, где изображается появление Антихриста, и в зале была полная тишина, громыхнул грохот падающего стула, кто-то упал и затем, сконфуженный, бросился вон из зала. Этот «кто-то» был Василий Васильевич: стул буквально рассыпался под ним.

В перечне и обычайных и необычайных происшествий, ознаменовавших начало нового века в Петербурге, сообщаемых Мережковским Перцову из Италии (письмо из [неразборчиво] от 18/III 1900 г.), это происшествие со стулом занимает видное место:

«Лекция Вл. Соловьева об Антихристе и стул, рассыпающийся под В. В. Р-ым».

Вспомнил, когда я впервые узнал о Вас. Вас-че.

Живо помню: я мальчик, самое большее — мне 13—14 лет. Я читаю объявление о книге Михайловского «Литературные воспоминания и современная смута», и особенно меня поражает в перечне содержания этой книги одна строчка: «О г. Розанове и его отказе от наследства».

Я был большой фантазер и большой литературщик

и сейчас же состроил себе объяснение: Розанов, некий Розанов отказался от наследства, которое кто-то ему оставил, а он этих денег, этого имущества не принял, считая, что нехорошо принимать наследства, и о том где-то печатно объявил, а вот г. Михайловский и обсуждает теперь, хорошо или нет сделал г. Розанов и нужно или нет отказываться от денег по наследству...

Я уже слышал тогда через Колю Михайлова смутное что-то о социалистах, о толстовцах, о том, что богатство — это что-то «от кражи» (имя Прудон я слышал еще вовсе ребенком, едва ли не в 7 лет от брата Пантелеймона, и тогда же его запомнил, но только одно голое имя), что-то нехорошее «от угнетения»,— и, должно быть, это «смутно слышанное» как-то выразилось во внимании моем к строчке из оглавления Михайловского: «О г. Розанове и его отказе от наследства». Я это крепко запомнил — что вот некто Розанов отказался от наследства (деньги, имущество).

Таково было мое первое, совершенно фантастическое знакомство с Вас. В-чем.

И только десятки лет спустя я узнал, что отказался-то он не от «наследства» (никогда ни от кого не получал, не от чего было и отказываться), а от толстых книг Добролюбова и Чернышевского — и за то получил должное возмездие от их «идееприказчика» — Михайловского.

Не только снег тает. Все тает.

Так, истаяла русская поэзия. Истаяла русская культура. Истаяла Россия.

Я люблю Случевского[3] давней, действительной, болеющей любовью.

«Свистуны» перед ним Бальмонт, Белый, Брюсов. Они — как росчерк изящной тросточкой на песку, на дачной дорожке. А он — как угрюмая, глубокая борозда, проведенная плугом в черной, комкастой, корявой пашне.

Вас. Вас. всех их знал — «символистов»,— Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого, Вяч. Иванова — и никого не любил. Книги с надписями «от авторов» стояли на полках, и никогда он их не читал. Никого не вспоминал.

А Лермонтов — был у него всегда на устах. Впрочем, милый Бруни[4] сказал, что «у него не было вкуса», а Чулков[5] с этим согласился.

Пусть не было.

Я давно знал, что самое сильное на земле — элементарное.

Но я еще не знал, до чего оно *удушливо*. Воздух весь выкачан. Дышать нечем. Бежать за воздухом некуда. «Дыханье множит муки».

А П. и С. толстеют. Оно и понятно: где человек задохнется, там рыбы ничего себе, дышат — и достигают даже размеров почтенных сомов и осетров.

P. S. Я — со стороны суждения о моей историко-литературной деятельности — отдан — на суд С.

Что ж! Немезида!

Какое наслаждение покупать *книги*. <...>

Покупаешь целый мир, особый, никак на другой не похожий, и можно *выбирать* эти миры — *тот* взять, а этот не брать. <...>

Идешь мимо лавочек и полок букинистов. Стоят рядом на одной полке: «Среди художников», «Основы биологии», «Венеция» Перцова, «Тютчев», «Помяловский», «Курс финансового права», «История русской интеллигенции» Иванова-Разумника[6], альманах 1838 г.— миры: все особые, отдельные миры.

И вот протягиваешь руку и берешь — «Перцов. Венеция». Этот мир будет *мой*. Я буду жить с ним, он — со мной. Могу его никому не дать, а сам быть в нем, в нем.

А вот эти миры — «Разумник», «Биология», «Финансовая наука» — черт с ними! Пусть их заденет своим хвостом какая-нибудь комета и они раскрошатся где-то в мировом пространстве! Какое мне дело! <...>

И тут человек пока еще волен: кто заставит купить меня «Разумника», когда я хочу «Перцова». А если будут заставлять, я просто ничего не куплю. Буду без «мира», но не с тем «миром», который мне постыл.

— «Разумник» в хороших переплетах. Полное собрание. Всего два рубля. Дешево. Возьмите.

— Нет. Не нужно.

И прохожу мимо.

А иногда — и не отвечаю.

Это еще какая-то свобода. Одна из последних.

Оттого так люблю бродить мимо книжных лавочек.

Так уж судьбой определено, что историки литературы своих мыслей не имеют. Они их берут у критиков. Но почему всегда и вечно у Белинского, Добролюбова, Михайловского — и никогда у К. Леонтьева, Страхова [7], Говорухи-Отрока [8], Розанова, Перцова?

<...>Когда же просочатся те подспудные мысли Розанова и других и войдут в историко-литературное суждение о Пушкине, Гоголе и других? Нам не дождаться. <...>

Она думает до сих пор, что ангелы зажигают небесные лампады — и это звезды, и, когда падает звезда с неба (и не «звезда»: наша речь отстает от «века» и еще хранит какой-то остаток былой «звездности» — и не звезда, а какой-нибудь «болид» или «аэролит») — она думает: «Вот чья-то душа идет к Богу».

И следов от Божьих стоп еще так много для нее в мире, на небе и на земле...

Одного греха я не принял на душу: я никогда не говорил ей про «болид» и «звездного» не гасил в ее душе никакой астрономией...

Душа — подобна равнине: все поделено на участки, все измерено; одна полоса — под вспаханной пашней, другая — под паром, третья — под искусственно насеянным рядовою сеялкою клевером, четвертая — под агрономическими опытами, пятая — усиленно удобряется калийною солью. Все измерено, обработано, возделано — все тронуто человеком и его машинами и орудиями, все участки похожи на такие же точно у других: те же орудия, та же обработка. О, какая скука! о, какое однообразие! Но сохранился где-го забытый кусочек целины: он весь в диких травах, и пчела кружится и путается в высоких головках иван-чая, и пахнет медком, и земляника алеет, как крупные капельки крови под ногой, и кузнечики цокочут от зною — и так все перепутано вместе — трава, зной, Иванов чай, пчелы, повилика, лупоглазый куз-

нечик и летняя лень и дичь, что ничего в отдельности не разберешь, а все вместе — и жужжит, и поет, и пахнет, и цветет, и теплеет на солнце...

Но этого всего — маленький забытый кусочек нетронутой целины; он так далеко, что и забываешь про него, что он есть, а кругом — аккуратные, геометрические фигуры под «полезными» злаками, и все они, как одна, куда ни кинь взора: все то же, все то же... До одури скучно. И хочется туда, подальше от человека — к пчеле, к путанице-повилике, к пузатому цекотуну́ кузнечику, к ненужному веселому иван-чаю...

«Иконоборцы наши не останавливаются на обыденном отрицании государства и разрушении церкви; их усердие идет до гонения науки.<...>

<...>

Без науки *научной* не было бы науки прикладной.

Наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия, и ей до употребления нет дела.<...>

Нельзя остановить ум и сказать ему: дальше не исследуй, погоди, пока мы освободимся.

Нельзя же остановить ум, основываясь на том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманием.

<...>

Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями, аскетами и постниками, людьми, замаривавшими все страсти, кроме одной.<...>

Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам.<...> Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушения,— апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.

Проповедь к врагу — великое дело любви: они не виноваты, что живут вне современного потока какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я их жалею, как больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти с грузом богатств, который их стянет в нее. Им надобно раскрыть глаза, а не вырвать их, чтоб и они спаслись, если хотят.

<...>Я не только жалею людей, но жалею и вещи, и *иные вещи больше иных людей.*

Дико-необузданный взрыв, вынужденный упорством, ничего не пощадит; он за личные лишения отомстит самому безличному достоянию. С капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколения в поколение и от народа к народу,— капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен, в котором сама собой наслоилась летопись людской жизни и скристаллизовалась история. Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те *пределы* сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях с начала цивилизации.

Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно французская революция наказнила статуй, картин, памятников,— нам не приходится играть в иконоборцев.

Я это так живо чувствовал, стоя с тупою грустью и чуть не со стыдом перед каким-нибудь кустодом, указывающим на пустую стену, на разбитое изваяние, на выброшенный гроб, повторяя: «все это истреблено во время революции»...

Это — Герцен, это, почти целиком письмо четвертое «К старому товарищу»,— т. е. к Бакунину, писанное в Париже в 1869 г. (Герцен А. И. Полн. собр. соч. // Под ред. Лемке. Т. XXI. М.: Госиздат. 1920. С. 448—449.) Это — самый *последний* Герцен, Герцен с окончательным итогом его мысли: в 1870 г.— у него только смерть, а не писательство. Это — последнее слово Герцена. Гершензон [9] так это и называет: «...это — завещание Герцена представляет собою как раз систематическую сводку его основных идей, многократно враздробь излагавшихся им с 1849 года и в существенном почти не изменившихся за все это время» (там же, с. 450).

А в «Завещании» — это *последние* строки. В середине же «первой части» («письма»), этого «Завещания» читаем: «Против ложных догматов, против верований, как бы они ни были безумны, одним отрицанием, как бы оно ни было умно, бороться нельзя. Сказать «не верь» так же авторитетно и, в сущности, нелепо, как сказать «верь» (с. 436).

И я счет своих лет потерял... [10]
Лермонтов

А Пушкин всегда и твердо знал, что «лета» его начинаются с 26 мая 1799 г. (как характерно, что он «зачерпнул» хронологически и кончик XVIII столетия!), и отмечал, что «полдень его настал», что близятся шаги к «гробовому входу». Вот в чем разница.

Лермонтов — на земле — шатун, ходебщик, бездомник; земная жизнь для него — мгновенье, перепуток, странное и недоброе «бойкое место», *до* которого был длинный, длинный путь («И я счет своих лет потерял») и *после* которого сейчас же начинается новый, другой, длинный-длинный путь... А Пушкин этого не знал. Он — весь на земле. Земля для него не перепуток, а оседлость, за черту которой он не хотел и не умел выходить, тогда как Лермонтов — явно без всякой оседлости на земле.

Как поразительно, что Пушкина Данте коснулся *только* своим «Адом» с его земным реализмом мук и мучимых, коснулся своею земною пятою, а Лермонтова коснулся звездным лучом из своего «Рая». Мог ли бы Пушкин — не в 16 даже лет, как Лермонтов — а и в поздние годы воскликнуть:

И я счет своих лет потерял!

В его устах это была бы риторика, фраза, а Пушкин никогда не говорил «фраз». У Лермонтова — это пламенное исповедание иной действительности, «загадка вечности», серьезнейшее и подлиннейшее свидетельство о самом себе. Точно так же и другое, лермонтовское из лермонтовских, признание:

И я бросил бы вечность мою [11] —

невозможно, нелепо, немыслимо, в устах Пушкина.

МОЮ! — вечность мою! — сказать так же просто и твердо, как ребенок говорит про мать: «мама моя». В Лермонтове и была простота мудрости — знания о вечном. А у Пушкина — «мое» обращено только к земле, к земному: вот красавицу жену называет он в минуту страсти «смиренницей *моей*». А «вечность *моя*» в устах Пушкина звучало бы так же дико, как молитва Ефрема Сирина [12] в устах Магомета.

Я купил автограф Тютчева — «Святая ночь на небосклон взошла...» и «Поэзия». Смотрю на пожелтелые листки, исписанные «трудным» почерком, каким-то гиератическим (а вместе и готическим — с острыми готическими верхушками), вещим почерком,— и думаю с волнением, что эти трудно разбираемые буквы нанесла на бумагу властная рука, чертившая заклинания, а не стихи, водимая высшим принужденьем страстной мысли, глубоким давлением Вечного, несказуемого, рокового.

...И как слаба была та же рука в жизни — такая «человеческая... слишком человеческая».

(Рассказы Н. И. Т. <Николая Ивановича Тютчева.— *Е. Л.*> о семейных делах и отношениях Ф. И-ча).

Ф. Сологуб был робок, тих, незаметен; всегда «умалялся» перед людьми (учитель *городского* училища, даже не гимназии. Верлен — среди здоровенных, румянощеких, толсторуких и толстомозгих ребят — с мещанских задворок!), всегда становился на последнем месте; «литературу» свою скрывал, чтобы не прогнали из учителей; псевдоним ему выдумали Минский [13] с Волынским [14], в память автора «Тарантаса», с целью скрыть неблагозвучную фамилию Тетер-ни-ков, выдумали чужие, со стороны, а не сам придумал, как измышлен назойливый какой-нибудь «Андрей Белый». Стихи его никто не ценил. Первый оценил Шперк [15], за Шперком Розанов, который в эти годы тоже был не из шумных, но все-таки побойчее. А Сологуб был так тих, так незаметен, так мало занимал места, что однажды в редакции «Мира искусства» Розанов, ничего не думая, плюхнулся на стул, а оказалось, сел на Сологуба: так «умалясь» сидел на стуле Сологуб, что казалось, вовсе никто не сидит...

(Перцов, 19/IV н. ст. был у меня.)

ТЕТРАДЬ V

1926 г., с 12 апреля ст. ст.
Москва — Мураново

В мурановской оранжерее цветут персики и абрикосы. По стене оранжереи раскинулось родословное

древо — с тонким стволом, с вырастающими из него плоскими ветвями, ширящимися по всей стене охватисто и емко. Кажется, «древо» нарисовано тонким мастером-геральдистом: до того четок и разумен рисунок ветвей. Но это — не геральдист, это — весна: на ветвях, вместо геральдических кружочков с именами предков,— всюду чудесные, тонкие, розовые-розовые цветочки с нежным запахом. Это цветет персик. А напротив него таким же геральдическим древом цветет абрикос, но у него цветочки — белые. Весеннее солнце стучит лучами в стекла оранжереи — и оттуда дышит на цветущие деревца — теплом и лаской: растите! растите!

— Смотрите,— говорит мне Оля [1].— У абрикосового ствола нет уж своей коры: до того он стар. Вместо коры его обмазывают глиной. Ему сто лет.

Сто лет! Значит, абрикос этот, еще со свежей корой на стволе, цвел при *Боратынском,* цвел в *пушкинском* периоде русской литературы, в *золотом* ее веке (а теперь какой? американского золота?), цвел при *Энгельгардтах,* во времена Александра I и Жуковского...

Поэт-Гамлет [2], сменивший горесть стихов на радость посева леса, заходил в оранжерею вот такою же весною с задержавшимся снегом, с еще пустыми полями, с еще не опушенными лесами,— и любовался на эти нежно-пахучие белые и розовые цветы, чужие, но ласково взлелеянные для жизни и цветенья среди этих полуснежных полей, и думал, быть может, о юге, о той Италии, к которой так стремился и в которую уехал умирать...

О, какая правда, что эти абрикосы и персики с своими ширящимися ветвями похожи на родословное древо! Нужно было любить, хранить и давать спокойно в прочной почве расти своему родовому древу, чтобы спокойно и нежно могли расти эти деревья с розовыми цветами и запахом. Им сто лет. Их хранит благой и верный Садовник. Но он малосилен, если ему не союзник попечительный и крепкий Хозяин. Только то и прочно, где они действуют вместе. Только *это* и зовется культурой.

Для того чтоб сто лет росло и каждый год покрывалось розовыми цветочками это персиковое дерево, нужно было, чтобы Хозяин сто лет поддерживал хра-

нительный стеклянный свод над хрупкими цветами и давал заботливое тепло в оранжерею и чтоб никто не мешал ему в этом. Так выращиваются цветы культуры — созидаются храмы, собираются библиотеки, наполняются картинные галереи, охраняются парки и цветники. Все гибнет, если «древо родословия» уже ни в ком не возбуждает любви к себе. Все разрушается, если перестает вызывать почитание и священный трепет Хозяин, стоящий у корня бытия: когда он теряет свою власть и силу, этот корень сохнет и вместе с деревом перестают цвести и гибнут от морозов и хрупкие персиковые деревья культуры.

Я с благоговением и сладостною тоскою смотрел на цветущие родословные деревья персика и абрикосов. Их опавшие лепестки розовыми и белыми снежинками лежали на земляном полу оранжереи. Я нагнулся и собрал на ладонь несколько розовых лепестков, от них шел тонкий, замирающий запах.

— Сорвите себе цветок,— предложила Оля и готова была сорвать розовый цветочек с персиковой ветки.

Я удержал ее:

— Не надо рвать. Пусть цветут и превращаются в плод. Пусть не пропадет ни один цветок.

Я подобрал еще несколько розовых лепестков. Она подала мне два опавших белых цветка абрикоса. Я поднес их к лицу. От них — слабых и тонких — пахло сильным запахом — сладко и нежно. Я сохранил эти лепестки и цветы — и все думаю о них. Вот они.

Сегодня 30 апреля. 18 дней я не был в Муранове — и за эти 18 дней написаны лишь два отрывка. В Москве вязнет душа, ум, сердце, тело — все.

Нет, не доволен я Москвой.

Отцвели персики. Дорога в липкой грязи. Грязь — коричневая — нисколько не «вкусная», как «вкусна» — черноземная, черная, жирная, мазкая грязь. Эта только липка и приставуча. Все голо: лес еще без зелени. В душе, в теле, в сердце — усталость, усталость, усталость — и больше ничего.

Жизнь — западня,— и нужно к ней «примечание» в тысячу страниц, чтоб понять, зачем и кому она нуж-

на, в тысячу страниц, широких, как степь, как море,— так что не стоит и приниматься за них...

В В. В. «живчик» ходил ходуном по телу, по душе, по сердцу, по уму — остренький, горячий, быстрый, как шпулька в швейной машине. «Живчик» бегал и в «глазке» розановском, и в руке, вооруженной пером, и в члене, и в дымке неугасимой папироски... А все равно умер Василий Васильевич, несмотря на «живчик»,— и вывалилась изо рта папироска... И лежал он холодный, неподвижный,— «как кристалл»,— сказал Флоренский.

Я люблю эти свои листки. Они требуют тишины и воли. Их нет в Москве. В Москве я вообще ничего не писал путного и прежде: «Жалостник», и «Бесы», и «Хивинка», и «Сударь кот» [3] написаны в деревне и в городишках... Я глубоко провинциален и хотел бы писать под тенью не «пальмы», а «герани на маленьком окошке...». Ссылкой для меня оказался не Челябинск, где была эта «герань», а Москва, где ее нету. А эти листки, начатые под сибирской геранью,— даже их оторвать от себя мне удается только здесь, где в окне белеют еще нагие стволы берез, и тихо, тихо, тихо. Листки мои не «опавшие», а оторванные, подмороженные, засохшие на ветках, а немногие еще зелены, еще некоторые способны даже к росту... Оторвать их от своего дерева — не всегда могу, но оторвешь, сунешь в эту тетрадку, засушишь в ней, и легче на душе: никто не затопчет, и все-таки как-то они живут здесь — для меня... Заглавие же *мое* — я только недавно, перелистывая «Новый Путь», вспомнил — есть плагиат у Вас. В-ча. Но еще 10 лет назад, мечтая, говорил ему, что разбогатею и буду издавать журнал под заглавием «В своем углу», где будут писать что хотят и как хотят персонально приглашенные — он, Флоренский и еще двое-трое...

Я все копил про себя: книги, мысли, рукописи — вот-вот понадобятся, вот-вот все найдет у меня и около меня свое место, я все смотрел вперед, и глаза

были емки и падки на охват, на емкость — на Толстого и юродивого, на Брюсова и Костю, на монастырь и лешего на пне, и вдруг случилось что-то,— вижу: ничего не понадобится, и сам я никому и ничему не «понадобился» в жизни, и однако, как части разрубленной змеи,— еще тянусь к вещам, к мыслям, к книгам. Только не к людям... Этот кусок мой — тоже отрубленный, которым я прежде так жадно, так страстно тянулся к людям, навсегда омертвел.

«Ты всех загадок разрешенье...»[4] — обращался умница Боратынский к смерти. Л. Толстой любил эти стихи и выписал в «Круг чтения». А вовсе не «разрешенье» — только *«устраненье»:* задачи не решаются, а просто истребляется задачник или — что вернее — кто знает? — вычеркивается из списков ученик... Только верно одно: задачи остаются нерешенными.

Звон — самое великолепное, что есть в православии.

Я понимаю Чехова, который, слушая звон, сказал однажды:

— Вот все, что осталось мне от религии.

Это немало, это очень много.

В Страстную неделю и на Пасхе было приятно и сладко слушать звон. Он льется оттуда, откуда же дождь, снег, град, оттуда же, где ветер и облака: с высоты. В церкви: все — пение, кажденье, чтенье, действия — все от человека — от видимого человека — и порою скучно и бедно это «человеческое», творящее «божеское» так неумело, так бездарно! А звон — он с высоты. Не видишь, откуда он. Не видишь ничьих рук, ног, голов около него. Он носится над городом, как звуковое облако, белое, легкое и вольное. Он всегда и только — с высоты и о высоте. До него так же «не достать», как до туч, до бегущих облаков. Он — над зданиями, над улицами, над городом, над полями, над полою рекой. Он — над человеком. Это — вольное облако, согласное с лазурью неба и лучами солнца, с высью и волей высоты — прекрасное облако. Только из него падают на землю — не капли дождя и не белые хлопья снега, а звуки — только звуки...

Но и это облако скудеет. На Пасхе было мало звона, а на последних днях уже и вовсе не было. Это значит, что дети уже не рвутся «звонить на колокольню». Придет время, и этого облака не будет над городами и полями. Будет еще скучнее и пустотнее в мире.

Лермонтов несравненно богаче Пушкина стихотворными резмерами и их комбинациями. У него «гнезда рифм». Например:

Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ; —

Гнездо рифм с «ч».
Следующая строфа:

Сады благоуханием
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущелье мгла и дым [5].

Гнезда рифм с «м». Это придает музыкальное единство строфе, музыкально-инструментально образует строфу. У Пушкина этого вовсе нет. Лермонтов тут богаче.

Пушкин беден вовсе — трехдольными размерами. У него почти отсутствует анапест, нет, кажется, вовсе дактиля, редок амфибрахий. У Лермонтова богатство всего этого в сложных комбинациях: амфибрахий 2, 3, 4, 5-стопный. У Лермонтова великолепен 5-стопный хорей, неведомый лирике Пушкина. Какое великолепие — «Утес»! Первая строфа — сама гармония и спокойствие ликующее:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя...

Каждый стих закончен, уплотнен, округлен в смысловом отношении, а все четыре — вместе — любимый лермонтовский, впервые введенный в русскую поэзию 5-стопный хорей,— сама беззаботность, свежесть и гар-

моничность. Но вот вторая часть строфы стихотворения — об утесе, старом, сумрачном, одиноком. Лермонтов все это — старость, сумрачность, одиночество — передает двойным enjambement (перенос в стихосложении.— *Е. Л.*) двух средних стихов, звучащих болью разрыва, воплем диссонанса, разрешаемым в тихую скорбь и покорность последнего стиха.

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

В Лермонтове музыка русской поэзии усложнилась, встревожилась, ополнозвучилась. От него пошли Фет, Полонский и другие.

...Тютчев еще весь в Пушкине: он ямбист и хореист по преимуществу.

(Утром с Кириллом [6])

Странный человек Горький.

Я много знаю его странностей, не попавших в печать: любовь к картинам Нестерова, любовь к «Уединенному» Розанова и тайную помощь ему (денежную) во время революции... Я не люблю его, но в моей «нелюбви» есть что-то, что заставляет меня остановиться и прислушаться к нему. Вот еще раз останавливаюсь и прислушиваюсь:

— Ну, расскажите, что видели?

Это Короленко спрашивает Горького.

«Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды,— они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они — бездельники...

. . . .

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадским [7],— он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

— Человек искренно верующий, как веруют иные не мудрые сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то

случайное и как будто он действует не по своей воле. Все время спрашивает Бога своего: так ли, Господи? и всегда боится: не так!

— Странно слышать это,— задумчиво сказал В. Г.»

(Горький М. Мои университеты. Берлин: Книга, 1923. С. 219.)

Стоять в толпе, затерявшись, креститься исподтишка, и невпопад уставу, ничего не знать, кроме своей беспомощности и своего незнания, поставить свечу на канун за маму, за няню, и в ее живом слабом огоньке видеть их жизнь, их продолжающуюся жизнь и ласку, струящуюся от них теплом, быть незнаемым никем в этой толпе и, выйдя из церкви, скрыть от всех, что был там, и слушать звон колоколов под закрупневшими звездами, прийти домой и с мыслью о детстве и с чуть слышным стуком детского сердца в груди заснуть — этого не будет больше *никогда*. Никогда.

А это-то и была — молитва,— это-то и была религия.

3.V ст. ст.

Шпет[8] остановил меня и спросил:

— Ну, как живете?

Я сказал. Просил дать постоянную и платную работу в Академии.

— Придумайте себе что-нибудь в Академии. Все придумывают. Поговорите с А. А. Представьте пять проектов, один мы утвердим.

А я — не придумщик.

ТЕТРАДЬ VI

1926 г. С 22 июня по нов. ст.
30/VIII по нов. ст.
Крым. Коктебель

Несколько простых, простых русских, почти нянюшкиных по простоте и по теплоте слов, написанных коряво и косо на листке бумаги, без точек, без запятых, без больших букв... и есть еще охота сучить скучную нитку, которая называется жизнью...

«Сухое опьянение мое».

Эта строчка стоит всего жизненного подвига Александра Добролюбова.

Кто не знал этого опьянения, тот не знал ничего. Сказать так, как сказал Добролюбов, это значит поднять пласт непаханой земли, еще не тронутой человеком.

То, что я пишу,— сухая книга — и в ней для меня —
Сухое опьянение мое.

Когда Василий Васильевич умер и закрылись глаза, нужно было положить на веки медяки, чтобы не раскрывались веки. Но денег тогда медных в России не было, и карманы были полны ничего не стоившими бумажными пятачками Керенского. И пришлось взять какие-то медяки из египетской коллекции и их древнею медью с Озирисом и Аписом придавить глаза, еще недавно зорко рассматривавшие с восторгом эти самые монеты.

— В том, что вы прочли, я не услышал вашего «Верую»,— сказал Сергей Михайлович [1].

Я ничего не ответил.

Вас. Вас. говорил когда-то, что на символ веры нельзя написать хорошей музыки.

Музыки я не пишу. А Сергея Михайловича угостил бы стаканом доброго красного вина, если б он у меня был. Каждый стих его теперь верую, каждое слово — credo. Ему скучно, если никто не говорит о своих «верую», и он рвется в бой, вызывая на прения — меча камни из пращи своего собственного «верую». Меняя «Верую» славянское на credo латинское, потом латинское — на славянское, наконец, опять славянское — на латинское, он погубил этим credo в себе поэта; в ушах вместо ваты у него заткнуты кусочки credo, и он может слышать что-либо только через них и оттого слышит очень плохо. Он не носит очков, но в незримую оправу его незримого пенсне вставлено вместо стекол по «credo». Где не пахнет credo, его носу не интересно нюхать. Не человек, а Credo на ногах. Мудрено ли, что, поэт, он ничего не сказал на поэму Макса [2], кроме того, что не все в ней благополучно по части «верую», и... мудрено ли, что так тяжело ему жить. Ибо и «лилия

полевая» не нужна ему, потому что ее нет в «Символе веры», хотя нашлось ей место в Евангелии. Но тяжело не только ему, но тяжело и с ним: вот, вот придавит к земле камнем своего credo, не разбирая, что давит — человека ли, былинку, лилию или небольшую книгу, где нашлось и при малом ее объеме место для лилии полевой.

Лежа на песке у моря, Андрей Белый сказал Габричевскому[3] (1924 г.):

— Бывает, что у человека проваливается нос. Так у Брюсова провалилась душа.

Это рассказывал Габричевский вчера, зазвав меня и С. М. пить красное вино с водой, заедая великолепными пушистыми абрикосами. На полу стоял низенький столик, на нем глиняный кувшин с водой, бутылка с вином, абрикосы. А мы «возлежали» вокруг на тюфяке и циновке. О возлежании, вине и разговоре С. М. сказал:

— Это Леонтьев до его обращения.

Это было верно сказано: на балкон клала серебристые ветки маслина, а с балкона и из окна было видно синее море под ярким огнем солнца (2 часа дня) и горы, напоминающие Аттику.

А на припоминанье Габрич-го С. М. сказал:

— Умно это сказано,— и, однако, никто не имеет права так говорить о человеке.

— В последнее время Брюсов был мягок и душевно мил перед смертью,— сказал Габричевский, повторяя и Максово мнение.— У него душа умягчилась. Неизвестно еще, у кого больше души: у Белого или у Брюсова.

— Б[орис] Н[иколаевич] — холодный,— сказал С. М.

Тут же все вспомнили, что поэт Мандельштам очень удачно определил Макса двуединым определением: «Пустынник и медведь», а Бальмонт однажды, на вечере, когда решено было давать характеризующие краткие определения присутствующим, определил Белого: Иванушка-дурачок! Все это было в шутку, но на другой день все «определявшие» взаимно переобиделись.

Он (Розанов.— *Е. Л.*) брал в руки «декадентскую» книжку, какой-нибудь сборник стихов в нарядной обложке,— листовал осторожно, перебирая пальцем страницу за страницей, где чернели изящные столбики стихов, и говаривал:

— Как это... хорошо издано! — и аккуратно ставил на полку. Не читал.

Любил держать в руках, «потому что хорошо издано». Пушкина же, Лермонтова, К. Леонтьева, Достоевского непрерывно *читал,* и волны от них передвигались сплошным непрекращающимся прибоем в его душу. Иногда всплеск такой волны докатывался великолепной снежной пеной и до его собеседника — в виде вспомнившегося ему пушкинского стиха, лермонтовского звездного порыва, леонтьевской мысли или тревоги Достоевского,— и он отзывался на этот снежный всплеск изумительным потоком *своей* мысли, игравшей с высокою силою и красотою, которые и не снились «литераторам»... Но из Брюсова, Бальмонта, Белого, не говоря уже о дальнейших, ему никогда ничего не вспоминалось. Прибоя не было у них, и никакая волна не плескалась к нему своей пеной. У них изящно изданные книги. Он их и держал в руках, любуясь печатным искусством.

— Как хорошо издано!

А тех держал в душе, поил ими свою душу или топил в них ее, как Тютчев в море ночном.

Дело в том, что человек бесконечно одинок, неописуемо одинок.

И это одиночество — он, засыпанный неисчислимыми звездами, овеваемый космическими ветрами, заглушенный воями океанов, истерзанный голосами собственной своей души,— он пытается истребить, сливаясь с другими в любви, в знании, в искусстве, в Боге. Напрасный труд! Чем теснее слияние, тем глубже одиночество. Чем больше окружен людьми, тем резче отрыв от них... И катится, катится оторвавшийся камень.

Это называется — жить.

Умер В. М. Васнецов. Известил меня Нестеров. Вот еще человек, которого я «пропустил», в жизни — боль-

шой, кондовый, русский. Нестеров почти тащил меня к нему в прошлом году осенью, а я не пошел, убоявшись слов А-дры С-ны, что Васнецов недолюбливает меня за «Софию». Все это вздор, да я и сам не «долюбливаю» себя за нее. Нужно было и этой весной самому пойти к нему звать на Нестеровское заседание, да было «некогда», и послал письмо. А «Аленушку» его я люблю и считаю большой и подлинной, я Аленушку-то только и люблю в русской женщине. Ах, как крепко, преданно и верно может она любить! И слепо любить: лицом к лицу, без «письма Татьяны», без «объяснений с Онегиным»! А если увидит, что не нужна ее любовь и не «любится» тому, кого она любит, то прост и исход: поплакать на бережку, а уж если очень горько, то и в воду! Редка у Аленушки в любви удача. Неудачлива Аленушка. Любовь любит неудачливых и дает себя им в неудачу, но и в счастье, в полноту. Васнецовский омуток скольких звал,— и сколько Аленушек его послушалось! Тут Васнецов — народный большой художник, родной Лескову, Печерскому, Достоевскому, Сурикову.

Нестеров пишет, что «мое поколение и последующее не додали Васнецову». Что ж, должно быть, это и вправду.

Но Аленушкину тропинку, омуток и зовущую водицу я всегда чувствовал.

А меня Аленушка у омутка задержала.

Все, что со мной было в годы 1918—1922, я давно предчувствовал и выразил, твердя без конца строки З. Гиппиус:

Покой и тишь во мне.
  Я волей круг мой сузил.
. . . .
Но плачу я во сне,
  Когда слабеет узел... [4]

«Покой и тишь» от «узла». О, как тихо в узле! Но рано или поздно уют узла пропадает: нет такого узла, который когда-либо кем-либо не был бы развязан или разрублен, и тогда... тогда узел оказывается веревкой. Она может служить бичом, плетью подгоняющей, ею можно связать и нанести раны. Ее можно привязать к крюку, к отдушине... И ее можно выбросить и жить

без веревок и без узлов. Покоя не будет, но узлиный покой... даже ноги не выносят его, как тесного башмака, может быть, это плохо, но что же делать, если не нога делается по башмаку, а башмак приходится делать по ноге? Вот и — «слабеет узел» — и рвется башмак.

22.VIII

От природы, от себя, человека, от смерти — отделялся человек завесами. Одни были из пышной, толстой, златокованой парчи; они хорошо все закрывали, и под их закрытием легко и прекрасно, покойно и прочно было жить: человек разодрал эти завесы,— и лишь клочья их, уже ничего не прикрывающие, висят на мировом шнурке; повешены были новые занавески, более тонкие, подвижные, переменные, но тоже прекрасные — завесы искусства, философии — они также изорваны и прохудились от времени; висит теперь тонкая, всех их тончайшая, занавеска из бумаги, поминутно меняемая, слабая и шумная (шумная оттого, что из бумаги; шумит, пока не смокла от дождя), занавеска «науки» — и человек думает, что ею он прикрыт и прочно защищен от бездны, от страшной Паскалевой пустоты, от ледяной Эйнштейновой «относительности»... И в мыслях нет, *что* там, под ним, бездонный океан. Шумит, еще не до конца смокшая бумажка, всем видная и приметная, и радуются слепцы, напрасно идущие, где дорога, «поверив чувств слепым поводырям».

Если б встал он, милый друг детства, верный спутник юности [5],— встал с своего уготованного места и пришел, тихо постучавшись в скрипучую дверь земного бытия, и, присев на краешек моей постели, не пугая, шепнул бы мне на ухо: «Все, Сережа, *там* есть; и есть са́мое «там», и ушел бы, улыбнувшись, так же тихо, как вошел,— ему бы с его беспредельной честностью мысли и сердца, ему бы как не поверить? Поверил бы! И отчего бы не раскрывать иногда хоть щелочку в земной скрипучей двери и не пропускать *оттуда* к *нам* на миг тех — милых наших спутников, которые «наш свет своим сопутствием животворили», чтоб могли они

подать нам хоть кончик ниточки, соединяющий *наше* и *ихнее, тот* свет и *этот,* некогда ими так достоверно и прекрасно для нас животворимый и Богонасыщаемый их любовью и дружбой, отчего бы не делать этого? О, как велика бы и свободна была бы тогда достоверность и земного сопутствия, и за-земного странствия! Чему бы помешало это? Нашей «свободе» или их «блаженству»? Но любовь, дружеские два-три слова оттуда, откуда их более всего хочется услышать,— могут ли помешать? И ждешь, и ждешь, что милый друг сядет на край постели и окликнет тихо: «Сережа!»

Нет, никто не окликнет, никто не придет. Могила. Деревья над ней — и людское забвение над тем, кто в ней.

(О Разевиге. 22.VIII

Русскую трагедию упрятали демоны в стихи Тютчева, в романы Достоевского, в вино, в бессонные ночи, в разговоры «русских мальчиков», в «пять тонких гильз с бездымным порохом» самоубийцы,— с тем, чтоб весело было жить, пустили на сцену Островского с купцами, Щедрина с чиновниками, Михайловского с «критикой», оставив для желающих поскорбеть Надсона с его «идеалом и Ваалом»,— и все было хорошо, пока не пришел вихрь и не смел вместе с «Ваалом» и столь бережно хранимый «идеал» и не сказал громко, на тысячи верст: «И не Надсон, и не Николай Константинович с 20 томами,— а пожалуйте, вот: Демьян Бедный!», а вместо «идеала» не угодно ли прокатиться в город «Беднодемьяновск». И вихрь был прав. Был совершенно прав.

Весы. На одной чашке — все, что знал, ценил, любил: книги, картины, мысль, природа — тяжесть всего мира; на другой — только один человек, и он перевешивает все. И *та* чашка только давит своей тяжестью, а *эта* — своей легкой тяжестью — оставляет жить на земле, на простой и близкой земле, на обычной, на суглинистой, серой и бедной...

29.VIII

73 года.— Те же липовые аллеи с тщательно посыпанными песком дорожками (отличный хозяин!), с путаницей душистых ветвей, в которых трепетные звезды переплелись и спутались с поющими соловьями, те же ночные вздохи с холодеющих прудов, с затаившейся, но вовсе не спящей степи, те же синие просторы небесного охвата над землей, исчерченного звездными письменами, все то же... Но 73 года! *Ему* 73 года, тогда как *им* — липам, звездам, соловьям, ночным вздохам, степи, небу — по-прежнему — семнадцать, всего — *семнадцать* лет! И он идет один по дорожкам и аллеям, ни одна скамья уж не задерживает его, и ни на одной не должен он никого ждать,— а ночь все прибывает в своей весенней красе, в своей звездной и земной славе. А в старческой груди — в ответ ее учащенному дыханию — «дыханье множит муки, и слаще было б не дышать».

И в тени и теплыни аллеи, разрываемой соловьиною песней, шепчется ему:

Что же тут мы или счастие наше?
Как и помыслить о нем не стыдиться?
В блеске, какого нет шире и краше,
Нужно безумствовать — или смириться! [6]

Когда-то, больше чем полвека назад, в ответ этим «семнадцати годам» природы и земли он, в согласии со своим «семнадцатилетием», выбирал без выбора первое: *«Нужно безумствовать!..»* Теперь, в ответ опять «семнадцати годам» природы и земли, в свои *«семьдесят лет»*... в согласии с ними, он выбирает опять «безумствовать!».

И выбор, неизбежный и единственный для него, ширит дыханье:

Но... дыханье множит муки,
И слаще было б не дышать.

И он садится на скамью в аллее, которая увела его далеко от спокойного ночного дома в беспокойный парк,— садится... чтоб дышать, дышать, дышать, только дышать и мукою своего узкого, еле текущего дыханья отвечать на необъятную ширь вселенского дыханья ночи и весны...

(Летняя дума о Фете)

(Я его всего перечел и перечувствовал за лето 26 года. Как я его люблю).

30.VIII

Тетрадь к концу, лето к концу, Крым мой к концу — а о юге, о солнце, о море я ничего не написал. Не писалось. Писать — для меня — вспоминать. И жить — для меня — большею частью было: вспоминать.

ТЕТРАДЬ VII

1926 г. 11/IX ст. ст. Мураново.
1927 г. 12/V ст. ст.
Москва. Мураново. Москва

Целые Эльбрусы книг написаны на тему, как надо верить, в похвалу верящим и в обличение неверующих,— на всех языках мира, во всех углах мира.

И все-таки никто никогда не ответил, не ответит на самый простой вопрос:

— Что делать, когда *не верится?*

Вера не оттого, что я четко и верно читаю (все равно какое: христианское, иудейское, магометанское, буддийское), и не оттого, что читал книги или слушал проповедников веры, и не оттого даже, что видел чудеса, вера оттого, что *верится.* Это не мысль, не дело, не чувство, не образ, вера — это *состояние.* Как в физическом мире бывает: «дремлется», «спится», «не можется» — так в духовном мире у человека бывает: *«верится».*

Пусть дурны были когда-то и там-то папы, имамы, раввины, бонзы, пусть они были корыстны, алчны, развратны, невежественны, пусть много лжи и обмана было в книгах, обрядах и делах веры... но... *верилось,*— совершенно так же, как в молодости, *ется, спится, можется,*— и пока *спится, ется, пьется, вообще можется* — можно спать на голом полу, можно есть один черный хлеб, пить простую воду — и все хорошо: плохое — не замечается — и хлеб вкусен, и вода сладка, и голый пол мягок: *можется.*

Так человечеству *верилось* до сих пор — и все было хорошо: и святые святы, и папы непогрешимы, и мощи благоуханны, и чудеса несомненны... Но вот пришел какой-то роковой рубеж времен — и не ется, и не пьется, и не спится,— а пища стала не хуже, пожалуй, даже лучше, питье не прогоркло, и постель как будто мягче — и, однако, все худо, все противно. *Не можется:* молодость прошла.

Так пришел какой-то рубеж для веры. Пий X хуже ли Александра Борджа? И все католичество наших дней не чище, не просвещеннее, не добрее, не безукоризненней ли католичества средневекового или возрожденного? А вот тогда «верилось» и было незаметно, что хлеб гнил, вода мутна, ложе жестко. Теперь вода очищается с помощью точнейших фильтров, хлеб свеж и хорошо пропечен, ложе гигиенично и удобно, но... не пьется, не естся, не спится! — и оттого все худо, противно, ненавистно...

Книги читаем, проповеди слышим, даже дела видим (ну, хотя бы образцовые католические больницы на Западе, колонии для прокаженных с Дамианами де Вестерами), но *не верится*. Все-таки — *не верится*.

И ни книги, ни люди, ни дела — ничто не помогает.

— Веруйте: как это *прекрасно* — верить!

— Верно, что прекрасно, но... не верится.

— Веруйте: как это мудро — верить!

— Верно, что мудро, но... не верится.

— Веруйте: как это нравственно и блаженно — верить!

— Верю, что блаженно, но... не верится.

Что поделаешь, чем разрешить этот диалог?

Еще никто этого не придумал.

А ведь тут — вся тайна неверия: вера (если она есть) выражается в безличном, без подлежащего,— «верить», которое так же органично, бытийно, крепко, как: «естся, пьется, спится, зевается»; а увещания, убеждения, призывы к вере, рассуждения о вере, все выражается в личностной форме, обращающейся к воле человека, к его «хочу» или «не хочу», «веруй потому-то и посему-то...», как будто «хочу» или «не хочу» тут что-либо могут.

Нет, «верилось», долго «верилось» человечеству, и оттого все было хорошо, и была вера, а теперь начинает «не верится» — и никакие книги, никакие речи и дела не могут переменить этого «не верится» на прежнее «верится».

Что говорить старому человеку, страдающему бессонницей: «Спите, полезно спать!» — «Знаю, что полезно, и спал, когда был молод, а теперь вот *не спится»*,— отвечает он. Что поделать с этим ответом? Прописать брому? Прописывают, но и бром не действует: «не спится».

«Вера прекрасна», но... *не верится.*

И с этим никто и ничего не поделает. Всему человечеству не верится.

Тишина. Как здесь пишется, как хочется писать. Переделал воспоминание о Садовских [1]. Стало лучше. Переписал почти половину. Надо ехать.

А память о *настоящем* — только память о *тебе* — больше ни о ком, ни о чем, милый мой друг.

«Кривулька».

Самые убогие слова — самые ласковые. Отчего это? «Русское» это, что ли? только русское или и еще у кого есть? В Вас. Вас. было что-то «убогое», и в нем самом, и в языке, и такое ласковое. И в Перцове «убогое» и ласковое. Ласки нет без убогости.

Поэту дано сверлить отверстие в будущее; он сверлит, слепой, но огни и дым будущего видны ему, или он слышит шум оттуда, шум грядущих шагов истории,— и вот слепой и почти немой говорит о том, что открылось ему... Как знать, сколько романтических гаданий, сколько исступленных воплей окажутся впоследствии правдой исторической?

Поэт выпускает бумажные деньги, но, если он истинный поэт, история оплачивает их впоследствии золотом.

Посылая мне третий выпуск «Апокалипсиса» [2], В. В. надписал на нем: «Не судите строго». А затем прекратил высылку следующих выпусков.

Когда я его спросил, почему он мне больше не посылает «Апокалипсиса», он ответил с тихою и грустною лаской: «Вам *это* не нужно». *«Это»* — вся мука, метанье и боль *его* «Апокалипсиса». Он берег меня от *«этого».* И мы с ним беседовали обычно (не всегда) на темы легкие, тихие, на тихую его грусть... И я ему писал такие письма — с «тишиной» действительною или воображаемою, на которую я нудил себя и его. И вот теперь, через 8 лет, чувствую с тоской, до чего мне «нужно» все, что мнилось ему для меня «ненужным»... И горько, горько, что его нет, и нет никого

вокруг, в ком хоть на 1/10000 жила бы его святая тревога и вселенская мука.

Я стараюсь застегнуться на все пуговицы. А прежде не боялся простуды — от сквозняков людских сочувствий, дружбы, единомыслия,— ходил нараспашку.

Перечитывал, листуя и попадая глазами на строчки, Алексея Толстого:

В стране лучей, незримой нашим взорам,
Вокруг миров вращаются миры;
Там сонмы душ возносят стройным хором
Своих молитв немолчные дары [3].

У Перцова,— я читал по купленному у него экземпляру А. Толстого,— отмечено «V» — единственная, кажется, отмета во всем томе.

Блаженством там сияющие лики
Отвращены от мира суеты,
Не слышны им земной печали клики,
Не видны им земные нищеты [4].

Когда я впервые, в 1908 г., купив себе новое издание А. Толстого, прочел эти строки, у меня дух захватило. Это было чистое волнение, прямое ощущение бессмертия души. Во многих стихах А. Толстого чудился мне тогда прямой и точный *рассказ* о бессмертии души,— тихая, кристальная речь, где вместо слов перекликались хрустальные белые колокольчики. И я ей поверил. Я и тогда знал и понимал, что Тютчев и Фет — «большие», а А. Толстой — «маленький», но *такой вести* у них я не нашел, а у него она била, как несильный, но чистый и ясный родник... И помню, в наших беседах с покойным Разевигом о бытии, о мире надздешнем и высшем мы часто говорили его стихами: то, что

Вместить не могут жизни берега,—

казалось нам, плескалось в них ровным и тихим, а главное, верным прибоем, и в нем слышалась несомненная весть о бессмертии. И мы ей верили.

И вот листую теперь.

И грустно изумлен.

Та юная весть о бессмертии души, полученная от второстепенного поэта, из немногих стихов, оказывается *полнее, чище* и свежее, чем та, которую получал я за протекшие 19 лет — от «специалистов» по передаче этой вести...

Что же это? Что же?

Леонтьев хорошо чувствовал, что надо верить в бессмертие своей души для того, чтобы верить в Бога и его бессмертие. Так он писал Фету. Бессмертие Бога познается лишь через уверенность в бессмертии частицы этого Бога во мне — через бессмертие моей души. Надо ощущать в *себе росток* бессмертия, чтобы верить, что есть целый сад садов бессмертия в другом: в Боге.

И если *это* давал «маленький» А. Толстой, и верилось тогда хорошо и чисто, хоть и не доходило до подробностей и определенностей — сколько песчинок на дорожках в «саду садов», и как вернее проникнуть через калитку в этот «сад», и у кого в руках законные ключи от калитки. Я знаю, отчего верилось рассказу: оттого, что голос, его передававший, был чист и нежен, и так подлинно и музыкально был *сам* взволнован передаваемым, что не мог не взволновать и прислушивавшихся к нему...

И как грубы и пусты, как недостоверны со всеми своими «подробностями» и «точностями» кажутся перед ним те рассказыватели, которых я видимо-невидимо переслушал за последующие 19 лет — рассказчики в рясах или в сюртуках, скроенных по выкройке ряс. (Исключение одно — о. Анатолий, но он никогда ничего не рассказывал: он был он, во всем и всегда отдельный и особый.)

Ощущаю удивительную ненужность себя. Недомерок, который поневоле продают по удешевленной цене; ошибка в производстве, которая «годится» только такому же недомерку.

Но не дождался я второго «недомерка», которому гожусь. Холодное, серое одиночество мысли.

(В вагоне, ожидая отправления в Мураново. 26.XI.)

Для осеннего и зимнего русского пейзажа достаточно карандаша: бело, серо, черно.

А русская душа была пестра, шумна, разноголоса: никаких красок не хватит для ее портрета.

Впрочем, теперь думают, что достаточно одной краски.

(У Сокольников, в поезде.)

Все рубят, рубят лес, валят, валят старые сосны.

Это и есть деятельность человека в природе — рубить, валить.

А Божия была: сажать и растить.

(Проезжая через Лосиный Остров.)

У Леонтьева бес был турчонок.

В красной феске с длинной тонкой кистью из черного шелку он сидел у ног Алкивиада и смотрел ему в глаза. У самого же глаза были как две черные кофеинны — два ядрышка, как уголек.

Алкивиад, куря наргиле, думал свои алкивиадские думы. Спускалась ночь. Золотой крест на Айя-София ночью не виден. Ночь черна. Из Янины в лазурный день не увидишь этого креста.

Турчонок снимал феску и приходил утешать Алкивиада.

. . . .

И шептал, шептал через много лет тайный инок Климент: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!»

«У Гоголя нет женщины,— сказал Леонтьев,— у него или Аннунциата, или Коробочка».

Да. Оттого, что у него нет *человека*.

У него — или очи, из которых сыпятся молнии (Аннунциата), или бельмо во весь глаз (Коробочка).

А простых, то смотрящих, то плачущих, то смеющихся, глаз — просто человеческих глаз — у него нет.

(В пятницу 17 читал доклад о Леонтьеве-романисте, пришло в голову и сказал. Разговор о худож[ественном] методе Льва Толстого и Гоголя между Гусевым, Жиц, Соловьевым и Гудзием [5] и проч.)

А. П. Остроумова-Лебедева[6] прислала Нестерову письмо, в котором пишет о летней встрече со мной и сожалеет, что все робела познакомиться поближе с таким «большим человеком»...

А этот «большой человек» сам робел подойти к ней и был буквально *приведен* к ней Сидоровым...[7]

Выходит, что оба «переробели» — и пропустили время,— и Бог весть, встретимся ли?

В ноябре на несколько дней проглянула картина М[ихаила] В[асильеви]ча[8]. Она стояла в библиотеке музея Александра III. В хмурый день — была суббота, мокроть, полуснег, полудождь — я смотрел на нее. Ее фотографировали.

М. В. сказал мне, что прежде на картине был Христос, и Он вел мальчика за собою. Потом он уничтожил Христа, и мальчик пошел один.

— Так лучше,— сказал он.— Христос на иконе.

Картина была не подписана. Он присел на корточки и в правом углу подписал по-славянски свое имя и годы 1914—1916.

На столе лежал кусок бумаги с славянской же, отлично вырисованной надписью.

— Делать надпись или нет? — спросил меня М. В., показывая надпись.— Решайте!

Это был текст из Евангелия от Матфея: «Аще не обратитеся и не будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное».

Я было сказал «нет», а потом перешел на «да» и посоветовал подписать.

— Да, подпишу,— сказал М. В.— У картины нет названия. Сколько я их придумывал и сколько мне их предлагали — и отец Павел, и Авва, и толстовцы — каждый на свой лад. А я вот что ей хотел сказать.— И он прочел текст.

— Пусть это и знают, что я хотел сказать. И я буду спокоен. А то будут — толковать. Завтра же Павел Дмитриевич[9] и напишет в левом углу. Места немного займет.

Наутро, в воскресенье, когда я пришел в час, надпись была уже на картине.

— Павел Дмитриевич написал? — спросил я Михаила Васильевича.

— Нет, я сам взял да и написал.

Милый мой цветочек.

Полевой? Лесной?

Нет, еще милее: городской, не погнушавшийся щели между камнями, тонкой, маленькой щели, чтобы из пыли и сора высунуть свой зеленый стебелек и расцвести, и обрадовать,— и заменить собою и поля, и лес, и «дыханье тысячи растений»...

(О ней же.)

Когда *мы* (от «больших» — от Розанова и Мережковского [10], до «самых малых» — до меня, в этих «горестных заметах»), когда *мы* пристаем к ним (архиереям, протоиереям, профессорам духовных академий, «благочестивым мирянам» и т. д.), не даем *им* спокойно пить чай с пышками и малиновым вареньем, ворочаем *их,* тормошим *их* — *мы* об одном спрашиваем, хотя и по разному:

— Все ли вы уместили в Церковь из того, что есть у Христа и в Евангелии? не оставили ли вы чего-нибудь из золота, принесенного на землю Христом? Все ли из алмазов и сапфиров евангельских умещено вами в ваших книгах, канонах, обрядах, учениях, мыслях, делах? Не забыли ли, не оставили ли чего лежать втуне? Ведь *там* так богато, так прекрасно, так обильно дорогим и прекрасным! Где же *все* упомнить, *все* взять? Наверное, что-нибудь забыто, не все взято, заметна какая-то нехватка, недостача: не оттого ли мы так приметно скудеем, немоществуем, почти нищенствуем? Там есть, там, наверное, есть еще многое, бесконечно многое, что нужно взять оттуда и разбогатеть взятым. Давайте поищем и возьмем!

Таким образом, все «приставанье» наше, за которое Мережковский попал в еретики, Розанов — в прелюбодеи, а мы — неизвестно куда попадем, происходит только оттого, что мы думаем, что *там* у Христа и у Бога — очень богато и что никакие человеческие руки не в силах ни захватить зараз, ни даже исчислить всего богатства, которое лежит там, на полках, в ларцах и скрынях, у Бога. Вся *наша* забота — о *богатстве* и о том, чтобы нам быть богаче Боговым богатством.

А нам на всю тревогу и заботу эту отвечают:

— Нет. *Там* больше ничего нет. Мы в свое время

составили точнейший инвентарь того, что *там* было, все взяли, все перевезли к себе и все отлично уместилось в наших канонах, катехизисах, догматиках и патристиках. Там не осталось ничего не взятого: все *тут*, у нас. Правда, наши здания как будто немного разрушаются, крыши на них протекают, «изданий» наших, где напечатаны наши инвентари, как будто не выходит больше в свет. Но хватит старых. Вообще, как-нибудь обойдемся и с крышами, и с изданиями. А главное — искать вам решительно нечего. Напрасный труд: там мы все взяли. Если даже мы и поистратили кое-что из богатств, то *там*-то уж ничего не найдется, чего бы не было у нас. Если не в наличии вещей и предметов, то в описи, по крайней мере, у нас есть все, решительно все. *Там* больше *нет* ничего.

Таким образом, это — ответ уверенных в скудости Боговой, убежденных, что человеческий инвентарь всецело исчерпал Божественное *богатство* — Христа и Евангелия. *Мы* спрашиваем от *богатства* (от веры, от убежденности в нем и в его неисчерпаемости), они отвечают — от *скудости* (от совершенной тоже убежденности, что у Христа ничего уже не осталось: все взято и переведено в каноники).

Как можно договориться до чего-нибудь, исходя из столь противоположных вер — веры в бесконечное богатство и веры в конечную скудость Бога?

(Переписал с листочка, писанного неделю назад, 18/I.)

Н. К. Метнер приехал. Он пять лет не был в России. Идет по Никитской и читает: «Улица Герцена». Ничего не сказал, только спросил:

— А Никитский монастырь тоже теперь переименован в монастырь Герцена?

Пишут для книгопечатания и потому, что есть книгопечатание.

А вот писать, зная, что книгопечатание на Северном полюсе, на Луне, на Марсе, а тут, на земле, только ты, да твоя мысль и твое воображение.

Это и будет настоящее.

Завтра 1 мая по новому стилю.

Снежок зябкими клочками редко-редко где жмется еще в буерачках, под тенью. Все растаяло. Утром был туман: это весна выжимает снег и влагу из земли. Первые цветы вчера нарвали: синий букетик, тоже робкий и бедный, как последний снежок. Но за ним — будущее — весна, лето, а за снежком нет ничего.

Снежок мне роднее и ближе. Я сам снежок. Дотаиваю.

И растаял бы, может быть, давно, если б чья-то любящая тень не крыла меня от солнечных лучей.

Мураново. 30.IV. н. ст.

ТЕТРАДЬ VIII

1927 г. 2—22 декабря н. ст.
Томск

«Казаки» Толстого — хорошо, очень хорошо, но, когда после «Казаков» и др. кавказских его рассказов я прочел вслух «Евгения Онегина», ощущение было такое, как после граммофона, я услышал чистое, свободное, великолепное пение: в граммофоне тоже был прекрасный голос, но он был в граммофоне — шипенье, гуденье, ложная вибрация сопровождали его, а тут — голос был на свободе — и ничто ему не мешало быть прекрасным и чистым, как небо... Все, что пишет Толстой, доносится, как из граммофона: голос включен в мембрану, в рупор толстовских идей, мыслей, взглядов — и его нельзя слышать без сопровождения их шипенья, вибрации, гуденья, постоянно примешивающихся к их прямому звуку.

Голос Пушкина есть правдивый и независимый голос чистой поэзии, прямого и строгого искусства, свободного от всяких мембран и рупоров.

Прочел сподряд 4 тома писем Гоголя,— книга, не прочтенная русским обществом, почти забытая. Она возбуждает трепет перед Гоголем: вот многострадальнейшее имя во всей русской литературе. Пушкина можно любить, перед Толстым изумляться, Достоевский может внушать восторг или отвращение,— Гоголя и его судьбу надо *перестрадать,* перемыслить, перене-

сти на себя. Этого еще никто не сделал, оттого Гоголь — загадочнейший писатель, о котором написаны многотомия глупостей и две строчки истинной любви и понимания. Гоголь — узел: в нем встречаются по-настоящему, лицом к лицу, плечо с плечом, христианство и культура, церковь и литература, писательство и гражданство, художник и мыслитель, этика и эстетика, болезнь и здоровье, идеализм и реализм, Европа и Россия и т. д. и т. д. без конца. Кто же не только проследил, но просто перечислил, наметил им эти встречи? <...> Западники и славянофилы, ведшие ссору о Гоголе в 40—50-х гг., одинаково, хотя и по-разному, его не поняли и, в сущности, ничего о нем не сказали.

Чернышевский написал «Очерки *гоголевского периода*», но о самом Гоголе — почти что «ничего, ничего, молчание!». Критики-семинаристы: молчок. «Гоголь и черт» Мережковского — конечно, книга не о Гоголе, а о самом Мережковском, о Василии Васильевиче, Тернавцеве, Победоносцеве[1], о религиозно-философских собраниях и прочих вещах. В сравнении с пушкинскими юбилеями 80 и 87 гг.— оба гоголевских юбилея — в 1902 и 1909 гг.— ничего не дали; не равнять же брюсовского «Испепеленного» с пушкинской речью Достоевского!

Удивительная судьба даже с памятником: пушкинский — всем понравился, гоголевский — никому,— и еще удивительнее, что все нашли, что это не «настоящий Гоголь», тогда как Андреев, к удивлению, именно дал *настоящего* Гоголя.

Пушкиным все заняты теперь, и, правду говорят или лгут, все его любят. Гоголь — одинок и никому не нужен. Его положение — и прежде, и теперь, и, вероятно, всегда будет — точь-в-точь таково, как изобразил Андреев на памятнике: запахнутый в огромную шинель и, опустив голову, поникнув птичьим носом, леденеть в пустынном одиночестве — над загадочною, пустынною родиною своею.

В Гоголе, в его корявых письмах,— вся будущая русская литература. Пушкин свои письма *писал,* Гоголь — в своих то прятался от себя и других, то кричал от боли, то набрасывал черновики «Исповеди»

Толстого, то извлекал до времени страницу из «Дневника писателя» Достоевского. «Гоголевский период» — это не только Гончаров, Салтыков, Тургенев, Писемский, как принято утверждать, «гоголевский период» — это: Толстой 70—90 гг. с своими покаяниями, проповедью против денег, отказом от искусства, моральными трактатами, это — Достоевский — руководитель чужих совестей, ответчик на читательские письма, издающий свои «Избранные места» — «Дневник писателя», это К. Леонтьев с его Афоном и Оптиной вместо гоголевской же «Оптиной» и «о. Матвея», это все дальнейшие: все нашедшие своих «отцов Матвеев», свои «Иерусалимы», свои «переписки» и «Авторские исповеди» — и бежавшие в них, кто от искусства (Мережковский), кто от философии (Бердяев), кто от политической экономии (Булгаков). Это все — тоже «гоголевский период», но идущий не от «Ревизора», а от того, чем полны «Письма»: от муки, молитвы и ужаса Гоголя перед темными мельканиями бывания, которые так смешны в «Ревизоре» и «Ссоре Ивана Иваныча», но которые так страшны в истории и в душе человеческой.

И если думать об этом, об этой узловатости Гоголя, то понятнее становятся его загадочные слова об его особой, нарочитой связи с Россией («что ты ждешь от меня?»), о которой никогда не говорил про себя Пушкин. В гоголевском узле закручены все мы — реалисты, идеалисты, сатирики, лирики, художники, моралисты, культурники, опрощенцы,— все, все, сколько нас ни есть,— и гоголевский узел, завязанный на всю Россию, никто еще не развязал. И напрасно думать, что его можно превратить из гоголевского в гордиев узел и разрешить по способу Александра Македонского: и македонский меч не разрубит, а только увязнет сам в исполинской толще гоголевского узла.

Вот отчего страшен и загадочен Гоголь, и вот отчего мы не любим говорить и думать о нем.

Так и гоголевский узел — творчество не мог распутать никто из историков литературы: они предпочитали действовать по способу Александра Македонского — рубить, и, конечно, сплеча. Отсюда все глупости о болезни Гоголя, о его «мистицизме», о... да их и не перечислить!

Моя жизнь — чересполосица. Ничего у меня нет в одной широкой долгой полосе: у меня — там — полоска, здесь — другая, там — клинушек, здесь — другой. Я не умел ни жить, ни любить, ни действовать целою полосою: вспашу там — засею здесь, перехожу с полосы на полосу, и та, что заброшена, давно не пахана, давно «гуляет», та вдруг делается так мила, так дорога — и вновь тружусь на ней...

И так сладко знать: вдруг с заброшенной, забытой полосы ветер донесет запах сладкий и милый полевых цветов или цветущей ржи и обласкает им меня, и забытая полоса станет самой близкой и родной...

(Сегодня привет и письмо и помощь (заказ «Воспоминания о Толстом») от Н. Н. Гусева, директора Толстовского музея в Москве. Я знаю его 24 года. Таков же был привет и память Б. Б. Красина[2], моего товарища по давним влечениям к искусству.)

Богаевский[3] прислал мне альбом из 10 своих рисунков,— со своей «Южной страной» под «неподвижным солнцем любви».

В Богаевском есть тот долгий и мудрый настой тишины, который делает глубоким искусство и душу художника. Стопы тихого человека оставляют самые глубокие следы на земле. Тишина у него всюду: в углах его мастерской, в мягком покое ее ковров, диванов, альбомов. Это один из тишайших людей, которых я только видел, у которого тихая полоса его души никогда, должно быть, ничем не замутнялась, и вместе с тем, это — «взыскательный художник», самый строгий судья своего искусства, притом не выключающий из объектов этого суда и души своей. Это — строитель души своей так же, как и искусства. Поразительно его отношение к *югу*. Никогда и ничего, в сущности, он не писал, кроме южной природы. Но его юг — особый юг. Дело в том, что он не пишет «с натуры», что все на его вещах: горы, море, небо, деревья — созданы им в его собственные шесть дней, правда, из материалов библейского шестиднева. Если б он писал природу «с натуры» — он стремился бы к тому, чтоб узреть не «оболочку зримую», а ее «самоё в этой оболочке». Юг — сладострастие для живописи: какие чувственно-

красочные «Крымы» создавал К. Коровин, какие плотско-красочные «Армении» давал Сарьян! В юге для тех художников ничего не «сквозило» и «тайно не светило»: все было явно, внешне, обнажено, и чем явнее, тем плотско-осязательнее, чем матерьяльнее, тем лучше; почти живое тело юга давали эти художники на своих полотнах. Богаевский вырос в Крыму, немыслим без Феодосии, связан с нею кровно, но где эта пахучая плоть юга, это чувственное осязание его форм на его картинах? Южанин, он искал, ищет, находил и находит в южной природе то, что северный Тютчев в русской северной природе: то,

Что сквозит и тайно светит,

но не в «наготе смиренной», а в «красоте дерзновенной»: задача безмерной трудности, требующая величайшей духовной изощренности взора, орлиной высоты созерцания и орлиной же дальнозоркости, нет, не так — глубинозоркости взгляда. С Крыма может спасть когда-нибудь та его «оболочка зримая», его верхняя одежда, какую с таким блеском изображал К. Коровин: могут исчезнуть его виноградники, разрушиться его виллы, балконы, могут уйти бесследно те, кто сидели на этих балконах,— и Крыма Коровина не будет. Крым Богаевского — трагический, царственно-пустынный, героически безмолвный, страдальный и прекрасно умиренный надзвездным покоем неба,— вечен.

ТЕТРАДЬ IX

1927 г. 24 декабря н. ст. (11 ст./с.)
8 н. ст. (26 ст./ст.)
Томск

Критика художественного произведения подобна раме у картины. Картина одна, а рамы меняются. Они могут быть всякие: деревянные, металлические, перламутровые, шелковые и всех форм, цветов, стилей, вкусов; форма, цвет, материал, стили рамы очень сильно отражаются на нашем восприятии картины: не все равно — картина в золотой или черной раме, в овальной или четыреугольной, в тонкой или широкой, в стиле ампир или модерн. Рама изменяет картину. Но следу-

ет ли отсюда, что нужно оставить картину без всякой рамы? на одном подрамнике? Сколько рам перебывало на «Евгении Онегине», и как различны те материал, цвет, форма, стили, какими пользовались для своих изделий Белинский, Писарев, Достоевский, Ключевский! Зная, как рамы изменяют вид картины, сколько раз хотелось изломать все рамы, выкинуть и черный багет Белинского, и золотой Достоевского, и красную каемку из бумаги Писарева,— хочется оставить «Онегина» на одном пушкинском подрамнике,— и кончаешь всегда тем, что кое-как, неприметно для себя, мастеришь собственную рамку... хоть из белой бумаги или из березовой лучины!..

24/XII

Есть писатели, которые хотят, чтобы читателем их книги был только читатель: прочел, «облился слезою над вымыслом», поставил книгу на полку — и все кончено. Придет еще раз охота раскрыть ту же книгу — опять прочтет, «обольется», поставит — и опять все кончено. Это писатели *легкие* для критиков и историков литературы: Пушкин, Тургенев, Гончаров, Чехов. Но есть писатели *трудные*. Они не довольствуются тем, что читатель их прочтет, что он над ними искренно «обольется слезой»,— они не хотят его оставить только читателем: они хотят с ним что-то *сделать*, куда-то *увести от книги*, приткнуть к какому-то делу, им мало «пролитой слезы», они ждут от него какого-то ответа на свой «вымысел» — ответа даже не словом, а деянием, и мало им, что он опять захочет раскрыть книгу с «вымыслом»,— им нужно, чтобы он как-то постучался у их дверей и, в свою очередь, сам впустил их не только в двери своего дома, но и в двери своей души... Постепенно они приходят к тому, что обращаются к читателю уже не с «вымыслом», а с прямым словом своей правды и требуют от него, чтобы читатель их *«вымысла»,* он обратился к прямому делу их *правды*. Это трудные писатели: Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, К. Леонтьев. И критики, и историки литературы (и их не более счастливые преемники — «литературоведы») не знают, что с ними делать. Оттого все, что написано о Гоголе — «Ревизора» и «Вечеров»,— еще ладно, еще «и так и сяк», но то, что написано о

«Переписке»,— великая глупость, оттого писать о Гоголе с вычетом «Переписки» они могут недурно, но о Гоголе с «Перепиской» — наследственно пишут вздор. То же повторяется, когда дело зайдет о Достоевском без «Дневника» — или с «Дневником», о Толстом «Войны и мира» и о Толстом «Войны и мира»+«Царства Божия»[1]. Тут — та же беспомощность, пустота, глупость: трудность трудных писателей, выпадающая из ведомства истории литературы, дает себя знать. Впрочем, вопрос этот решается теперь очень легко: Гоголь издается без «Переписки», Достоевский без «Дневника», а из Толстого издаются одни художественные произведения. *Трудные* писатели очень легко переводятся в разряд *легких*.

27. XII

P. S. Между тем великая особенность русской литературы в том, что у нее есть *трудные* писатели, и как раз ее славу за границей составляют именно *они:* Достоевский, Толстой, Лесков.

В России была неблагополучная литература. Шекспир, Гёте, Шиллер, Гюго, Флобер — несмотря ни на какие свои «олимпийства», «бури и натиски» — оставались в литературе и читателя своего оставляли в литературе, т. е. в вымысле. Никто из-за шиллеровских «Разбойников» не пошел в разбойники, а из-за Толстого целое поколение русской интеллигенции пошло в толстовцы — в «разбойники», с точки зрения правительства Александра III. «Буря и натиск» Гюго бушевали в парижском театре, а тихая буря и непротивленский «натиск» Толстого приводили к Сибири, к дисциплинарному батальону, к тихому взрыву государственного и социального строя... Толстой извлекал читателя из «вымысла» и вонзал в жизнь. Таких читателей, как покойный Петя Картушин или Николай Сутков[2], конечно, не было ни у Байрона, ни у Шиллера с его «разбойниками». Отказ от состояния: от денег и земли (Картушин), от интеллигентской привилегированности, от всех условий обычной жизни образованного человека (Сутков), огонь внутри: острый огонь глубочайшего противления государству, обществу, социальному строю при тишайшем «непротивлении» внешнем — это такая «буря и натиск», такой «байронизм», перед ко-

торыми «Разбойники» и любой Гяур — детская глупость. Нельзя сохранить свое *благополучие,* вчитавшись в Гоголя, Достоевского, Л. Толстого; их читатель, вчитавшийся в них в России, был неблагополучный читатель: прочел — и ушел, кто в монастырь, кто в революцию, кто в непротивление с его тихим динамитом, подложенным под здания государства и собственности,— а «Фауста», «Дон Карлоса», «Дон Жуана» — прочли себе немцы и англичане, очень одобрили,— и ничего не случилось: все сейчас же перешло в спокойное ведомство историков литературы.

27.XII

Отрицание Толстым обрядов, храмов, богослужения, мощей, духовенства, всего внешне-церковного в христианстве, это вот что:

Стоит огромное здание, специальное здание, со множеством машин, приборов, аппаратов, печей, топок, труб, проводов, ремней, инженеров, рабочих. Здание дорогое, и все в нем дорого; задача здания и всего, что в нем есть, производить некий насущно-нужный *продукт* «самого широкого потребления», без которого людям жить нельзя... А здание со всей своей сложностью продукта этого производит ничтожно мало или вовсе не производит... и давно не производит. Что делать с дорогостоящим зданием? Закрыть его.

Здание церкви, со всем, что в нем есть, и со всеми, кто в нем есть, должно было производить продукты самого широкого потребления и необходимости: любовь, мир, доброту, братолюбие. Но этих продуктов любви *нет* в мире. Есть войны, собственность, суд, насилие, проституция, вопиющая бедность, смертные казни...

Это все Толстой ярко и с величайшим потрясением увидал в жизни («Не могу молчать», «Так что ж нам делать?», «Великий грех» и т. д.); *тех продуктов,* которые бы шли из того здания, которое должно было их производить, он не увидел, и он сделал заключение: здание не выпускает продуктов на рынок, значит, здание надо *закрыть,* ибо единственное оправдание его существования и всего, что в нем, именно производство таких продуктов. Если б оно их производило, оно было бы нужно, и нужно все целиком, со всем, что в нем есть...

А так, без производимых продуктов, оно не нужно, даже вредно своею ненужностью. И другое заключение: раз *оно,* специально оборудованное здание, не производит, надо производить как-нибудь иначе — кустарным способом, каждый пусть производит поодиночке, но *непременно* производит. Суть вся в том, чтобы *производить,* а не довольствоваться самоцельною работою машин и инструментов, работающих, но не дающих никакого *продукта* на рынок.

Вот точка зрения Толстого.

Она логически неопровержима, если... если будет действительно доказано, что из специального здания нужных продуктов — любви, мира, добра — действительно в жизнь не поступает...

...Если б это было доказано, Толстой *во всем* был бы неопровержимо прав. Но доказано ли это?

Толстой думал (но не знаю, до конца ли жизни), что доказано. Хомяков[3], Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, К. Леонтьев думали, что не доказано, и полагали, что продукты поступают, а если поступление продуктов иногда замедляется и уменьшается, то нужно не уничтожать здание с производством, а произвести в нем ремонт, обновить инвентарь, подтянуть, переменить работающих... «Зосима» Достоевского, «Оптина» Леонтьева, «праведники» Лескова, Пушкина, Достоевского, того же Толстого, народное золото, алмазы до дна народного моря — свидетельствовали им, что продукты из здания поступают в широкое потребление. Для Толстого эти свидетельства не казались достаточными.

Наоборот, для него наличие таких фактов, как тюрьмы, публичные дома и т. п.,— свидетельство, что люди не питаются нужными продуктами, которые должны были бы поступать из здания: если б здание вырабатывало эти продукты любви, люди и питались бы ими, и тогда не нужно было бы тюрем и т. д. Но здание их — по Толстому — не только не вырабатывает, вырабатывает даже, так сказать, обратные продукты, вредные для здоровья, и от питания этими продуктами вражды, ненависти и т. д. люди и строят тюрьмы и пр. Оттого здание нужно не только закрыть, но срыть до основания. Опять тут все логично, если... верны все посылки.

Но тут-то и возникает спор. Все дело сводится, по-

вторяю, к тому: 1) производит ли здание продукты любви или нет, а производит даже обратные продукты; 2) можно ли приобрести именно из этого здания вышедшие *продукты любви?*

Вопрос этот решается в конце концов *фактом* самого приобретения, стало быть, решается самим приобретателем.

Толстой говорит: «Я ничего не мог приобрести. Я ничего не приобрел. Мне подсовывали вместо продуктов любви обратные продукты. Стало быть, в здании продуктов любви не производят, а производят ядовитые продукты. Здание надо разрушить».

Но вот Гоголь, скажем, был в Оптиной — измученный, многодумный, остро наблюдательный, искренний Гоголь — и получил там столько «продуктов любви», что пишет гр. А. П. Толстому: «Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше» (от 10/VII 1850, IV, 332—3). Гоголь утверждает в этих словах, что «здание» — пусть только одно его маленькое отделение Оптина — не только производит «продукты любви», но так щедро ими наделяет всех решительно («служки, работники, крестьяне»), что продукт этот у всех в руках, вся окрестность заполнена этим продуктом, и самый запах его слышат за версты и версты от производящего его здания («за несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание»). Но этого мало: Гоголь сам, лично, в свои руки, для себя, столько получил этого «продукта любви», выработанного Оптиной, что пишет одному из его производителей: «Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской пустыне» (письмо к оптинск. иеромонаху Филарету от 19/VI 50 г. IV, 328).

Пусть придет теперь к Гоголю Толстой — сам четырежды в жизни бывавший в Оптиной — и скажет ему, что Оптинское отделение здания, как и все здание, не

производит продуктов любви и что его нужно поэтому закрыть, а самим перейти на кустарное производство этого продукта в одиночку. Совершенно очевидно, что Гоголь со всею основательностью ему ответит: «Позвольте, Лев Николаевич. Я не только знаю и видел и даже носом ощущал, что другие — и весьма широкие круги этих «других»: служки, работники, окрестные крестьяне — получают самые свежие и ароматные продукты любви из этого здания, но я и сам, в собственные руки, для себя собственно получил из здания такое богатство этих продуктов, что только и желаю, чтобы они никогда у меня не переводились. Как же Вы можете утверждать и убеждать меня, что здание это вовсе не производит нужных продуктов и что поэтому надо его закрыть, а нам перейти на кустарную одиночную выработку продуктов? Я вовсе этого не хочу, потому что здание отлично вырабатывает нужный — я с Вами в том согласен, что он нужнейший из продуктов — продукт любви, и я, когда захочу, могу взять этот продукт там же, где кроме меня его берут тысячи народа».

Гоголь так ответит — и на это Льву Николаевичу *возразить нечего.* А как Гоголь, точь-в-точь могут ответить многие тысячи людей — ну, хотя бы те, кто знал отца Анатолия в той же Оптиной: «Вы не получаете, мы получаем, вот и все, а продукт, смотрите, тот, который и Вам требуется: «лучезарная простота обращения», «ласковость ангелов», «участие к человеку» (все гоголевские обозначения оптинских продуктов) — словом, *ЛЮБОВЬ,* то самое, что Вы — и мы, конечно,— так хотим приобрести».

Тут ничего не возразишь. Толстой и не возразил.

Но прав и Толстой, когда он скажет — это не будет возражение — и Гоголю и другим: «Вы получили, а я не получил. Вы видели, что в здании продукты вырабатываются, а я не видал. Вы приметили, что они у вас в руках, а я не приметил. *Пока я* не вижу, что есть производство, что продукт производится и распространяется широко и что он у всех в руках, до тех пор я буду утверждать, что здание бездействует, что продуктов нет и что потому здание надо уничтожить, а я перехожу на кустарное производство, потому что из здания я продукта не получаю, а жить без него не могу!»

Тут словами тоже возразить нечего. Тут Толстому надо было возразить так, как Христос Фоме: «Вложи персты твои в язвы гвоздиные. Осяжи меня».

Так Толстому — «Осяжи продукты любви: вот они» — никто не возразил,— и вместо «продуктов» этих дали ему «Постановление Синода» и статьи иерархов в защиту смертной казни и земельной собственности. Толстой только их и «осязал», только их: Макария с его каменным «богословием», церковную печать под приговорами к смертной казни, под объявлением войны и пр. и пр.— и мудрено ли, что он так и не бросал своего «кустарного производства»?

30.XII. 1927 г.

Приписка 20.XII ст. ст.

Хотел ли Толстой, чтоб его жажду чистых высококачественных «продуктов любви» переняли те, кто были в «здании»? Как бы важно это знать! Вот что он писал однажды жене, только что сообщив, что с старой няней «читали вслух «жития святых»: «Известие твое от Маракуева о мнении Архимандрита (примеч. Софьи А-вны: «Я писала 29/I со слов В. Н. Маракуева, что арх. Амфилохий (известный церковный археолог.— *С. Д.*), представитель комитета духовной цензуры, прочитав переданную на рассмотрение статью («В чем моя вера?»), сказал, что в этой книге столько высоких истин, что их нельзя не признать, и что он с своей стороны не видит причины не пропускать. Но я думаю, что Победоносцев с своей бестактностью и педантизмом опять запретит»),— мне очень приятно. Если оно справедливо.— Ничье одобрение мне не дорого бы было, как духовных. Но боюсь, что оно невозможно» (от 31/I 1884 г., стр. 217).

P. P. S. Мучит меня эта мысль. Никак не отвяжусь. Книги Толстого вроде «Так что ж нам делать?» все-таки остаются неопровержимыми свидетелями огромной недостачи «продуктов любви» в жизни, в мире. Эту недостачу *он видел, как никто, зорко.* И если он не прав, что здание не вырабатывает *вовсе* этих продуктов, и если тем более не прав он, когда утверждает, что оно вырабатывает яды, то как же отрицать, с другой стороны, что вырабатываемого *не хватает,* что есть настоящий вселенский товарный голод на продукты любви, что голод этот *не утолен,* и что на этот го-

лод Толстой указывает, как никто, верно, искренно и сурово? Тут у него великая правда и великая правота.

31.XII

P. P. P. S. А гоголевскую *правоту его* отношения к зданию и его продуктам Толстой, в сущности, знал, лучше сказать, жизнь, случалось, упирала его лицом в нее. Вот что он сам писал однажды из Ясной Поляны жене (24.X. 84, стр. 227—8): «Нынче погода хуже и гололедка. Самое хорошее впечатление нынешнего дня — это встреченные на дороге два старика, два брата из Сибири; идут без копейки денег из Афона и Стар[ого] Ерусалима. Вместе им 150 лет. Оба не едят мяса. Был у них дом с имуществом, к[оторый] стоил 1400 р[ублей]. Когда они в первый раз ушли, прошел слух, что они умерли, и дом передали в опеку. А опека разорила. Они пришли и подали прошенье. Потом монах им сказал, что это грех, что по их прошенью люди могут попасть в острог, что им лучше бросить, чем идти в Иерусалим. Они бросили, и вот остались ни с чем. У одного есть сын, и опять построил дом.

Очень величественные и умильные старики. Я не видал, как от Рудак[ова] дошел с ними до Тулы». Впечатление Толстого от этих стариков то же, что впечатление Гоголя от оптинских монахов и подоптинских крестьян. Его оценка стариков высока: «продукты», которыми они обладают,— смирение, отказ от суда, бедность, неядение мяса, умилительность, величие души — те самые «продукты любви», которые и *по Толстому* — самые неподдельные и питательные продукты: отрицание суда («не судились, отказались, грех»), вегетарианство, бедность, легкая и радостная, смирение и проч. и проч. Но откуда же они получили эти «продукты любви»? Постничать уж конечно их научили «Афон» и «Старый Иерусалим» (два огромные «здания», самые знаменитые), умилению, смирению — откуда же было научиться, как не оттуда? Ведь они изданий «Посредника» не читали, с толстовцами не беседовали, да, вероятно, и читать не умеют. А уж не судиться — в самом толстовском смысле — не прибегать к суду — мы прямо знаем, и Толстой знает, кто научил: монах. Стало быть, «здание» (Афон, Иерусалим и рабочие этих зданий — монахи) дали старикам в руки самые настоящие, неподдельные «продукты любви». Это и Толстой не станет отрицать. Но было бы неве-

роятно думать, что таких «стариков» только два на весь русский народ. Подсчитать, сколько их, невозможно, но ясно, что не два и что «не два» только старика, но и весь русский народ, в какой-то степени, получали «хороший продукт» — и по толстовской оценке — из старого «здания».

(Вписал это 20.XII. 1927 г.)

Иногда бог для меня — как Сириус: алмазная точка в небе.

Знаю, что есть, знаю, что прекрасен, но так далек, что ни тепла, ни света (свет Сириуса — свет только для Сириуса: для меня — только указание, что его точка в небе — свет, но *мне* ничего не освещает). И знаю о Сириусе то только, что знают *все:* что есть и что точка световая; остальное же, что говорят, что знают астрономы,— спектр, величина, вес и т. д.,— все это лишь домысел и сухой препарат из небесного анатомического театра, т. е. вздор в смысле знание-обладание, знание-питание.

Но иногда — очень редко — Бог — не Сириус, а пламишко двухкопеечной восковой свечки: оно мало, но близко, в душе горит и светит, чувствую, что светит. И тепло от нее. И нуждаюсь в этой свечке, в душе, плачущей теплыми восковыми слезами. И когда она там плачет — все хорошо и все хороши. Но зажигается она не моей рукой. И не зажжешь сам. Зажечь ее так же нельзя, как достать Сириуса.

В последнее свиданье свое с Марьей Владимировной[4] (сентябрь 1926 г.) я долго был с нею один, без Татьяны Николаевны[5]. И в квартире, кажется, никого не было. Было тихо. Она лежала неподвижно в постели, маленькая, уменьшившаяся за болезнь (перелом ноги), хрупко-фарфоровая,— я о чем-то ее спрашивал, про К. Н-ча. Потом долго молчали, и только глаза ее были внимательно любовны ко мне. И вдруг мне пришло — не в голову, в сердце — спросить ее о том, что я давно думал, что это *было,* но не спрашивал об этом ни О. И., ни ее в два первые свидания (осень, 12—13/IX 1925 и весна, май 1926 г.) и никого. Я спросил ее — 76-летнюю старушку, полумонахиню, ждавшую и просившую у Бога смерти,— прямо и ясно:

— Марья Владимировна, вы любили Константина Николаевича?

И так же прямо и ясно она ответила:

— Да, любила...

И в ее грустно и ласково внимательных ко мне глазах, со старческой слезой и голубизной, на миг блеснула такая яркая, такая благодарная «память сердца» к тому, кого она любила, что и без прямого, твердого, хоть и тихого ее слова,— это был бы — тоже прямой и чистейший *ответ* на мой вопрос.

Больше я ни о чем не стал спрашивать.

И мы посидели еще долго молча.

Потом пришла Татьяна Николаевна. Марья Владимировна уснула. Я ушел в комнатку радиолюбителя Сережи. Татьяна Николаевна принесла мне туда несколько перевязанных пачек писем Марьи Владимировны к Константину Николаевичу 60-х—70-х гг. в Турцию и сказала, что дает мне их прочесть, что это ей лично подарила их М. Вл. и что она будет беречь их, как драгоценную память о ней. Я прочел некоторые письма из разных пачек — и было в них подтверждение ответа М. В-ны на мой вопрос.

Через некоторое время опять пришла Тат. Ник. и спросила меня неожиданно:

— Как вы думаете, какое стихотворение Лермонтова выражает *все отношения* Марьи Владимировны и Константина Николаевича? Подумайте, какое.

И ушла.

Я был взволнован — и забыл сразу всего Лермонтова, и ничего не мог ответить. Через несколько времени Т. Н. спросила меня об ответе. Я сказал, что не знаю. Тогда она молча подала мне разогнутую книгу. Я прочел.

ОПРАВДАНИЕ

Когда одни воспоминанья
О заблуждениях страстей,
Наместо славного названья,
Твой друг оставит меж людей,—

И будет спать в земле безгласно
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролася любовь,—

Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя,—

Того, кто страстью и пороком
Затмил твои младые дни,
Молю: язвительным упреком
Ты в оный час не помяни.

Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что судит нас Иной,
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.

(21.XII. Не для биографов, а для того, кто ЛЮБИТ К-на Н-ча, в память и в любовь к той, кто сберег его сочинения и сохранил до конца, пронеся через годы и страдания, любовь к нему. Если когда-нибудь будет в русской литературе день покаяния перед его памятью, день узнавания его великой мысли и дарования, то в этот день должны будут вспомнить и ту русскую женщину, которая дала ему все, что может дать русская женщина: бесконечную любовь, самое глубокое понимание, тонкую, неизменившую, несравнимую верность ему и его делу в любви, в труде, в молитве — от самой ранней юности (15—16 лет!) до глубокой старости (76 лет!). А если не настанет никогда этот «день покаяния», к вечному стыду русской литературы, то в тех немногих, кто знал М. В-ну и чтил К. Н-ча, их память неразъединима; она будет неразъединима и в тех, кто НЕ ЗНАЛ Марью В-ну, но кто, узнав К-на Н-ча по его сочинениям и жизни, ДОЛЖЕН будет ПОЧУВСТВОВАТЬ, что в 60—70-е годы, годы расцвета его творчества — вокруг его личности и творчества разлито благоухание прекрасной женственности, и по этому благоуханию узнает ту, от кого оно шло.

Как счастлив я, что последние, еще живые капли этого благоухания я еще застал в уже разрушающемся благородном, прекрасном сосуде и мог обонять их с тихой грустью и несказанным умилением!..)

Помню, как-то возвращались из «Мусагета» со «стихов», чуть ли не с вечера, где Брюсов впервые читал «Демона самоубийства». Против самого «Мусагета», в проезде Пречистенского бульвара, застрял воз

в отвратительной кофейной гуще, в которую превратился снег на мостовой. Лошадь выбилась из сил и не могла сдвинуть воза. Мужик стегал, стегал и тоже обессилел и поглядывал на прохожих, тщетно поджидая, не поможет ли кто, взявшись за оглоблю. И вот досада, не помню, кто: не то Эллис [6], не то Бердяев, но кажется, все-таки Эллис,— быстро сбежал с тротуара на мостовую, приналег на оглоблю, мужик — на другую, и воз тронулся. А мы все, и помоложе их, стояли кучкой на тротуаре и только жалели лошадь и мужика, но никто не двинулся. А тот (Эллис или Бердяев) сразу пошел и помог... И тогда же я понял, почему. Жалели мы не меньше, но на нас пальто были лучше и новее, чем на том, и мы пожалели пальто (новое) и не пошли, а он не пожалел пальто (старое) — и пошел... Тут я тогда же вспомнил Толстого. Тут весь смысл его проповеди простоты, бедности, свержение роскоши и внешней культуры: плохое пальто развязало Эллису руки на нужное дело добра, а нам хорошее — связало. Только пальто.

Эту связанность я часто ощущал в своей жизни. Я думал, если б у меня не было того-то или того-то, то я бы легко сошел с тротуара и помог мужику. Но всегда находилось новое «если б», и я оставался на тротуаре. Я думал: придет время, когда я буду в другом, в плохом пальто... А дело было в том, что надо не думать о перемене пальто, а в каком бы ни был, пусть от Сиже [7], все равно сойти и помочь... Это проще всего. Но тогда теряется смысл носить хорошее пальто и Сиже не нужен, так как в каждую минуту может прийти необходимость взяться за оглобли.

Сиже — может быть, вся внешняя культура: Сиже и симфонический концерт, и картина Врубеля, и Художественный театр.

Толстой и пришел к этому — к тому, что весь Сиже культуры ложен и не нужен, ибо он мешает сразу подойти к лошади, и впрячься в оглоблю, и выручить мужика...

У Толстого забил холодный, напорный ключ внутри него — и он разбросал все камни вокруг, и сделал не-

нужными все другие водоемы, водопроводы, фонтаны, водоразборные будки, из коих обычно берут воду. Зачем они, когда поит собственный ключ? Толстовцы начали с того, что разбили водоемы, водопроводы, водоразборные будки, но никакого ключа в них не забило, и просто остались без воды. Поразительно безводие таких людей, как Чертков[8], Бирюков[9], Иван Иваныч[10], Трегубов[11]. Только одни разговоры о вреде чужих водоразборных будок.

26.XII

ТЕТРАДЬ X

1927. 27.XII ст. ст.— 1928. 18.III. ст. ст.
Томск

Думается, думается о Толстом и о капельках «толстовства», которые есть во всех людях, его современниках: он тучей пролился над ними — и какая-то капелька толстовского дождя, росы, испарений, инея (как угодно!) есть в каждом из нас.

Толстой любил повторять сютаевское[1] «Все в табе».

Значит, во всем — начинай с «табя».

Можно придумать всевозможные обвинения против толстовства, изобрести какие-угодно возражения против затраты всех своих сил на построение кельи под елью для нравственного своего совершенствования, против нянчанья с своим усовершающимся «я», можно выдвигать какие угодно иные идеалы: общественные, политические, религиозные, нравственные, но нельзя возразить ничего против одной правоты Толстого. Эта правота — что всякое действительное начало есть *начало с себя.* «Я» — та станция, которая не может не быть станцией отправления во всяком *действительном* деле какой угодно величины. И «Я» есть та единственная станция, с которой каждый свободен выехать, куда ему надо.

Когда Толстой говорил в течение десятков лет, что не верит в пользу и действительность деяний общественных, политических, государственных (законы, реформы, революции, парламенты и проч.), а верит лишь в силу религиозно-нравственного деяния отдельной личности («не противься» *ты* злому, не служи *ты* в во-

енной службе, не владей *ты* собственностью, не пользуйся *ты* чужим трудом и т. д.— и тогда прекратится в конце концов — в сумме действий *отдельных ты* — насилие, войны и проч.), над ним смеялись, как над утопистом, на него негодовали справа и слева и ему не верили. Но можно убедиться, насколько он прав, взяв более простой пример *личного* и *общего* деяния (примеры отказа от военной службы и др. очень сложны). Например:

Я очень горюю, что в России 5/9 народа неграмотны.

Я не могу сделать *всех* грамотными.

Но я могу, ни от кого не завися, а исполняя сам свою лишь волю, сделать грамотными Ивана, Петра, Аксинью и т. д.

Кто может помешать мне не только совершить, но и успешно совершить такие деяния? Конечно, никто.

Я не могу накормить всех.

Но *этого* человека — Ивана, Петра, Авдотью — могу. Я и кормлю.

Это велико потому, что *каждый* это может. Стало быть, это всем открыто. Это общий путь. И в то же время — это мой свободный путь: *я* хочу — *я* делаю.

Деяние же человека, личное, влитое в общественное, государственное, политическое и т. д., одним словом, НЕ личное, обусловлено условиями, которые все зависят не от меня. Я тут невольник. А там — я вольник, там я «сейчас», сразу, могу начать действовать.

Кто и что возразит на это Толстому?

А. П. Чехов был добрый человек и отличный писатель.

И. А. Белоусов[2] был тоже добрый человек, но плохой писатель и плохой портной. (Он содержал вместе с отцом портновское заведение и нуждался в заказчиках.)

По доброте сердца А. П. хвалил стихи и заказывал брюки у И. Алексеевича. А до Антона Павловича И. А. шил на Н. Н. Златовратского: писатель-народник, очень невзыскательный насчет одежды человек, захотел поддержать поэта из народа и носил с удовольствием сшитые Белоусовым широчайшие — «зато не жмут нигде» — брюки. На изящного и худого Антона

Павловича Белоусов сшил брюки чуть ли не по мерке неуклюжего Златовратского. А. П. поблагодарил и заплатил, а придя домой, повесил брюки в гардероб. Он никогда их не носил. Но по своей необычайной деликатности он надевал их всякий раз, как шел к Белоусову — как автору брюк — или к Златовратскому, у которого были точь-в-точь такие брюки.

«Слезы людские»...— это величина постоянная.

А переменная — все другое: монархи, республики, конституции, фаланстеры.

Л. Н. Толстой в 80-х гг. часто ходил в Румянцевскую библиотеку к Н. Ф. Федорову[3], глубоко им чтимому, ходил беседовать, ходил и за книгами. И вот как-то из каталожной Н. Ф. повел Л. Н-ча по библиотеке отыскивать какую-то нужную Толстому книгу. Они проходили комнату за комнатой, уставленные доверху шкапами с книгами. И Л. Н. не удержался и сказал:

— Какое множество книг! И какое ничтожное число из них, действительно нужны людям. Все остальные можно бы сжечь без всякого ущерба.

Федоров остановился, отстранился от Толстого и, сурово оглянув его с ног до головы, промолвил:

— Много я слышал глупостей на своем веку, а такой еще не слыхивал!

(Слышал от Вл. А. Кожевникова ([умер в] 1917 г.), ученика и друга Федорова, издателя его сочинений и биографа.)

«Добролюбовцы», бывшие «толстовцы», люди любимые и чтимые Толстым за их нравственную высоту, Картушин и Сутков пробовали обращать Л. Н-ча в «добролюбовство», указывая на то, что внутренне мистическое учение Добролюбова углубляет и восполняет его нравственное учение, которому следует сам Толстой.

Л. Н. внимательно, молча, их слушал — он их любил,— а потом сказал только:

— Я себе нашел, а вы себе — ищи́те.

Вспомнил, что разговор <...> этим не кончился.

Толстой добавил:

— Впрочем, я не возражаю против Добролюбова. Я знаю, что придет время, когда религиозные учения, которые кажутся нам теперь возвышенными, как, например, буддизм или христианство, будут казаться людям религиозным слишком грубыми и внешними. Тем более грубыми и внешними могут показаться мои писания.

Смысл его слов был тот, что религиозная истина бесконечна, и ее выражение может достигнуть впоследствии еще недоступного нам совершенства, при котором самые возвышенные выражения религиозной истины, доступные нам, как буддизм и христианство, покажутся людям высшего религиозного сознания такими же грубыми, как кажутся теперь какие-нибудь суеверия, грубо выражающие религиозное сознание, доступное дикарям.

На этом окончился разговор.

Я это слышал от П. Картушина.

В день первого известия об «уходе» Толстого и особенно в день его смерти газеты брались с бою. Я шел в день его смерти по Арбату. Бежали мальчишки с пуками бюллетеней о его смерти — и вмиг расхватывали все. Так «рвали» «газеты на моей памяти еще один раз, когда была объявлена война с Германией. (К газетчикам, которых число безмерно возросло, тянулись руки из дверей магазинов, из окон трамваев, отовсюду. Прохожие заглядывали в газеты, читаемые на ходу людьми незнакомыми.)

— Толстой ушел! — пробегало из уст в уста.

— Толстой ушел!

Ко мне прибежал поэт Ю. Анисимов [4].

— Ты знаешь, Толстой ушел!

«Уход» Толстого для нас был величайшим событием, таким, примерно, как если б гора, настоящая гора действительно двинулась куда-то, по евангельскому слову. Ушел! *Он* ушел! Старик 82 лет, великий писатель, недвижный седелец Ясной Поляны, которому и лень, и болезнь, и семья, и литературные занятия — все, казалось бы, *разрешало* сидеть, где сидел с такой славой больше полувека. Он ушел! А мы, молодые, ни-

чем не связанные, легкие, как птицы, мы стоим, сидим, мы недвижны... Ушел! Куда? Конечно, в путь подвига, в путь труда и испытания. И неизвестно, куда. В народное море, на самое дно. К чему-то светлому, светлому.

Ушел *Он*... Может быть, и *Мы* сможем сдвинуться с места и уйти от своих стихов, литературных интересов, маленьких кружков и даром тратим молодость?.. И не только мы, но все, все, кто его читал, с ним спорил и его же обвинял, что вот, мол, проповедует одно, а сидит сиднем в той же Ясной с той же Софьей Андреевной, может быть, и все тоже «уйдем» куда-то от лжи, пошлости, косной недвижности нашей общей жизни?

В те дни, когда известно было только, что Толстой «ушел», но не было еще «Астапова» и никто не знал, куда собственно Т. ушел, «уход» казался величайшим, двигающим всю русскую культуру и жизнь событием. Это именно гора, высшая точка России, ее ледяная вершина, двинулась с места — пошла к неведомому пророку (Магомет).

В промежуток этих коротких дней было заседание Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, в квартире М. К. Морозовой[5] на Знаменке. И случилось так (без всякой связи с «уходом» Л. Н.), что в это заседание читал доклад Андрей Белый «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой». Была туча народу. Тут были Струве, Брюсов, М. Волошин, Эллис, Е. Трубецкой, Булгаков, Бердяев, Эрн[6], С. Котляревский. «Уход» Толстого не был ни в какой степени темой гораздо раньше написанного доклада, но он был в мыслях и подмыслях всех говоривших и присутствовавших. Только один из оппонентов, пламенный и напроломный Эллис, заявил, что напрасно в Достоевском и Толстом видят пророков. Что пророки бывают не такие, а вот какие (описание пророка по «теократии» Вл. Соловьева) и что пророки не кощунствуют, а Толстой повинен в кощунствах — Эллис имел в виду известную главу в «Воскресении». На это ему очень резко возразил Струве:

— Кощунником можно назвать лишь того, кто, черня, глумится над предметом своей же веры, кто, признавая нечто святыней, глумится над этой же святыней.— И он сослался на Розанова.— Толстой же не ве-

рит в то, над чем он, по вашим словам, кощунствует.

Белый вопил о необходимости религиозного искусства, утверждая со страстным натиском, с вдохновеньем, что только на религиозной основе возможно искусство, что великое искусство всегда и насквозь религиозно...

Помню: встал холодный, в черном сюртуке, весь застегнутый Брюсов и, держась за спинку стула, отчеканил:

— Всеми признано, что наука автономна от религии, что философия независима от религии, что политика имеет свои основания, отличные от религиозных,— почему же одно искусство так несчастно, что не может существовать самостоятельно и нуждается в подпорках религии?

Белый обрушился на Брюсова.

Брюсов был одинок в этот вечер.

«Уход» Толстого предрешал и разрешал, казалось, вопрос об отношении религии к искусству. Если тот, кто обладал искусством «Войны и мира», не мог ограничиться этим обладанием, а вот ночью, тайно, «ушел» в неведомую даль — не за искусством же! — а как пушкинский «Странник», навстречу божественному голосу, звавшему его неумолчно,— то к чему еще спорить о том, может ли искусство не нуждаться в религии и в силах ли художник обойтись без Бога?

Это был замечательный вечер. Говорили, говорили, спорили-спорили, а в душе у каждого — я верю и почти знаю, что у каждого — поднимался вопрос: «а *он* — что? где *теперь* он? куда *он* идет? и почему *мы* — не идем?

Было и радостно и стыдно.

Казалось: вот-вот еще миг, и наши горки, пригорки, холмики и бугорки так же, как его Великая гора, перестанут быть неподвижными и двинутся... к какому-то неведомому пророку, Вестителю Бога,— нет, к Самому Богу.

«Малое» творенье я люблю больше «великого».

Я до восторга слушаю щебет воробьев, смотрю на их кропотливое подбиранье зерен на дороге, и неугомон их щебета любезен сердцу. Сорока на снегу под окном — восторг изящества, милой озабоченности и

лукавого любопытства. У гусей так умен гогот и так разумен сторожкий глазок вожака.

«Малое» так велико в своей простоте и малоте, а «великое» так смешно в своем чванстве, глупости и злости.

13.I

P. S. Милый щебет птичий, ты мне человеческая речь!

В Коктебеле, в начале июня 1927 г., когда мы приехали с Ириной, цвели маслины. Я сорвал цветущую веточку и положил на это место в тетрадь, тогда еще пустую.

Тетрадь вернулась в Москву пустая; приехала в Томск — на 3/4 исписана, а веточка все благоухает.

Вчера я открыл эту страницу и поднес к лицу Веры Николаевны — и она с восторгом вдыхала аромат... <...>

И мы смотрели коктебельские акварели Макса и рисунки Богаевского.

Самые страницы пахнут этим запахом — строгим и прекрасным.

Пусть же ничего не будет на этих страницах, кроме этого запаха.

Федоров (Н. Ф.) никому не известен по-прежнему, но тем, кому известен, тем он — откровение, 5-е измерение, пророк, «первый двигатель».

«Федоровцы» явились тогда, когда меньше всего можно было их ждать. Вл. А. Кожевников не окончил своих статей о Федорове; Бартенев упрекал его за это. В самое неподходящее время самые неожиданные люди спрашивали меня о Федорове и уготовали его идеям самое неподходящее место и назначение. Иногда хочется сказать, глядя на федоровцев: кому нечего делать, тот намерен заняться воскрешением.

В Академии был доклад Горностаева: «Толстой и Федоров». Говорят, Горностаев утешал кого-то из сетовавших, что Вл. Соловьев рано умер: «Что ж! Мы его *первого* воскресим!» <...>

...Первого-то следовало бы воскресить самого учителя.

Когда меня спрашивают о Федорове, я молчу.

Федоров — это оторванный христианским ветром кусок от облака 60-х годов. Кусок от этого облака оторван ветром другого направления, чем тот ветер, который слепил это облако. Состав облака Федорова тот же, что и облака 60-х годов: тут, как и там, «общее дело», и «долг перед человечеством», и «вера во всемогущество науки», и «материализм», и все это так же, как у Базаровых, слеплено любовью, тою любовью, о последовательности которой хорошо говорил Вл. Соловьев: «Человек произошел от обезьяны, а *потому* положим душу свою за други своя». Этот состав федоровского облака родственен и розовому облаку петрашевцев (как родственны им и «хрустальные дворцы» Чернышевского). <...>

Петрашевцы, правда, не дошли до «воскресения», а ограничились только «обновлением человечества», но кто сказал «а», тот скажет и «б», и все отличие Федорова в том, что он, позже пришедший, вымолвил это «бэ».

Розовое облако у Федорова одно с розовыми облаками русских фурьеристов и хрусталедворцев: оно — лишь кусок от этого общего облака.

Но кусок этот, повторяю, оторван христианским ветром,— и облако понеслось в другую сторону, чем облака петрашевцев и Чернышевского,— в ту сторону, куда неслись грозовые тучи Достоевского и Л. Толстого. Оно несется в других слоях атмосферы, с иною быстротою, под иным озареньем солнечных лучей, чем те розовые облака,— тучи Достоевского и Толстого окружают его, соприкасаются с ним; пепельно-красное облако Вл. Соловьева соседит ему; кажется: вот миг — и федоровское облако сольется с этими грозными тучами, с этим соловьевским пеплом. Но кажется, это только на миг: эти тучи, этот пепел совсем из других паров, чем федоровское облако,— и оно, розовое, быстро освобождается от их грозовой черноты, от их зловещего пепла, и хоть под тем же, что и они, ветром, и в тех же слоях атмосферы, но плывет отдельно и своей розовой привлекательностью, своей яркой светлотой привлекает тех, кто боится грозовых туч и небесного пепла и кому кажется, что это розовое облако так близко, что вот, протянул рукой и достал до него, и распластал его по земле.

27.II

Не умею я жить. Не умею я жить.

Все №№ жизни, как №№ сапог на ногу, все для меня неподходящи. Я — недомерок. «Недомерочных» размеров жизни, особенно при «стандартизации» ее, в продаже нет. А сам я бессилен соткать на себя недомерочную одежду, сшить недомерочные сапоги на свои ноги — и ношу что попало: все не по плечу, не по ноге: то велико, то жмет. Моя биография — глупая. История последовательных глупостей. Недомерок.

Меня любили недомерочные люди, но большие, не мне чета, наделенные силою быть недомерками: Василий Васильевич, Перцов, Нестеров. Эти — особенно последний — сами сшили на себя и одежду и обувь, и не пытаясь найти ее в продаже.

Сил ли у меня не было, или времени слишком мало, но я одежды и обуви себе не сшил, а ничья готовая мне не впору...

Мерочные люди — и большие и малые, и больше меня, и меньше меня — мне были близки до той поры, пока считали меня, а я считал их, что мы — одной мерки; как только оказывалось, что я — недомерок, наша близость исчезала, и выходило, что

Я изменял и многому и многим,
Я покидал в час битвы знамена.

Но я не изменял, я не покидал... Я просто оказывался недомерком. Сколько боли причинил я людям моей недомерочностью!

И сколько раз я сам хотел заплакать оттого, что я недомерок.

Нет. Пусть так. Это — тоже *дар*.

Муза моя — выгнанная мною из дому на улицу девочка. Ей места не было. Дом был занят важными особами: то философией, то археологией, то критикой.

А Муза — не особа: она худенькая девочка в старомодном платьице.

И, выгнанная, она собирала Христа ради, и стучалась робко под моим окном, и мне же протягивала руку с медью, собранною там, у людей, на улице...

Но отгоняли ее от окна.

А теперь она опять стучится под окном, и в руке ее, похудевшей и трясущейся, я вижу медь...

Гости ушли из моего дома.

Я нищий.

Мне ли не принять ее грошей?

ТЕТРАДЬ XI

1928 г. 21 марта — 24 июня.
Томск

Светлое Воскресенье. <...>

В 1909 году встречал утреню на Иване Великом с Борей Пастернаком: колокольня гудела, потрясалась от звона, и мы решили, что похоже, что мы на осажденной башне, как во «Франческе да Римини» у д'Аннунцио, и враги таранят ее грозными ударами, она вся дрожит, мы не слышим друг друга,— и жутко и славно быть в башне! А Успенский собор опоясан огнями крестного хода, и тысячи, тысячи народа: черным-черно от него на площади, у соборов, всюду, и вдруг эта чернь расцвечивается полночными цветами огней. И гуд, гуд, гуд над Москвой...

Отец Федот, уставщик Оптиной пустыни (жив ли он?), был умный и строгий монах. В 1917 и 18 г. я много беседовал с ним.

<...> Он хорошо помнил Леонтьева.

«Консула» они, молодые монахи и послушники, побаивались.

У Федота был отличный тенор. И вдруг однажды выпало ему сопровождать иеромонаха для служения всенощной под воскресенье на дому у «консула».

По зимам зябкий и больной Л. почти не выходил из домика. Воскресные всенощные слушал на дому — зябкий, полубольной.

О. Федоту запомнилось.

Вошли они с иеромонахом. Итальянское окно — Леонтьев, седой, в поддевке, сидит в глубоком кресле у стола; читает какую-то толстую книгу, но не читал, когда вошли, а, откинувшись на спинку кресла, смотрел на человеческий череп, лежавший тут же на столе около книг и бумаг. Молодого послушника поразили и

череп, и грустное бесконечно лицо Леонтьева, и прикованность его взгляда к черепу, придавившему какие-то бумаги.

Всенощную он не любил, чтобы затягивали, но требовал, чтоб чтение было четко и совершенно внятно. Терпеть не мог обычных «одному кивнул, другому моргнул», и «помилос, помилос!». Слушая службу, он стоял неподвижно, по-монашески, крестился редко, но четко, такой же сосредоточенный и молчаливый, как перед черепом.

Только раз во время первого часа он поправил читавшего Федота:

— Не так. Богородичен нужно.

Всенощная кончилась, он поблагодарил, подошел под благословение к иеромонаху — и они пошли в монастырь.

30.IV

Скончался последний оптинский старец отец *Нектарий.*

Все ушли: Великим постом 1922 года — отец Феодосий, в 1924 году (30 июля) — отец Анатолий, теперь о. Нектарий. <...>

С ними ушла *тайна старчества* — этой духовной православной *гениальности;* научиться ей нельзя. Взять ее нельзя. Она не берется, она *дается,* так же дается, как дается творческий дар в искусстве. Это были Пушкины, Тютчевы, Лермонтовы в православной [нерзб.]. Сказать себе: «Я буду старчествовать», как говорят себе многие современные батюшки, такая же нелепость, как сказать себе: «Я буду Пушкиным». Как же, будешь! — будешь бездарным подражателем Пушкина, не более!

<...>

Когда читаешь Пушкина, есть прямое, нутряное ощущение, знанье, веденье, как угодно назовите, что это *золото.* У кого нет этого ощущенья, знания, понимания, обоняния, как хотите, у того просто нет органа, воспринимающего *золото:* есть орган или химический реактив на медь, на селитру, на купорос, на каменный уголь, на что угодно, а на *золото* — нет, и ничего тут не поделаешь. Тоже было с о. Нектарием: *золото.* <...> Это был ключ из золота — к русской ду-

ше, к ее святая святых, к той скрынье, в которой утаены Нестор летописец, преп. Сергий, Андрей Рублев, юродивые — обличители Грозного, Дионисий, Пушкина «Пимен», и с ними вместе Достоевский, Толстой (в лучшем своем), Гоголь, А. Иванов, Нестеров, Тютчев «Этих бедных селений», Вл. Соловьев, славянофилы, «няни» русской жизни и поэзии, «праведники», безвестные святые народа,— этим золотым ключом отпиралась дверь в эту скрыню, и, чуть приотворив дверь, можно было уже знать о неисчислимом богатстве, там хранимом, и верить в его неиссякаемую нерушимость.

ТЕТРАДЬ XII

1928 г. 8 августа ст. ст.
1929 г. 7 мая ст. ст.
Томск

Я вдумывался в биографию Шопена. <...>

Шопен обожал Баха и Моцарта. <...> Бетховен его «пугал». Он «не ценил» Шумана». С другой стороны, о Шопеновой сонате Шуман выразился... что *это и не музыка.* <...>

О Вагнере сотни умных людей твердили: *«не музыка»,* а если и музыка, то та «музыка будущего, от которой избавьте, пожалуйста, уши настоящего». (Отзыв *Чайковского* такого, приблизительно, рода; об отзыве *Кюи* уже и не упоминаю.)

Кюи, услышав первую симфонию *Рахманинова,* сказал: «Если это и музыка, то такая, которую, верно, любят в аду», т. е. какофония. *Римский-Корсаков* прямо отрезал: «Ваша симфония — глубоко мне антипатична». <...>

Когда сыграли впервые в Москве в 1909 г. «Божественную поэму» и «Экстаз» («Поэма экстаза».— *Е. Л.*) *Скрябина,* Энгель [1] воскликнул: «Конец музыке!»

Итак, Шопен для Шумана, Шуман для Шопена, Вагнер для Чайковского и Кюи, Рахманинов для Кюи и Римского-Корсакова, Скрябин для Энгеля и (с 7-й сонаты) для Метнера — «не музыка». Целая цепь приговоров, выносимая признаннейшими судьями, и, однако, нет никакой возможности нам, через 80 лет, поверить Шуману, что соната Шопена — «не музыка». Музыка! Музыка! Да еще какая! <...> Не очевидно

ли, что ярлык «не музыка» странствует и передвигается с композитора на композитора, с Шопена на Шумана, с Шумана на Вагнера, с Вагнера на Рахманинова, с Рахманинова на Скрябина, со Скрябина, а... на кого? На ком он сейчас? и под чьей «не музыкой» окажется в конце концов «музыка»? Вот в чем вопрос.

Можно ли дать такое общее определение: что такое человек? Человек — это тот, кто ошибается. В нашей историчности, в том, что мы дышим воздухом нашего века, в том, что наши легкие поневоле вдыхают пыль общих суждений, в том, что на всех нас падает «тень века сего», заключена ограниченность нашего суждения, вкуса, эстетического опыта, заключена грустнейшая (и, однако, несомненная!) возможность для Шумана определить Шопена как «не музыку».

Поистине,

люди — жалкий род, достойный слез и смеха, достойный их даже тогда, когда не косыми лучами коснулось их солнце вечной благодати (как нас, грешных), а ударило им прямо в темя благодатью светлейшего помазания.

И еще грустнее, что, быть может, эта «возможность», о которой я выше говорил, и для Шумана была *принудительна:* «время», «тень века сего» заложили уши Шуману на Шопена, Чайковскому на Вагнера, Римскому-Корсакову на Рахманинова.

Иногда уши остаются «заложенными» надолго. Так, после эпохи Елисаветы всей Европе чуть не на 200 лет «уши заложило» на Шекспира: варвар, да и больше ничего. Безвкусный грубиян! А вот пудреный Вольтер в шелковом камзоле со своим изящным и пудреным «Магометом» или жеманной «Заирой» — это великое искусство. Даже наш сиволдай Сумароков «чистил» и «умывал» Шекспира и коснеющим языком *поправлял* «Гамлета», исправляя «штиль» и истребляя «грубости».

И вдруг — «уши отложило», сначала великому Гёте, потом немецким романтикам, потом и нашим Пушкину, Мочалову, даже гостинодворцу Николаю Полевому,— и пудра рассыпалась, камзол из шелка сгнил в кладовой, «Заира» перешла на уроки французского языка в институт для благородных девиц, а Шекспир стал всем «слышен» и всеми признан. Почему? Отчего это случилось? Никто не знает.

Почему на Лескова в 60—70-х годах всем решительно «уши заложило», и еще в 1913 г., когда я писал о нем и читал в Философском обществе, выходило, что я открывал если не Америку, то какой-то из Антильских островов. <...> Уши «не заложенные» тогда были у горсточки людей: у Николая Карловича, еще у немногих. А теперь — смотрите, что пишут! Изящному Тургеневу приходится уступать насиженное «классическое» место грубияну Николаю Семеновичу. Видно, *что*-то начинает «отлагать уши» всеобщие. Что же именно? что? Молчание.

С Тютчевым та же история.

Полное «заложение ушей» с 20-х по 90-е годы. Чудовищно: он был современник Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Р.-Корсакова — и *никто* из них романсика плохонького не написал на его слова: «уши заложило». Чайковский написал 3, Кюи — 2. Но вот в 90-х годах первому уши «отложило» Вл. Соловьеву, и с его легкой руки пишут десятками все решительно. Туча произведений С. Танеева [2], Рахманинова, Черепнина [3], Катуара [4] и пр. и пр. Читают. Изучают. Исследуют. «Нива» дает в «приложении» (признак уже крайнего, всеобщего «отложения ушей»). Почему? Неизвестно.

Так и «музыка» и «не музыка».

То же в живописи: в XVIII веке — «уши отложены» на Левицкого, в XIX — на него «уши заложило», а в начале XX — опять «отложило». Может быть, придет время, и почему-то опять на него «заложит уши».

«Историки» — литературы ли, музыки ли, живописи ли — в сущности, ничего не знают, почему бывает это «отложение» и «заложением» ушей на создание искусства.

Наши окна — на улицу, тихую, поросшую травой. Окна с западу — трех квартир — двух верхних и одной нижней, в тупик, с забором, с гнилым хламьем, древесиной, мусором. Весною Ирина тосковала по работе полевой и вздумала убрать эту заваль и мусор, лежавший годы перед окнами трех квартир: в одной живет сапожник, в другой — туберкулезная безработная семья.

Выбрасывали мы, выносили заваль, копали землю,

навоз носили, огородили закоулок от кур. Много было труда. Купили семян, посеяли ячмень и овес. Никто ни слова. Как только посеяли, сапожница выпустила в закоулок кур — они перекопали все посеянное, поклевали ячмень. «Не хочу, чтобы было зелено!»

Но с грехом пополам вырос овес и немного жита. Укроп закачался желтыми своими головками-паутинками.

Туберкулезная безработная сказала: «Как хорошо! Зелень. А мы и не догадывались...»

Сапожничиха замолчала.

Дети потоптали ячмень.

Я вспомнил мамин обычай. Всегда у нее в божнице хранился пучок ржи нового урожая. <...>

> Прозрачный сумрак, блеск лампады,
> Кивот и крест, символ святой...[5]

и этот пучок ржи — в этом был глубокий, прекрасный смысл, в этом соединении хлеба насущного, земного с хлебом насущным, небесным. Что-то добро-языческое, древнее, влившееся, до неразъединимости, в православное, церковное.

И вот *это* вспомнилось, глядя на потоптанную нашу полоску ячменя и овса. Захотелось этого пучка на зиму.

Пошли мы в садик наш — и срезала Ариша ячменя и овса.

10.VIII

Животному иногда явно не хватает речи, человеку иногда явно не хватает молчания: хочется, чтобы первое могло говорить — столько накоплено в нем такого, для чего потребно слово, хочется, чтоб второй, наконец, замолчал — столько развеяно в нем словом, что нужно ему молчать, чтоб он мог вновь накопить сокровища внутри себя.

Газы прекрасного, как светильные газы, накопляются где-то подспудно под исторической почвой, под землей. Еле просачиваясь в воздух, они не видны, не ощутимы, хотя они есть и в воздухе, но в разреженном неуловимом виде. Катятся десятилетиями, веками,

по-прежнему невидимые. И вдруг мощно пробьются сквозь щель, и вдруг чья-то невидимая рука коснется их огнем: молнией сверху или случайной спичкой истории — и струя из щели вспыхнет ярким огнем, и огненный столп поднимется в воздух.

Таково явление Пушкина; таково его отношение к народной поэзии, к поэзии XVIII в., к поэзии его современников. Историки литературы и социологи прилежно ищут ту спичку, которая подожгла струю газа, как будто дело тут в спичке, а не в самом газе! как будто поджечь его не могла молния!

В 17—18 лет я был атеист. Мама никогда со мной не спорила на религиозные темы. Я — свое, она — свое. У меня — ломаная кривая, у нее — спокойная, глубокая прямая...

Помню: сидишь поздно ночью и читаешь «афеев»[6].

И вдруг донесется из столовой или из ее спальни обрывок, вздох, полслова, случайно неутаенный выплеск ее молитвы о тебе же, читающем Штирнера или Ницше...

Неприятно поморщишься, но с каким-то добрым уколом внутрь и углубишься в Штирнера. Но уж не так читается, как читалось, что-то не так. Будто ресницы чьи-то задрожали перед тобой. И догадываешься, о чем их дрожь, и не хочешь догадаться. И как будто чего-то или кого-то стыдно.

Ляжешь спать. Засыпаешь под полувздох ее же и о том же: «Спаси! Вразуми!» Перед огромным темным Спасом.

Можно считать пропавшими все эти вздохи и обрывки. Где им справиться со Штирнером или Ницше?

Но нет... Обрывки всплыли к 24—25 годам моей жизни, всплыли в душе, уме, совести — и, право, не разгибал я с тех пор Штирнера, а вот обрывки и вздохи помню, помню.

1.IX

Пушкин писал в 1833 году: «Петербургские журналы судят о литературе как о музыке, о музыке как о политической экономии, т. е. наобум...»

Что бы он сказал теперь, когда *все,* а не только петербургские журналы судят о литературе, и о музыке, и обо всем, как о политической экономии?..

11 лет тому назад в этот день я был на именинах у Василия Васильевича в Посаде.

Мы пришли утром, после обедни, с Флоренским. В нижней столовой накрыт был стол. Стояли шкапы, набитые книгами. Фолианты из Возрождения. Платон по-гречески. *Еще* была скатерть на столе, *еще* был кофе — настоящий, черный, со сливками, *еще* были сухарики, печение в сухарнице, *еще* было все... но уже напоследях *все*... Мы тихо сидели и беседовали с Варварой Дмитриевной[7]. Василия Васильевича все не было. В. Дм. кипятила кофе (медный «тумпаковый» кофейник) на синих зубчиках горящего спирта и беспокоилась, что нет именинника...

...Наконец, пришел Вас. Вас. Он был свежий, с морозца, маленький, сухонький, потирал посиневшие ручки с жилками,— и пришел приветливо-задумчивый, со следами какого-то сильного, только что пережитого, но еще не до конца освоенного впечатления...

Стали пить кофе. <...>

...И над кофеем стал рассказывать...

Он был в соборе, в Троицком, у обедни. Служил архиепископ Никон (тот, что писался с i: Нiкон, издавал «Троицкие листки», написал Житие преп. Сергия и воевал на Афоне с имяславцами[8]). Он был невысокого роста, рыжий, невзрачный, подслеповатый, с незвучным, щелястым голосом. Старик.

— Я его не любил,— говорил Вас. Вас.— Синод. Прямолинейный правовер. Дуролом.

И вдруг оказалось — в этот именинный день — этот «дуролом» служил с такою строгою сосредоточенностью, с такою чистою и прямою погруженностью в таинство своей веры, что Вас. Вас. в толпе народа не сводил с него глаз и не заметил, как простоял долгую архиерейскую службу с длинным новогодним молебном...

— Я шел и думал: вот он сделал свое дело. Он старик, и он всю жизнь твердо стоял на том, что считал истиной. Твердо, прямо, упорно. Ему не в чем упрекнуть себя перед своей родиной и верой. А я?.. И мне за-

хотелось пойти к нему и поцеловать его старую жилистую руку. Молча. Что я скажу ему? Разве как Бобчинский: «Жил был Василий Васильевич Бобчинский в Петербурге», и прибавить: «пописывал и все прозевал...»

Мы все были поражены рассказом. Ведь это был его «враг» — они говорили один о другом: «дуролом» — «ересиарх»...

Но удивление было еще удивленней, когда В. В. признался, что писал ему, строгому и сухому архиерею, синодалу, и получал ответы...

Где это теперь все? И письма и ответы.

...Пили кофе. Фл. был холодно, отсутствующе задумчив. А В. В. грустен, с теплотою скрытой слезы грустен... Кофе в последний раз был черен и жирен и в последний раз с сахаром.

Впереди были сахарин, голод, лепешки из жмыха с кострикой, холод, смерть.

Нікон умер, кажется, 30 декабря 1918 г. Вовремя.

Вас. Вас. через несколько дней. В январе 1919 г. Еще более вовремя.

Я читал как-то Тютчева — и задумался над страницей...

Если б я занимался «общественными», «политическими» и иными, всех занимающими делами, если б хоть случайно не выпадало мне на долю уединения и тишины, я *никогда бы* не вчитался в Тютчева, не вчитался бы — не узнал его,— не узнал его — не узнал бы через него той «гармонии в стихийных спорах», той звездной бездны мудрого ведения о природе, человеке, бытии, которое «сквозит и тайно светит» в каждой его строфе и стихе,— не узнал бы... и насколько же я стал бы беднее, бездольнее в жизни!..

А есть тысячи и миллионы людей, которых Тютчев не остановил ни на миг в их жизненном пути.

Что Тютчев! Их не остановило на минуту то, что только «сквозило и тайно светило» через Тютчева и что пылает в бытии: Бог, вечность, космос, природа, человек, душа! Отчего?

Они заняты были изо дня в день, из часа в час унылым трудом житья-бытья. На этот унылый труд: есть, пить, спать, доставать хлеб, навалить еще труды

общественных дел, чтения, переустройств, политики, иссушающей лженауки — спланхнологии (от греч. splanchna — внутренности и ...логия; учение о внутренних органах.— *Е. Л.*) и еще каких-нибудь логий — да это безумие, сущее безумие, памятуя, что и жить-то всего на свете лет 40 (сознательных), а там или ничего, или — Неведомое «Что-то», во всяком случае, нисколько не сходствующее с тем земным мигом, который дан нам. И этот миг истратить на спланхнологию, на «реформу избирательного права», на «кооперирование Пропадинского округа»!

...Нет!

— Я в *этот* миг — или подготовлюсь к тому необъятному ВЕЧНОМУ, которое стелется передо мною за этим мигом, отправной для меня точкой, начинающей мое возможное шествие по этому Вечному, или, если за этим мигом — Ничто, то этот миг — эти 40 лет — для меня все *мое* богатство — мое, единственное мое! И я в этот миг, коли дан мне всего на все миг, «упьюсь гармонией» Баха и Моцарта, «обольюсь слезой» над «вымыслом» Тютчева и Пушкина, насмотрюсь на Рафаэля и Праксителя, наслушаюсь средиземного прибоя или тихого перепева берез где-нибудь в Калужской губернии,— ибо *ничего, ничего* не будет в черной яме, куда я упаду падалью павшей.

Иными словами: или этический — или эстетический, иных нет ответов на вопросы, заданные «мигом». А все другие — ложь и обман: и спланхнология и кооперация...

18.I

Будет «стандарт» мысли. Шума, противоборства мысли, одновременных умыслительных ручьев, рек, потоков не будет — как, например, были, мыслили и творили одновременно в 60-х годах Л. Толстой — Достоевский — Тютчев — Фет — Чернышевский — К. Леонтьев — Писарев — Катков — Ап. Григорьев — И. Аксаков — Победоносцев — Страхов — Лесков — Тургенев — митр. Филарет — Никанор Одесский — Костомаров — С. Соловьев — кн. П. Вяземский и т. д. $n+1$ мыслительных противочувствий, противоборств,— $n+1$ ручьев, рек, потоков, бассейнов с различными водоразделами, устьями, морями впадений —

этого не будет, а будет — равнина с одним увалом, с которого все реки и ручьи будут течь параллельно в одно и то же замкнутое озеро без бурь и без глубины... Будет «тихо» и гладко с мыслью. «Стандартный» формат и объем мысли, обеспечивающий «тишину» и «гладь» стока ее в одну сторону, в один неглубокий, безвыходный водоем, тепленький и пахнущий гнильцой.

Но зато как будет шуметь жизнь! всеми механическими «стандартными» шумами!

Шум мешает мысли, а история делается, да и география! — все шумнее и шумнее. Из мира исчезает тишина. Отлетает к звездам. Я помню Москву еще тихой, тихой.

В ней жили и мыслили тогда же Л. Толстой, Вл. Соловьев, писал Чехов, читал в университете Ключевский, играла Ермолова, но было тихо, тихо. Это огромное *содержание* жизни, кипевшее в их мысли и творческом деле, не требовало шума. Наоборот: в шуме оно было бы невозможно. Оно требовало тишины.

«Мчались омнибусы, кэбы и автомобили» — это в Москве *1904 года* москвич Брюсов мог сказать о Лондоне. О Москве этого никак, даже по «Бедэкеру», нельзя было сказать. Верхарна можно было переводить, но Верхарном Москвы еще нельзя было быть. А через 20 лет, в 1924 г., уже можно было быть Верхарном того города, который продолжал называться Москвой. (Правда, Верхарнов не появилось, а всего только Маяковские, но зато они были шумнее 10 Верхарнов.)

По Москве Л. Толстого и Вл. Соловьева ехали и брели, делали свое лошадиное дело тихие, медлительные сивки и стремительные, но тоже тихие рысаки. <...> Природа обладает аристократическими ушами: она не выносит шуму. Оттого она любит обращать города в пустыни и много шумящие кучки людей недолго терпит на своем молчаливом лоне: многошумевшим кучкам — Вавилонам, Фивам, Ниневиям она дала пошуметь крошечные уповодки времени — кому тысячу, кому две — лет, и накрыла навсегда их покрывалом тишины. <...>

Новый «транспорт» — железные дороги, автомобили, автобусы, трамваи — шумны по природе. У истории стал «шумный транспорт».

С неба прежде — века веков — веяло на человека тишиной. Как бы ни шумела история, как бы ни вопили народы, как бы ни гремели битвы — с неба веяло тишиной. <...> Только «шум Господней непогоды» (А. Толстой) нарушал эту тишину неба. <...> Противоположность рушащегося человеческого шума — шума истории — и нерушимой тишины неба была одним из драгоценных сокровищ человеческого сознания, одним из неиссякаемых источников человеческого успокоения и углубления бытия в себе. Недаром Лермонтов, чья *биография* так шумна, а *душа* так тиха,— на поле битвы:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. н е б о я с н о,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?» [9]

Теперь нельзя уже так думать, глядя на небо, как думали князь Андрей и Лермонтов. <...> Теперь с неба — шум: отвратительное ерзанье и назойливое цокотанье аэропланов и дирижаблей... Теперь небо пронзено острием суеты, молвой паутин радио.

Прежде, ну, в городе была суета и шум ($^{1}/_{1000}$ современной), но выйдешь в поле —

Там вековая тишина.

Теперь и в поле нет ее — не только вековой, но и суточной: с неба цокочут аэропланы, пролетающие из Берлина в Москву над смоленскими полями. На земле, на ниве уж не слышится тихое понукание пахаря:

Ну, тащися, сивка!

Теперь и в полях — завелся грубый шум трактора, визг и копоть машин... <...>

Все шумнеет и все теряет какой-то стержень, тишиною связующий с корнем бытия.

Великое в шуме не родится.

Недаром великая вера выходила из пустыни, из молчания неба и земли, обрученных в союз тайны. Недаром научные открытия выходили из тишины лабораторий и кабинетов. Недаром все *великое* в русской литературе — все из тишины полей и усадеб: Толстой, Тютчев, Фет, Тургенев, Боратынский, и сам Пушкин

делался наипаче Пушкиным не тогда, когда «шумел» в Петербурге и Москве, а когда «тишал» в степях Бессарабии, в полях Михайловского и Болдина. Оттуда, из «тишины», из веков вышли «Цыганы», «Онегин», «Годунов», «Моцарт».

«Тишина» дала Пушкиных, а шум дает Маяковских. <...>

А какое богатство в русском языке слов для «тишины» и всех ее явлений — значит, тут было богатство в онтологическом восприятии русским народом «тихого места мира и человека».

Тишина.

Тишь. Затишье.

Оттишь (Олонецкий край: на озере).

Тихость (в человеке, в душе, добротное свойство, как кротость, доброта и т. п.).

Тихмень (о погоде: «тихость» *природы* — безветренность, безбурность).

Тихий —

а рядом с минусом: тихоня — лже-тихий, лукаво-тихий и т. д.

А наречия: «тихо», «тихонько», «тихенько», «тихохонько» («я тихохонько пою: «баю, баюшки, баю» — Сологуб), «тихомолком», «тишком» (лже-тихо), «исподтишка» (злостно-тихо) и др. Само имя Тихон для русского человека не «счастливый», а тихий, и тот, кто по характеру своему и действиям шумен, а не тих, про того, как про недостойного своего имени, говорят с укором: «Тихон... с того света спихан!»

Какая красота в слове *тишайший!*

ТЕТРАДЬ XIII

1929 г. 10 мая — 1930 г.

Конечно, я — счастливый.

В Толстом я встретил — мудрость, в Василии Васильевиче — мысль и страсть мысли, в Метнере — «гения чистой красоты», в отце Анатолии — праведность, и мать моя была само Материнство...

Да, не только — «*мысль* изреченная есть ложь» [1],— «*Жизнь* изреченная есть ложь!» Лжа лжей!

Но *вся* ли жизнь *изречена* до конца? и изрекается ли до конца? Как люблю я мысль — и жизнь также — полуизреченную... В полуизреченной нет лжи, или, на строгий учет, половина лжи. Того довольно.

«Был человек, С. Н. Д., уже и тогда поддерживавший меня своим одобрением.

Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью».

(«Звезда», № 8. 1929 г. Б. Пастернак. «Охранная грамота».)

<...> Есть экземпляр сборника «Лирика» (М., 1913 г.). В нем стихи С. Раевского[2], Н. Асеева, Б. Пастернака. На отделе «Б. Пастернак» надпись: «Сереже, который и привел меня сюда» (не точно, но смысл тот). Этот Сережа — я. Асеева привел в «Лирику» Бобров[3]. Стихи Бори приняли в «Лирику», «морщась»: «морщились» Ю. Анисимов — добродушно и с полупохвалой, мало добродушно — В. Станевич[4], равнодушно — А. Сидоров. Бобров — «снисходил». Асеев — не знаю. <...> Борис в «Мусагете» не участвовал. В 1912—1913 г., в зиму эту, прочел у Крахта, в «молодом» «Мусагете», реферат «Лирика и бессмертие», на котором был Э. Метнер. «В общем и целом» — никто ничего не понял, и на меня посмотрели капельку косо (я устроил чтение): «Борис Леонидыч-де, конечно, очень культурный человек, и в Меербурге живал, но... но все-таки при чем тут «лирика и бессмертие»? Было и действительно что-то очень сложно: перекиданы какие-то неокантианские мостки от «лирики» к «бессмертию», и по этим хрупким мосткам Боря шагал с краской на лице от величайшего смущения, с надменным «лирическим волнением», несомненно — *своим,* пастернаковским, но шагал походкой гносеологизирующего Андрея Белого, заслушавшегося «Поэмы экстаза» Скрябина. <...> Не помню «прений». Да и были ли они? Если и были, то «кто-то что-то сказал», не более. И реферат был очень длинен. С перерывом.

Так *узнала* впервые Пастернака группа людей из «старого» «Мусагета» и «молодой» «Мусагет». Стихов же Бори и даже того, что он их пишет, решительно никто не знал до «Лирики». Он никогда и нигде их не читал.

И в его семье — «стихи» были под «подозрением», и никто не придавал им никакого значения.

Я встретился с ним в 1908 г., когда он был еще гимназистом 5-й гимназии (вполне «классической» с греческим языком), но уже старшего класса. И впервые Борины стихи открылись мне вовсе не как стихи. Отец его — художник, мать — пианистка. Будущее Бори — всей семье и знакомым — мерекалось где-то там или тут. В детстве он рисовал. Рисунков его я никогда не видал. В 1908 г. он играл на рояле и сочинял для рояля, занимаясь теорией музыки, кажется с Ю. Д. Энгелем. Скрябин бывал у Пастернаков, и Боря много с ним беседовал. Бывал часто и Ю. Д. Энгель.

В 1909 г. было у Б. страстное увлечение Скрябиным. В начале этого года произошло событие: одно из симфонических собраний Русского музыкального общества было всецело посвящено Скрябину. Он только что вернулся из-за границы в Россию и играл свою сонату в этом концерте, где впервые был сыгран его «Экстаз».

На репетиции Энгель подошел к Боре и сказал про «Поэму экстаза»:

— Это конец музыки.

— Это начало музыки.

Мы слушали Скрябина запоем, бродили после концерта по Москве, очумелые, оскрябиненные. Боря провожал меня из Благородного собрания на Переведеновку. После концерта на Бориса «находило». Это было какое-то лирическое исступление, бесконечное томление: лирические дрожжи бродили в нем, мучили его, но поднимали — как теперь ясно — не музыкальное, а поэтически словесное тесто.

Однажды в кафе у Мясницких ворот мы сидели за столиком, заказывали кофе кто по-каковски: «по-варшавски», «по-венски», так, сяк. Борис же был в «лирическом отсутствии», и когда лакей настоятельно нагнулся над ним, ожидая его указания, как подать ему кофе, Борис отвечал что-то вроде:

— А мне по-меербургски.

Лакей был ввержен в великое недоумение и подал кофе неизвестно по-каковски, а Борис глотал кофе с ложечки, жегся и, вероятно, плохо разбирал, что он пьет — кофе, бенедиктин или содовую воду. Он был совершенно трезв, но лирически-хмелен.

Но до «Лирики», до 1912 г. все, кто знал Бориса, знали что он будет музыкантом, композитором... Мать радовалась. Выходило: преемство от нее. Мы не пропускали с ним ни одного симфонического концерта. Был у него запой Никишем [5] (отец писал «Никиша»), Вюльнером [6] (кажется, знаменитый декламатор. Декламировал «Манфред» Шумана), концертами Кусевицкого [7] — и Скрябин, Скрябин!

Мы часто бродили с ним по улицам. Однажды он пришел ко мне в тоске. Мы забрели в Сокольники. Он испытывал приступы кружащей, шатающей из стороны в сторону тоски. Скрябинское томление было по нем. Он носил его в себе и оттого так любил Скрябина, как человека и композитора. Он писал мне длинные письма, исполненные тоскующей мятежности, какого-то одоления несбыточностью, несказанностью, заранее объявленной невозможностью лирического исхода в мир, в бытие, в восторг, каким-то юным отчаянием. Это бросался ему в голову лирический хмель, искавший слова. Вячеслав Иванов сказал бы, что он одержим Дионисом. И это было бы верно.

И вот в Сокольниках однажды среди древних сосен он остановил меня и сказал:

— Смотрите, Сережа: кит заплыл на закат и отяжелел на мели сосен...

Это было сказано про огромное тяжелое облако.

— Кит дышит, умирая на верхушках сосен.

И через минуту, куда-то вглядевшись:

— Нет, это не то!..

Образ за образом потекли из его души. Все в разрыве, все кусками, дробью, взлетами.

И в другой раз, с мукой и тоской, воскликнул он, оскалив белые зубы, как у негра:

— Мир — это музыка, к которой надо найти слова. Надо найти слова!

Я остановился от удивления. Музыкант должен был бы сказать как раз наоборот: мир это слова, к которым надо написать музыку, но поэт должен был бы сказать именно так, как сказал Боря. А считалось, что он — музыкант.

Я эти слова запомнил навсегда. И «кит» в Сокольниках стал мне ясен: это была попытка найти слова — свои слова! — к тихому плаванью облаков, к музыке предвечерней сосен, металлически чисто и грустно

шумящих, перешумливающихся друг с другом на закате.

В 1910 г. Борис жил летом один в квартире отца, в здании училища Живописи. Он давал уроки и вообще был предоставлен сам себе. Был конец мая. Зной. (Помню, мы сидели с ним на подоконнике, на 4-м этаже, и смотрели сквозь раскрытое окно на Мясницкую. Она шумела по-летнему — гремящим зноем мостовых под синим плавленым небом.) Борис стал рассказывать мне сюжет своего произведения и читать оттуда куски и фразы, отрывки, набросанные на путаных листочках. Они казались осколками каких-то ненаписанных симфоний А. Белого, но с большей тревогой, с большей мужественностью! Белый — женствен. Борис — мужествен.

Герой звался — Реликвимини.

Герой был странен не менее своей фамилии, а фамилия — ею особенно доволен был Борис — была классическая: прямо из 5-й гимназии. Есть такой неприятный для гимназистов «неправильный глагол» из [неразб.], если спрягать это «relinqure», то второе лицо множественного числа настоящего времени будет reliquimini. У Бориса был тогда уже — *до* всяких футуристов (футуристы посыпались в 1913 г.) — особый вкус к «заумным» звучаньям и словам, и я думаю, ему было приятно, что его герой не только страдает, но и спрягается. Другой герой был чуть ли не Александр Македонский. Реликвимини бродил по улицам и таял на закате и искал китов, осевших грузно на иглах сокольнических сосен. В сущности, в этих отрывках — как и теперь в повестях его и рассказах — никакого «героя» не было: был Боря Пастернак. И «Реликвимини» сливался для меня с письмами ко мне: такими же «словами» к невидимой музыке, заслышанной Борисом. (Где эти письма? «В тревоге пестрой и бесплодной» моей жизни, верно, не уцелели.) Помню, меня поразила тогда одна сцена в этом хаосе «Реликвимини». Реликвимини идет по Никольской. Угол Казанского собора. Весна, но он не замечает весны. Тепло и солнечно, но у него в душе не тепло и не солнечно, а, может быть, месячно, а может, ветрено, а может быть, тучно. Шумит улица, вливаясь в площадь. Реликвимини бредет, опустив голову. И вдруг — на сером асфальте тротуара видит маленькую живую зеленую ящери-

цу; она — как живой изумруд, с алмазными гранями,— извивается, шевелит хвостиком, змеится, ящерится, и солнце перебирает лучами ее алмазы и изумруды... И Реликвимини увидал по ящерице, что весна: он солнце увидел на ее спинке — и поднял голову:

— Весна!

А ящерицу пускал по тротуару на бечеве мальчишка, продавец игрушек. Ящерица была из жести и крашена зеленью и стоила гривенник...

Весна по ящерице... — меня поразили тогда в отрывке Бориса, и я ему сказал, что ничего не знаю, что будет у него дальше и что он сделает, но что это — прекрасно: это поэзия, это прямо и просто — поэзия, как кусочек золота. Прямо и просто — кусочек золота.

Вот об этом-то Б. Пастернак в 1928 г. и пишет: «Был человек, С. Н. Д., уже и тогда поддерживавший меня своим одобрением».

Это правда.

Правда, пожалуй, и то, что человек этот тогда был один.

Я не знаю, кому читал еще Борис тогда (в 1909—1911 гг.) свои отрывки — сначала прозаические: «Реликвимини» был в прозе, потом стихотворные, и читал ли он их: думаю — нет (а, м. б., Иде Высоцкой, в которую был влюблен: он давал ей уроки и меня вовлек в это дело), но когда дома у Пастернаков узналось, что Боря что-то пишет, а музыку забрасывает, там было большое неудовольствие. К 1911 г., когда мы сидели на подоконнике, оно вполне определилось. Папá-Пастернак был недоволен, мамá-Пастернак — недовольна. Был совершенно в стороне от «писательства» Бори и его единственный брат, положительный и примерный Шура (ныне архитектор, а тогда гимназист 5-й гимназии, игравший Антигону по-гречески в трагедии Софокла в гимназическом спектакле). Ю. Д. Энгель, друг семьи, печально сетовал, что Боря оставляет музыку, и явно не верил в Борины «опыты». Не в 1910-м, а в 1917 году — через семь лет! — другой друг семьи Пастернаков, П. Д. Эттингер[8], встретившись со мной у Сидорова, сокрушенно качал головой:

— А Боря-то, Боря-то! Все пишет.

Интонация продолжает: футуристическую чепуху. Я молчу.

— Вы понимаете, что он пишет?

Интонация продолжает: невозможно понять.

— А какие надежды подавал! Скрябин говорил, что...

Разумеется: Скрябин говорил, что из Бори выйдет замечательный композитор. Скрябин, несомненно, это и говорил.

Обрывков, отрывков, кусков Борис читал мне много. Я никогда не удовлетворялся ни одним из них, а всегда верил, что...

Приведу разговор с Ю. Анисимовым.

ОН: Боря не умеет свести строки в стихотворение. У него — гипертрофия образов. У него Хаос.

Я: Хаос. Но он ищет совершеннейшего образа. Он космос своей поэзии, что и есть собственно поэзия, хочет строить из хаоса. Это как в мироздании:

Из хаоса родилась — гляди, гляди: Звезда!

А мы строим свои космосики, но под ними никакого «хаоса не шевелится»...

Я верил в то, что поэзия Бориса будет космична (по-гречески космос — и мир, и украшение), и хаос выльется в золото звезды. Это не совершилось и поныне.

И золото звезды все еще в расплавленных частицах носится в массах туманных хаоса в колеблющемся эфире.

Но ради золотых, подлинно золотых частиц, носимых хаосом, я любил и куски этого хаоса — и настоял, чтобы Борис напечатал в «Лирике». Это правда, что я его туда привел и приткнул.

В 1927 г. встретился я с ним после 5-летнего невстречания, на концерте Н. К. Метнера, и он мне в первом же слове сказал:

— Сережа, ведь вы привели меня в литературу.

Это были слова — благодарность человека, который рад, что он там, где он есть теперь, ибо там — настоящее его место.

И *это* же он *напечатал теперь.*

Так немногие, почти никто, теперь не сделает.

А повести его я не читал еще, № 8 «Звезды» не видел и знаю только то, что выписал из двух писем.

Но как дорога мне эта память, эта любовь, эта — благодарность с открытым забралом!

Надо бы написать «историю непрочтенной русской литературы».

В. Одоевский, К. Павлова [9], А. Григорьев [10], К. Леонтьев, Случевский, Кохановская [11]... и сколько еще!

Как тень отца Гамлета явится *эта литература* когда-нибудь к историку литературы и скажет: — Отмсти за меня! <...>

Воскрешение «отца Гамлета» началось было в начале десятых годов XX ст[олетия]: Блок, Княжнин, Садовник [12] сняли могильную плиту с Ап. Григорьева, Брюсов — с К. Павловой начали было приподнимать чугунные плиты с Леонтьева (9 томов сочинений), с Одоевского («Русские ночи»).

...А потом... Плиты, правда, разбили, но воткнули в могилы здоровенные осиновые колья. И «тень отца Гамлета» бродит по-прежнему, но Гамлет, сын, далеко, далеко... Да и вернется ли он когда-нибудь? Жив ли он?

У Шекспира в трагедии ведь кончилось все гибелью. Только у Сумарокова, в переделке, Гамлет пошел «явить себя в народе».

16 января 1930 г.

И новый год прошел, и зима умягчилась, и болел я непрерывно больше месяца — и ничего не писал.

Блаженны непишущие, но живущие! Но *жил* ли я? Как я неисправен: я не записал даже самое радостное, что было в прошлом году — встречу с Г. С. Виноградовым [13].

Все думал: вот запишу, вот запишу подробно, любовно! И не записал.

Приехал человек из Иркутска, чтобы сказать: я вас люблю, я вас читал давно и любовно, у меня есть 10 дней, которые я проведу с вами. Пойдемте в фотографию. Снимитесь, сделайте мне радость.

Каждый день приходил в 2—3 часа и уходил в 8—9 — были тихие беседы.

Крестьянин. Сибиряк. С инородческой, вероятно, примесью крови. И нежность и тонкость Ивана Киреевского! [14]

Но я не умею об этом писать. О самом важном, существенном, о чем следовало бы писать, не умею. <...>

Превосходный этнограф. Лучший в России знаток детского фольклора. И скромность семинариста давних, до «добролюбовских» лет... Биография удивительна: крестьянин. Мать неграмотная (жива и доселе). Ученье в Иркутской семинарии. «Идеи». Пять решительных шагов по протоптанной тропе Чернышевских и прочих «семинаристов-критиков». Петербургский университет. Естественный факультет. Биология у Метальникова. «Лягушка», классическая, всесеминарская писарево-чернышевская лягушка (в буквальном смысле слова). И вот чудо... от лягушки. Он делал какие-то опыты с жабой. Жабу медленно — для «пользы науки» — умерщвлял. А она была еще жива, и вдруг так посмотрела на него огромными, страдальческими глазами, очеловечившимися через неимоверное страдание, так посмотрела, с таким упреком и вопросом: «зачем?» — что перевернула ему всю душу. Докончил ли, нет ли он свой «эксперимент» с нею, но на другой же день заявил Метальникову, что уходит с «естественного факультета». И под смех ученых и учащихся глупцов ушел. Обратился к противоположному — к этнографии, как изучению живого бытования живого человека на земле, обратился с «безмерной нежностью», с тишайшей и прочнейшей любовью и выбрал «нежнейшее» для работы — *детей*. Работы его прекрасны; язык у него — язык Лескова и Достоевского, когда они пишут о детях.

И все мои заветные темы — няня, смерть, игры детские — все у него в душе и мысли.

Лекции в Иркутском университете и издание «Сибирской старины». Верней, теперь уж он в стороне и от того, и от другого.

Знакомство наше началось чудом.

От В. И. Харузиной он слышал, что я занимаюсь считалками. У него печатались статьи о них. Будучи в Новосибирске, в редакции «Сибирской энциклопедии», он с пола, случайно, поднял бумажку, на ней был мой адрес. Тогда он послал мне оттиск со считалками. Я написал ему. Он ответил, прося прощения, что печатно предварил меня в теме. Пошла переписка. Он оказался давнишним любителем и собирателем моих писаний. Он трогательно «устраивал» в «Сиб[ирской] жив[ой] старине» моего Сурикова. Не устроилось. Не

устроитель он, а строитель подлинной жизни и науки, строитель со строем веры отцов в душе и мысли.

Какая радость были его 10 дней здесь!

I. 3 июля. День иноческих именин старца иеросхимонаха Анатолия (мирские именины были 30 августа — Александра Невского). Восемь лет нет его на земле. И как много «нет» вмещается в это одно «нет»... <...>

И какое тем не менее ЕСТЬ, великое ЕСТЬ сияет из всех этих «нет», личных моих и не-личных!

Смотрю на его фотографию, снятую Колей [15] за две недели до его смерти (30.VII.1922 г.). Простое русское (конечно, велико-русское) старческое лицо — из крестьян, из мещан (он и был московский мещанин), из ремесленников, с негустой бородой, никогда, видно, не подстригаемой, с реденькими уже волосами (они до плеч, и только это и делает лицо не-мирским). Руки корявые, рабочие, натруженные, с большими, ревматическими суставами, все в жилках, в крупных, буграстых, рабочих жилках. Если близко, близко вглядеться и пристально притом, в лицо — оно даже строго: глубокая, изведанная опытом многих тысяч сердец и душ грусть залегла в складках (поперечных) между бровями и в трудной напряженности бровей. Глаза из-под покорных им, не затемняющих и не заграждающих их век, глаза пристальны, зорки и даже строги — не укоряющие, а горестно-строгие, видящие глаза, и видящие то, что неизбежно видеть на земле: безумие и горести, достойную жесточь человеческую. Губы сомкнуты под седыми широкими усами, почти не видны, но и в их замкнутости — строгость, и та же — горестная. Во всем лице и в каждой черте его — она одна — она да зоркость, провидящая, исполненная великой грусти.

Таково лицо единого наследника «старца Зосимы» (он был 8 лет ближайшим келейником у «старца Зосимы» — у старца Амвросия, собеседника Достоевского, Толстого, Вл. Соловьева, руководителя К. Леонтьева), но таково оно, если наклониться над ним и впереться взором в его черты.

Стоит только отойти на немного от него, стоит только глянуть на него, как глядят на всякое живое лицо при живой встрече или беседе, как смотрели на

него те десятки (наверное, и сотни) тысяч людей, больших и малых, которые прошли перед ним за годы его старчества — стоит только так посмотреть на его лицо, как увидишь в нем ласкающую, переливающуюся на солнце радость вечного детства, веселой и все сердце веселящей мудрости, которая так легка и светла... <...> Все сплошь оно — улыбка, все сплошь оно — привет, все сплошь оно — облегчение каждому, кто посмотрит на него.

Я помню поразительный и труднейший экзамен, который выдержало это лицо у требовательнейшего и жестокого экзаменатора. Это было в 18-м году, под Крещенье, в Посаде. Мы сидели в каморке-комнатушке у Георгия Хрисанфовича[16]. <...> На столе стоял портрет о. Анатолия, в убогой рамочке, обычный портрет в рост (стало быть, лицо маленькое), продававшийся в оптинской лавке, и не очень удачный, и напечатанный «так себе». Мы пришли от всенощной из приходской церкви, а в Лавре еще гудел торжественный, превосходный полный звон. <...>

Мы молчали, и вот в это время вошел с Таней[17] (кажется, с ней) Василий Васильевич, маленький, щуплый, замерзший... <...> ...и сразу, не поздоровавшись, с порога:

— Какая ночь! Звезды! Какие звезды! Халдеи, египтяне, арабы молились бы им, подняв к небу лицо, а *они* (с ненавистью он писал тогда свои злые последние книжечки-выпуски; прерывался голос от вражды)... а они преют в тесноте, в духоте, под сводами, потеют, свечи коптят, жарища, дышать нечем, каплет ярым воском сверху, ревут, как коровы, дымят угарными кадилами, глушат звоном... (задохся, протирает глаза неслушающимися, корявыми от мороза руками)... дуроломы!

<...> Он раздет Таней, глаза протерты платком, платок в кулачке, кулачок — на «дуроломов» — они все звонят! Злые глазки (глазки Шуйского, разыскивающие Самозванца) пробежали раз по комнатушке, столу Георгия Хрисанфовича... и вдруг:

— Какое лицо!

Он остановился перед портретом в убогой рамочке. Портрет словно тянул его к себе. Он сделал шаг, взял портрет со стола (мы молчали), поднес к глазам, опять отдалил, не выпуская из руки, опять приблизил.

— Какое лицо!

Рука поставила на стол, глаза держали перед собою. И вдруг обернулся к нам и требовательно, смешно до капризности, потребовал:

— Кто это? Кто это? Кто это?

Помнится, Сережа (Ф.) или Коля, кто-то из мальчиков, бросился отвечать, и даже начал что-то, что, доконченное, было бы по смыслу: «Кто? А один из тех дуроломов, которые...» Но Мокринский прервал, не дав дойти до «дуролома» и ответил с той ласковою и строгою спокойностью, которая была свойственна ему в последние годы его жизни:

— Оптинский старец иеромонах Анатолий.

<...> Может быть, кто-нибудь из нас и сказал бы еще что-нибудь, но В. В. круто и быстро отвернулся к столу, опять взял в руки портрет и опять — в глубокой задумчивости — повторил:

— Какое лицо!

<...> И всегда «выдерживает экзамен признания» это простое старческое лицо, кто бы ни глядел на него. <...> А лицо самое простое, каких тысячи тысяч на русской земле,— обычнейшее по физическому своему типу, по «антропологии» своей, но столь обильное, столь насыщенное тем,

Что сквозит и тайно светит
В наготе своей смиренной,

столь явно прикрытое «ризой чистой Христа» (выражение Тютчева), что красота эта светит не тайно всем и никем не может быть не замечена.

Я много раз, в разные годы и в разные времена видел это лицо — наедине, в келье, в алтаре, при народе, плещущем в эту келью своим горем и грехом, при монахах, открывающих ему свои помышления, в благодатные часы таинств и молитвы, в острейшие моменты тревоги за судьбу монастыря, и *никогда* не видел его ни иным, чем в просвечивании «тайно светящего» в нем света невечернего. <...>

II. <...> В о. Анатолии (как и в его старце и учителе — Амвросии и в других, им подобных) поражала насущнейшая *нужность* его для всякого. Я не встречал человека, которому бы, встретясь с ним, о. Анатолий оказался не нужен, излишен, беспотребен, кому бы он был обходим. <...> Круг «нужности» о. Ана-

толия поистине был огромен: от убожейшей калужской бабы, от козельского «дурачка» без штанов до утонченнейшего интеллигента, изломаннейшего поэта, государственного лица или особы наиверхнего этажа. <...> Я видел нужность о. Анатолия бесконечным потокам народного моря, плескавшим в Оптину в годы войны мутным, вспененным, недобрым зачастую потоком. Я видел у о. Анатолия толстовцев, «добролюбовцев», теософов, вольнодумцев, революционеров — и у каждого оказывалась с ним точка подлинной, разнообъемной, но одинаково действительной нужности. <...>

Не нужно было быть ни русским, ни православным, ни верующим, ни неверующим, чтобы прийти к нему. <...>

Говоря так, я не хочу сказать, что всякий, кому был нужен о. Анатолий, делался <...> православным, как только приблизился к старцу. Нет, толстовец и дальше так оставался толстовцем, невер — невером, теософ — теософом, но уже оставался он не совсем тот, что был до встречи с о. Анатолием: оставался, непременно *заняв* нечто от него, непременно соединившись с ним, хоть ненадолго, но не бесследно, в чем-то первично-нужном и важном. Этому «нечто» и «чему-то» очень простое имя — любовь. <...>

III. Он никогда и никому, сколько знаю, не приказывал и не повелевал никем, хотя знаю десятки людей, только и желавших, чтоб он приказывал им и повелевал им. Я сам был одним из них долгие годы. Вероятно, если б сказать ему, что он высоко ценит свободу человеческую и свободное деяние человека, он засуетился бы, замял бы разговор с детскою стеснительностью, с улыбкой пощады и даже вины какой-то. А он действительно ценил эту свободу. <...> Он был щедр на терпенье, обилен верою в пышное процветание душ и сердец жизнью и правдой. И его радовал всякий слабый, еле приметный, но свободный росток добра в самой заскорузлой, непаханой душе, не желающей никакого удобрения и ничьей пахоты. Где свобода, там и борьба. От этой благой борьбы он не избавлял тех, в силы коих верил. <...>

Ужасно трудно об этом писать: нет труднее темы — свобода в христианстве, но если можно тут что-нибудь знать и видеть, то видно и знано это было там в тес-

ной келейке в Оптиной, около маленького старичка в поношенном подряснике, хилого и веселого, покорливого и свободного...

IV. Греки бы назвали такого человека, как о. Анатолий: прекрасно-добрый.

Чтоб верно рассказать о нем, надо бы найти «прекрасно-доброе» и потому простое слово. Я никогда его не найду.

Я помню, летом 1912 года мы встретились с Белым на даче у Метнеров (стариков) в Перловке. Мы шли ржаным полем (высокая, высокая, стройная, желто-зеленая рожь с длинными усиками — и синие звездочки васильков, вбитые накрепко среди колосьев) — Э. Метнер, Белый и я — и говорили об Эллисе и его бегстве к Штейнеру. Э. Метнер, как всегда, был сдержан, гетеански корректен, джентльменски вежлив — в своих инвективах (его слова) на бегуна. Белый, наоборот, покрывал Эллиса «укусами в спину» нападал яро (и ярко!), утверждая, что пристойна только одна «софия» — «философия», все остальные «софии» непристойны, уверяя, что бегство от символизма в антропософию, с забвением строгих норм гносеологии,— это впадение в младенчество самого дурного стиля, и обвинял, что это — измена культуре.

Рожь колебалась лениво, мы шли, плескал где-то перепел во ржах, хотелось чаю, в разговоре не было ни одного момента драматизма. Он вылился в монолог Белого — блестящий, яркий — и немного напрасный в спокойных ржах: все были с ним согласны. Он собирался за границу, и пафос его был: «иду на Вы». «Вы» был Эллис.

Уехал.

А через малое время Эллис отрекся от антропософии (письмо ко мне в первой половине 1913 г.) и Белый стал строить «антропософический» храм...

Первую (встречу с Маяковским.— *Е. Л.*) я помню отлично. Она была, по-моему, в 1912 г.

Маяковского-поэта тогда никто решительно не знал.

Просто появилась в Москве желтая (полосатая:

желтое и коричневое или черное в полоску) кофта на очень высоком, плотном, плечистом, но худом молодом человеке (теперь бы сказали: парне) в очень плохих штиблетах на очень длинных ногах. Кофта эта замелькала, замозолила глаза там и тут — не на «Шаляпине», конечно, не в абонементах Художественного театра, не в филармонических собраниях: туда бы «кофту» не пустили! — а на литературных заседаниях, собраниях, в маленьких ресторанчиках, на левых вернисажах и т. п. Но Москва видывала всяких чудаков и равнодушна была ко всяким чудачествам. <...>

Свидетельствую: в 1912 г., вращаясь среди поэтов, больших и малых, работая в «Мусагете», где во главе был А. Белый, бывая постоянно в «Свободной эстетике»[18] и «Литературно-художественном кружке», не слыхивал я самой фамилии «Маяковский».

В «Своб[одной] эстетике», собиравшейся в Лит. Худ. кружке на Б. Дмитровке, в доме Вострякова, было какое-то исполнительное собрание, помнится, музыкальное,— чуть ли не романсы на слова Брюсова. Собирались в «Эстетике» не раньше одиннадцати. Так как «Эстетика» была «Брюсов» и так как Лит. кружок — директор был Брюсов, то для лакеев кружка вечера «Эстетики» были особо торжественны: это были сугубо *директорские* вечера, и они были сугубо блистательны, исполнительны, корректны. Ведь Брюсова-администратора — «кухмистера», по его собственному определению, так ценили даже литературные враги его (вроде Сумбатова, Бунина и др.), что, отложив в сторону литературные счеты, постоянно выбирали его в директоры Лит. Худ. кружка.

Когда я вошел в помещение «Эстетики», как всегда в сюртуке, первый, кого я увидал из знакомых, был Борис Садовский в сюртуке, в лаковых штиблетах, тонкий, изящный, обритый наголо — и немножко персонаж с бала из «Горя от ума» или с того бала, на котором Онегин увидел Татьяну. Он пожал мне руку и огорошил:

— Что это вы, С. Н.? В чем являетесь на вечер? (Он слегка подлаивал à la Брюсов, но мягче, тоньше, добрее.)

Я опешил:

— А в чем же, Б. А., являться? во фраке? Я не ношу фраков.

— Фраки и сюртуки уже устарели, С. Н. Вот в чем...

Он указал рукой.

Из соседней залы показался высокий (из числа таких высоких, которых дразнят московские мальчишки: «Дяденька, достань воробушка!») молодой человек в желтой кофте. Молодой человек явно не имел ни одного знакомого в толпе, наполнявшей залы. <...> Но все на него посматривали... как? недружелюбно? Нет, не думаю. А просто: глянут, улыбнутся, усмехнутся, перекинутся словом и продолжают свое дело. Москву трудно чем-нибудь поразить. Но в одних людях молодой человек вызывал живейшее беспокойство. В лакеях. В их положение я вник тогда же и от души их пожалел. Чинные, великолепно дисциплинированные, бесшумные, корректные, отличные выученики брюсовской школы, они были в явном недоумении и тоске, как быть с желтой кофтой? <...> Выведешь этакую кофту вон (а вывесть ее — так и чешутся честные, холеные, безукоризненные руки! лакейские фраки так и протестуют против вторжения наглой кофты!) — выведешь вон, а вдруг наживешь себе неприятность, накличешь взыск самого Валерия Яковлевича: а ну, как это только приятная «свободность» господ художников, эта самая желтая кофта? <...>

А молодой человек в кофте все слонялся и слонялся из угла в угол. Вероятно, невесело было ему слоняться... Кофту его все видели-перевидели, и каждый был сам по себе, а он сам по себе.

Исполнительная программа все не начиналась (в «Эстетике» всегда запаздывали: многие исполнители являлись после спектаклей и концертов, т. е. после 12). Мы с Садовским сели за столик, поджидая кого-то третьего, не то Нилендера [19], не то Анисимова.

Садовский отдавал приказания лакею. Молодой человек в кофте, завидев лысую голову Б. А-ча, зашагал к нам, будто чему-то обрадовавшись. Садовский пожал ему руку и продолжал наставления свои лакею, заказывая для себя, Анисимова и меня чай, бутерброды, пирожные.

— Маяковский! — рекомендовался мне молодой человек, очень скромно и отнюдь не громоподобно, усаживаясь за столик (ноги некуда было деть, руки тоже).

Лакей стоял спиной к нему и, когда сделал движение от столика, Маяковский что-то сказал ему вроде: «и мне тоже» или: «и мне чаю»... Я это слышал, а лакей не слышал и исчез, никак не отозвавшись на слова М-го.

Садовский обернулся к Маяковскому и с сильной нижегородской лукавинкой, щуря глаза, задал вопрос вроде:

— Ну, как дела?

Вопрос можно было бы и не задавать: дела юноши были явно плохи. Широкое лицо его было худо; черные брюки при ближайшем рассмотрении оказались в пятнах и подтеках, штиблеты упорно требовали «каши». А глаза... Очень трудно это объяснить. Я вспомнил почему-то слова Терезиты из «Драмы жизни» о голодном юноше, которому очень хочется есть «вкусное, вкусное, вкусное и которого так приятно дразнить, поводя его так по усам, чтобы в рот не попало».

«Какой он большой, длинный, длинный,— думалось, глядя на него,— и какой он голодный!»

То, что он говорил Садовскому — очень пристойно и обычно, без всякой «желтой кофты» в разговоре,— было нисколько не «футуристично», но очень «голодно». Он жаловался, что нигде не печатают ничего из его стихов и никто не хочет ничего издавать, а вот Брюсова издают. Жалобы эти — в разных вариантах — были скорее экономического, а не идеалистического характера. И у меня тогда же сложилось впечатление, что и «желтая кофта» — только псевдоним отсутствия сюртука, будь сюртук, пожалуй, не было бы и желтой кофты.

Садовский одобрительно отшучивался и, помнится, даже советовал пушкинским стихом:

— Пишите прозу, господа!

Лакей подал то, что заказывал Садовский: чай, бутерброды, печенье, пирожные. Анисимова все не было.

Мы стали пить чай. Маяковский пил и ел с голодным аппетитом: не чай пил, а ужинал чаем, пирожными, печеньем. Вероятно, он полагал, что третья порция — его заказ.

Раздался звонок к началу концерта. Садовский позвонил ложечкой. Подошел лакей — Садовский рас-

платился, дал на чай, и лакей сделал поворот с поклоном. Но Маяковский остановил его:

— А с меня сколько следует?

— С вас? — лакей покосился довольно неодобрительно на кофту.— С вас ничего-с не следует! — И исчез.

Садовский, не моргнув, комментировал:

— Брюсов велел кормить всех футуристов даром, чтоб они поменьше его ругали.

Мы трое пошли в зал слушать концерт.

ТЕТРАДЬ XIV

1932 г. Киржач

В его жизни (речь о М. Волошине.— *Е. Л.*) было сознательное исканье и, думается, обретение того, что Бодлер называл correspondances и чем Гете закончил вторую часть «Фауста». Он шел упорно к такому строю жизни и лиры, чтоб можно было сказать:

Жизнь и поэзия — одно.

У него был символизм действования — оттого в жизни его и в поэзии было много тех «касаний мирам иным», о которых повествуется у Достоевского. Для него ветка маслины была не только прекрасный предмет (или предмет прекрасного), не только художественный образ, но и символ — целый свет и прообраз бытия и действования. Каждую весну он присылал мне ящичек с цветущими ветками маслины. Он в жизни и в поэзии шел всегда — a realia ad realiora [1].

Ну, нет его. Надо приучить себя к этому слову «нет».

Нет, не верю. Нет, еще не верю.

(Н. К. Гудзию. *10.IX*)

Милый Константин Федорович!

Целая вечность прошла с тех пор, как я получил Ваше письмо.

За это время умер Макс.

Ваше письмо приготовило меня к его смерти. Я простился с ним, читая и переживая Ваше письмо, известие о его кончине только растравило, а не нанес-

ло рану. В печати — позорно мало: в «Известиях» только публикация Союза писателей, в «Лит[ературной] газ[ете]» статья, которую лучше бы заменить полным молчанием. Но в письмах, от всех решительно, кто даже и не знал Макса, глубокое сожаление, истинная и искренняя скорбь. Чувство у всех: похоронили последнего бесспорного поэта. Пишущие стихи (или мнящие, что пишут стихи) остались. Осиротел Коктебель. Просто перестал быть Коктебелем. <...>

Вы когда-то написали превосходную вещь «Воспоминания о Мантеньи[2]» которую доселе ношу в своем сердце и держу в своих глазах. Вот бы Вам, милый друг, написать такие же «Воспоминания и о Максе» — был бы запечатлен — в творческом единстве, его дух, его «любовь и радость бытия», покровом мечты и виденья распростертые над Коктебелем. Это был бы лучший памятник ему. Только Вы один во вдохновеньи и в силах построить его. Лик Макса — непреходящий, нетленный должен отразиться в этом любимом им лоне Матери земли. Когда-то Нестеров, бродя со мною осенью по абрамцевским лугам и перелескам, признавался мне, что, когда писал «Видение отрока Варфоломея», мечтал так написать, чтоб на картине клич отлетный журавлей слышался, а журавлей было бы не видно. Вот и Ваша такая задача: чтоб песни и думы Макса носились на горах, взгорьях и увалах коктебельских. Я горячо верю, что Вам это удастся, что Вы создадите чудесную картину, единственную по настроению, силе и красоте. За эти «Воспоминания о Максе Волошине» Вам земно поклонятся.

...Е. П. Нестерова[3] сказывала мне о Вашем свиданье с Михаилом Васильевичем и о том, что последний прямо влюбился в Вас.

А подарок Вами в день 70-летия приобрел исключительное, особое значение, независимо от того, что сам он прекрасен и очень понравился старику. Вы были *единственный* художник, который порадовал его подарком, да бедный Макс прислал ему акварель. <...> Вспомнили старика ученые, писатели, просто люди, но у художников память оказалась коротка.<...>

1932.28.IX (Богаевскому)

ПРИМЕЧАНИЯ

В РОДНОМ УГЛУ

Свои воспоминания («Записки» С. Раевского) Сергей Николаевич Дурылин начал писать в конце 1941 года. Война. Время тревожное, напряженное. Фашистские армии на подступах к Москве. Нарушена обычная жизнь, прервана литературная работа... «Настоящее и будущее было вмещено в сейчас: бросит ли бомбу на крышу нашего дома вот этот немецкий аэроплан? Прорвутся ли немцы вот к этому пункту, от которого рукой подать до нашего дома? И тогда от этого «сейчас» потянуло к прошлому, к его «прекрасному далеку»... Каково бы ни было «сейчас», что бы ни сулило близкое будущее, захотелось живой светлой встречи с отцом, с няней и опять с мамой (воспоминания о матери, о человеке, который был ему всего дороже в первые 30 лет жизни, Дурылин написал еще в Киржаче в 1930 году), захотелось прямой встречи с давно отцветшим детством, с отшумевшей молодостью — и я начал писать воспоминания» — так объясняет Сергей Николаевич появление «Записок» во вступлении ко II части, написанном в сентябре 1942 года.

Первоначальной главой воспоминаний Дурылин считает главу о кормилице, которую написал ранее воспоминаний о матери.

Отдельные главы — «Отец», «Няня Пелагея Сергеевна», «О хлебе насущном» — были закончены в начале декабря 1941 года.

Сохранился авторский план книги «В родном углу»:

I часть. «Родное пепелище» с главами «У Богоявления в Елохове», «О хлебе насущном», «Родной дом».

II часть. «Родные тени», куда входят главы «Бабушка и мама», «Отец», «Рождение. Кормилица», «Няня Пелагея Сергеевна».

III часть. «Гимназия» (главы «Французы и немцы», «Математики», «Батюшки», «Круглый год. Именины мамы. Рождество»).

По другому варианту плана последняя глава предназначалась для IV части «Праздники». Рассказ об учителях русского языка и словесности («Русские») в первоначальный план не входил и был написан лишь в феврале 1953 года.

В настоящий сборник включены I часть «Записок», две главы из II части и воспоминания об учителе русского языка А. Г. Преображенском.

Все главы даны с некоторыми сокращениями.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «РОДНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ»

Глава 1. У Богоявления в Елохове

[1] *Флетчер* Джайлс (ок. 1549—1611) — английский писатель и дипломат. В 1588—1589 гг. посол в России. Сочинение «О государстве русском» (1591) — одно из самых подробных сообщений иностранцев XVI века о России.

[2] *Тюрин* Евграф Дмитриевич (1795 или 1796—1872) — русский архитектор. По его проекту в 1830—1831 гг. перестроены дворец, манеж, въездные ворота в Нескучном (ныне здания Академии наук СССР). Собор Богоявления в Елохове построен в 1837—1845 гг.

Глава 2. О хлебе насущном

[1] Стихотворение Н. М. Языкова (1803—1846) «На громовые колодцы в Мытищах».

[2] *Садовский* Борис Александрович (подписывал свои произведения Садовской (1874—1952) — поэт-символист, литературный критик, прозаик, драматург. Тонкий стилист, знаток пушкинской эпохи, исследователь жизни А. Фета. Сборник «Самовар» вышел в 1914 г. в Москве в издательстве «Альциона».

[3] *Фофанов* Константин Михайлович (1862—1911) — поэт.

[4] Стихи Фофанова «Потуши свечу...» обращены к студенту А. Ф. Корнгольду, другу поэта, высланному в 1882 г. за вольномыслие из Петербурга в Вятскую губернию.

[5] *Московское археологическое общество* (1864—1922) — ставило целью изучение древностей России, охрану исторических памятников, проведение археологических раскопок. В обществе имелись комиссии: по сохранению исторических памятников (с 1876 г.), восточная (с 1887 г.), славянская (с 1892 г.), археологическая (с 1896 г.), по изучению старой Москвы (с 1909 г.). По инициативе общества в 1869 г. был созван первый археологический съезд.

[6] *Литературно-художественный кружок* (1898—1917) объединял главным образом художественную интеллигенцию Москвы. Наряду с артистами, художниками, писателями в него входили и журналисты, ученые, общественные деятели в основном кадетского толка. Собирались по вечерам, после спектаклей, чтобы отдохнуть, поужинать, послушать музыку, была и карточная игра. Взносы шли на обстановку, книги (по словам В. В. Вересаева, в кружке была прекрасная библиотека). Из взносов же помогали нуждающимся лицам, причастным к искусству.

Глава 3. Родной дом

[1] *Брюс* Яков Вилимович (1670—1735) — сподвижник Петра I, государственный деятель и ученый, один из наиболее образованных людей своего времени.

[2] Строки из 7-й главы «Евгения Онегина» Пушкина.

[3] *Вайя* — пальмовый лист; *мирро* — благовонное масло, церковное мирро приготовляется из деревянного масла с благовониями.

[4] Начало стихотворения К. Н. Батюшкова (1787—1855) «Мой гений».

[5] *«Нива»* (1870—1917) — популярный иллюстрированный еженедельный журнал «литературы, политики и современной жизни».

[6] *Якоби. Якобий* Валерий Иванович (1834—1902) — художник, один из первых стал писать каторжан, заключенных. С 70-х гг. писал «костюмные» сцены на исторические темы.

[7] *Зичи* Михаил Александрович (1829—1906) — венгерский рисовальщик и живописец.

[8] Поиски места, где родился Александр Сергеевич Пушкин, начались в первой половине прошлого века, и до сих пор еще высказываются новые предположения, подкрепляемые документами. Дело в том, что участок И. В. Скворцова, на который указывает С. Н. Дурылин и который официально считается местом рождения Пушкина, о чем свидетельствует бюст, поставленный в 1967 году в скверике против школы (Бауманская, тогда Немецкая, ул., 40), был приобретен Скворцовым через 50 дней после рождения Пушкина. С. Романюк доказывает на основании архивных документов, что владения И. В. Скворцова к маю 1799 г. находились на углу Малой Почтовой улицы (бывш. Хапиловская) и Госпитального переулка (см.: Романюк С. Где родился Пушкин // Московская правда. 1980. 14 сентября; Романюк С. Документы утверждают // Историко-краеведческий альманах «Куранты». М., 1983).

[9] *Иноземцев* Федор Иванович (1802—1869) — врач и общественный деятель.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РОДНЫЕ ТЕНИ

Глава 1. Бабушка и мама

[1] *Федотова* Гликерия Николаевна (1846—1925), драматическая актриса, на сцене с 1858 г., с 1863 г.— в Малом театре (с перерывом в 1870—1872 гг.). Народная артистка Республики, Герой Труда.

[2] *Ермолова* Мария Николаевна (1853—1928) — великая русская актриса, играла в Малом театре, первой получила звание народной артистки Республики (1920).

[3] *Никулина* Надежда Алексеевна (1845—1923) — драматическая актриса, с 1863 г.— в труппе Малого театра. А. Н. Островский создал для нее ряд ролей.

[4] *Дьяченко* Виктор Антонович (1848—1876) — драматург. Большинство пьес — бытовые мелодрамы. Его драматургия занимала значительное место в репертуаре театров.

[5] *Ленский* Александр Павлович (1847—1908) — театральный деятель, с 1876 г.— актер, с 1907 г.— режиссер московского Малого театра.

[6] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Похороны».

[7] *Садовская* Ольга Осиповна (1850—1819), великая русская актриса, в Малом театре с 1881 г.

[8] *Тальони* Мария (1804—1884) — итальянская танцовщица, выступала в Петербурге в 1837—1842 гг.

[9] *Лебедева* Прасковья Прохоровна (1839—1917) — с 1857 г. ведущая танцовщица московского Большого театра. В 1865 г. пе-

реведена в Петербургскую балетную труппу. В 1867 г. оставила сцену.

[10] Строка из стихотворения Жуковского «Воспоминание».

[11] *Империал* — русская золотая монета стоимостью 10 рублей, после 1897 г.— 15.

[12] Строки из 8-й главы «Евгения Онегина».

[13] *Плевако* Федор Никифорович (1842—1908/09) — знаменитый в свое время московский адвокат.

[14] Строки из поэмы Лермонтова «Демон».

[15] *Сологуб* (Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927) — поэт-символист, прозаик, драматург.

[16] *«Цветная триодь»* (церк.) — книга песнопений, содержащая службы от Пасхи до недели всех святых.

[17] *Гусев* Николай Николаевич (1882—1967) — историк литературы, секретарь Л. Н. Толстого.

[18] *«Добролюбовцы»* — последователи Добролюбова. Добролюбов Александр Михайлович (1876—1944?) — поэт-символист, религиозный проповедник, странник, выступал с проповедью покаяния, любви ко всем людям и животным. В 90-х гг. организовал секту «добролюбовцев». Последняя его работа «Из книги невидимой» вышла в 1905 г.

[19] *Картушин* Петр Прокофьевич (1880—1916) — знакомый и последователь Л. Толстого, затем А. Добролюбова. В 1906—1907 гг. финансировал издательство «Обновление», выпускавшее запрещенные цензурой произведения Толстого.

[20] *Штирнер* Макс (Каспар Шмидт) (1806—1856) — немецкий философ, проповедовавший идеи эгоцентризма, анархизма и индивидуализма.

[21] С. Дурылин. Церковь невидимого града. Сказание о граде Китеже. М., 1914.

[22] Конец стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья...»

Глава 2. Отец

[1] *Ирмос* (церк.) — вступительный или оглавный стих, показывающий содержание прочих стихов песни или канона. Церковное песнопение за всенощной.

[2] *Кондак* — краткая церковная песнь, прославляющая Христа, Богородицу или святых.

[3] *Акафист* — молитвенно-хвалебное песнопение, церковная служба, состоящая из этих песнопений.

[4] *Канон* — правило, установленное церковной иерархией, список книг.

[5] *Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891) — писатель, философ, критик, публицист.

[6] *«Русский вестник»* (1856—1905) — ежемесячный журнал, привлекал лучшие литературные силы (Достоевский, Лев Толстой, Лесков, Мельников-Печерский, Леонтьев).

[7] Автор имеет в виду жизненные реалии.

[8] Из оды М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,

[9] *Загоскин* Михаил Николаевич (1789—1859) — писатель, автор исторических романов.

[10] *Полевой* Николай Алексеевич (1796—1846) — журналист, писатель, историк.

[11] *Зотов* Рафаил Михайлович (1795/96—1871) — писатель и театральный деятель, участник войны 1912 г.

[12] *«Московский листок»* (1881—1918) — ежедневная московская газета. Основные ее отделы: «По улицам и переулкам», «Советы и ответы», «По городам и селам».

[13] *«Московские ведомости»* (1756—1917) — газета основана Московским университетом. С 1863 г., когда ее редактором вторично становится М. Н. Катков, она приобретает ярко выраженный реакционный характер.

[14] *Катков* Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист. Редактор газеты «Московские ведомости» (в 1850—1855 и 1863—1887), издавал и журнал «Русский вестник» (1856—1887).

[15] *Лорис-Меликов* Михаил Тариелович (1825—1888) — граф, русский государственный деятель.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГИМНАЗИЯ

Глава 1. «Русские»

[1] *Тихонравов* Николай Саввич (1832—1893) — литературовед, археограф, представитель культурно-исторической школы, академик Петербургской академии наук, профессор Московского университета.

[2] *Поливанов* Лев Иванович (1838—1899) — педагог, составитель школьных учебников и хрестоматий по русскому языку и литературе.

[3] *Миллер* Всеволод Федорович (1848—1913) — филолог, ориенталист, глава исторической школы, академик, профессор Московского университета, директор Лазаревского института.

[4] *Кулаковский* Платон Андреевич (1848—1913) — историк и филолог-славист.

[5] *Буслаев* Федор Иванович (1818—1897) — филолог, искусствовед, исследователь древнерусской литературы и устного народного творчества, изобразительного искусства Древней Руси, академик, профессор Московского университета.

[6] *Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879) — русский историк, автор «Истории России с древнейших времен» в 29 томах (1851—1879), профессор Московского университета.

[7] *Мамонтов* Савва Иванович (1841—1918) — промышленник и финансист, скульптор, певец, меценат.

[8] *Юс* — название двух букв славянской азбуки, обозначающих в старославянском языке носовые гласные. Юс большой обозначал «о» носовое, юс малый — «е» носовое.

[9] *Аорист* — название одной из форм прошедшего времени глагола, выражающей мгновенность и законченность действия (встречается в древнегреческом, церковно-славянском и других языках).

[10] *Остромирово Евангелие* — древнейший датированный памятник старославянской письменности. Переписан в 1056—1057 гг. с болгарского оригинала для новгородского посадника Остромира.

[11] *Горбунов* Иван Федорович (1831—1895) —рассказчик и актер, автор бытовых сцен из жизни городского мещанства и крестьян.

[12] *Успенский* Николай Васильевич (1837—1889) — писатель-демократ.

[13] *Шахматов* Алексей Александрович (1864—1920) — языковед, исследователь русского летописания, историк древнерусской литературы, академик, профессор Петербургского университета.

[14] *Востоков* Александр Христофорович (Остенек) (1781—1864) — языковед, поэт, один из первых исследователей старославянского и древнерусского языков, заложивший основы сравнительного славянского языкознания, академик.

[15] *Потебня* Александр Афанасьевич (1835—1891) — русский и украинский языковед и литературовед, академик, профессор Харьковского университета.

[16] *Корш* Федор Евгеньевич (1843—1915) — русский филолог, академик.

[17] *Соболевский* Алексей Иванович (1856/57—1929) — языковед, филолог, исследователь истории русского языка, издатель русских народных песен, академик.

[18] *«Этимологический словарь»* А. Г. Преображенского выходил в 1910—1916 гг. в двух томах. Окончание словаря вышло в «Трудах Института русского языка» (т. 1, М.; Л., 1949).

[19] *Ляпунов* Борис Михайлович (1862—1943) — языковед-славист, академик.

[20] *Фортунатов* Филипп Федорович (1848—1914) — языковед-индоевропеист, славист, академик, профессор Московского университета.

[21] *Ассеманово Евангелие,* точнее, Ассеманов или Ватиканский кодекс чтения Евангелия — один из самых важных памятников древнеславянской письменности глаголического письма XI века.

[22] *Саввина книга* — памятник древнеславянской (древнеболгарской) письменности кириллического письма. Ее относят к XI веку.

[23] *Супрасльская рукопись* — один из немногих древнейших и крупнейших памятников древнеславянского (древнеболгарского) языка и литературы. Перевод с греческого IX века. Найдена в Супрасльском монастыре бывшей Гродненской губернии.

В СВОЕМ УГЛУ

«В своем углу» назвал С. Н. Дурылин записки, которые с некоторыми перерывами вел с августа 1924 года по 1932. Все эти годы (с небольшим промежутком в 1924—1927 годах) он находился в ссылке. Челябинск, Томск, Киржач. Он оторван от друзей, от учеников, от постоянных собеседников, от книг. И в этих условиях тетради, листочки с записями — это действительно свой угол, куда в любой момент можно уйти от окружающей жизни, уйти со своими думами, тревогами, воспоминаниями. Обширен круг тем, заключенных в записки,— судьбы России, народа, русской культуры, вопросы религиозно-философские, литературные. И люди, люди — близкие и далекие, те, кто вошел в его жизнь из русской истории, литературы и занял прочное место в его сердце и мыслях, и те, кто шел рядом с ним, кого он любил, кем восторгался, с кем спорил. Раздумья, размышления, воспоминания, зарисовки современной жизни, пейзажи, письма его и к нему, если в них заключены важные для него идеи. Он вспоминает слу-

чаи, встречи из собственной жизни и рассказанные кем-то. Заносит сюда и мысли, вызванные той или иной книгой, письмом, статьей. И всегда это собственные мысли, не зависимые от чьих-либо суждений.

«Я все думаю о Лермонтове,— нет, не думаю, а как-то живет он во мне»,— записывает Дурылин в октябре 1924 года. В нем живут и Лермонтов, и Пушкин, и К. Леонтьев, и Тютчев. К ним неоднократно возвращается он на протяжении восьми лет.

Рукопись «В своем углу» состоит из 14 тетрадей, поделенных внутри на отдельные главки, иногда всего лишь в 3—5 строк, иногда в несколько страниц. Последняя, четырнадцатая, тетрадь состоит только из писем Дурылина к разным лицам.

Отрывки в сборник выбраны так, чтобы охватить круг вопросов и тем, волновавших Дурылина в те годы. В книге помещены всего три письма (с сокращениями) из этих тетрадей. Письмо к 100-летию Малого театра, адресованное Александру Ивановичу Южину-Сумбатову, актеру, писателю, в те годы директору Малого театра, как бы перекидывает мостик к позднейшим работам Дурылина. Письма к Н. К. Гудзию и К. Ф. Богаевскому свидетельствуют о месте, какое занимал в жизни Дурылина Максимилиан Волошин.

Тетрадь I

[1] *Авва* (церк.) — духовный отец, создатель, настоятель, игумен. Так называли Новоселова Михаила Александровича (1864—1940), преподавателя гимназии, последователя Л. Толстого; в 80-е гг. он организовал в Тверской губернии Толстовскую земледельческую колонию, сидел в тюрьме за распространение запрещенных произведений писателя. После отлучения Толстого от церкви отошел от него. Был издателем религиозно-философской библиотеки, у него на квартире собирались члены Религиозно-философского общества.

[2] *«Сокровище смиренных»* Мориса Метерлинка (1896) — книга философских этюдов, объединенных несколькими темами и единой, четко выраженной концепцией искусства и жизни.

[3] *Петя, Александр Добролюбов* — см. примеч. 18, 19 к главе «Бабушка и мама» («В родном углу»).

[4] *Штейнер* Рудольф (1861—1925) — немецкий философ-мистик, основатель антропософии.

[5] *Китеж, Кидиш* — город, упоминаемый в русских преданиях как ушедший под землю при наступлении татар. На месте его образовалось озеро. Избранные могут слышать колокольный звон, раздающийся из глубины озера. Место Китежа указывают приблизительно в 50 километрах от города Семенова Горьковской области.

[6] *Василий Васильевич* (далее В. В., Вас. Вас.) *Розанов* (1856—1919) — критик, публицист, писатель яркий, парадоксальный. Много внимания уделял религиозно-философским проблемам, выступал против официальной церкви, защищал свободное религиозное творчество. В жизни и творчестве Дурылина Розанову принадлежит значительное место. Не случайно так часто вспоминает его Сергей Николаевич в записках. Даже «остренький глазок» попал на эти страницы из «Уединенного».

[7] Цитата Пушкина приведена не точно. «Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке...» Из статьи «Баратынский», написанной, видимо, в октябре — ноябре 1830 г. в Болдине. Опубликована впервые в 1840 г. в «Сыне Отечества» (т. II, кн. 3).

[8] *Музей Александра III* — ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

[9] *Герье* Владимир Иванович (1837—1919) — профессор всеобщей истории Московского университета, первым из русских историков начал изучение истории нового времени. В 1872 г. учредил и возглавил Высшие женские курсы.

[10] *«Сумерки просвещения»* Розанова написаны в 1891 г., когда он был учителем прогимназии в г. Белом Смоленской губернии. Напечатана в 1893 г. в «Русском вестнике» в номерах за январь, февраль, март, июнь.

[11] *«Свободное воспитание»* (1907—1918) — журнал, отражавший идеи, тенденции передовой педагогики.

[12] *Метнер* Николай Карлович (1879/80—1951) — русский композитор и пианист, создатель жанра фортепианной сказки.

[13] *Пастернак* Леонид Осипович (1862—1945) — живописец, график, педагог, отец Бориса Пастернака.

[14] *Издательство «Мусагет»* (1910—1917) основано группой московских символистов. Редактором был Андрей Белый, редактором-издателем Эмилий Карлович *Метнер* (1872—1936), философ, критик. «Мусагет» издавал международный ежегодник по философии культуры «Логос» (1910—1914), журнал «Труды и дни» (1912—1916). Оба издания имели теоретический уклон, пытались дать философское обоснование символизма.

[15] *Южин* (Сумбатов) Александр Иванович (1857—1927) — актер, драматург, театральный деятель. С 1923 г. директор Малого театра, с 1926-го — почетный директор.

[16] *Кронеберг* Андрей Иванович (1814? — 1855) — критик, переводчик.

Тетрадь II

[1] *Фигнер* Вера Николаевна (1852—1942) — русская революционерка-народница, член Исполнительного комитета «Народной воли», 20 лет провела в Шлиссельбургской крепости.

[2] *Горбунов-Посадов* Иван Иванович (1864—1940) — педагог, издатель и литератор, последователь Л. Толстого, руководил издательством «Посредник», выпускавшим популярные книги по разным отраслям знаний.

[3] *Скабичевский* Александр Михайлович (1838—1910) — критик и историк литературы.

[4] *Вольнов* (Владимиров) Иван Егорович (1885—1931) — русский советский писатель.

[5] Цитата приведена не полностью. Следует читать: «Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл этого)». Из письма В. А. Жуковскому, написанного не позднее 24 апреля 1825 г. из Михайловского в Петербург.

[6] *«Urbi et orbi»* («Городу и миру») — сборник вышел в 1903 г.

[7] *Черняев* Николай Иванович (1853—1910) — его работа «Капитанская дочка» Пушкина «Историко-критический этюд» издана в 1897 г. в типографии Московского университета. Отдельными частями работа выходила в 1896 г. в «Русском обозрении» (№№ 2—4, 8—12). Дополнения и поправки к статье «Капитанская дочка»... в № 8 за 1897 г.

[8] Цитата приведена не точно: «Сиянье розовых снегов». (Пушкин. «Евгений Онегин».)

[9] *Евгения Сергеевна Ф.* — жена священника Иосифа Фуделя.

[10] *Лизавета Павловна* — жена К. Н. Леонтьева.

[11] *С. Н. Б.* — Сергей Николаевич Булгаков (1871—1944) — экономист, «легальный марксист», религиозный философ.

[12] *Кожевников* Владимир Александрович (1852—1917) — философ, поэт, биограф и ученик Н. Ф. Федорова, издатель его сочинений.

Тетрадь III

[1] *Суворин* Алексей Сергеевич (1834—1912) — журналист, издатель газеты «Новое время».

[2] В. Розанов «Среди художников». Спб., 1914.

[3] *Трубецкой* Евгений Николаевич (1863—1920) — русский философ, последователь и друг Вл. Соловьева, правовед.

[4] *Флоренский* Павел Васильевич (1882—1937?) — русский религиозный философ, ученый.

[5] *Александровы* — врачи в Сергиевом Посаде, наблюдавшие В. В. Розанова.

[6] *Голубцова М.* — художница.

[7] *Перцов* Петр Петрович (1868—1947) — литератор, искусствовед, редактор журнала «Новый путь».

[8] Румянцевский музей (дом Пашкова) был образован на основе коллекций и библиотеки графа Н. П. Румянцева. Существовал в 1862—1925 гг. Библиотека музея послужила основой Библиотеки имени В. И. Ленина.

[9] Правильное название статьи Толстого «Царство Божие внутри вас».

[10] Имеется в виду Суслова Аполлинария Прокофьевна (1840—1918), писательница, мемуаристка, первая жена Розанова.

[11] *Тютчев* Николай Иванович (1876—1949) — внук Ф. И. Тютчева, хранитель музея «Мураново».

[12] *Аксакова* Анна Федоровна (1829—1889) — дочь Ф. И. Тютчева, автор записок «При дворе двух императоров» (1928—1929).

[13] *Статер* — древнегреческая монета из золота или серебра.

[14] *«Ужели же та, вокруг которой вьюсь теперь, не последняя?»* — пишет Сергей Николаевич, имея в виду опору, которая так необходима ему в жизни. Записи 1926—1927 гг. говорят о тяжелом его настроении. Он вернулся из ссылки, дома нет, работы постоянной нет, недосчитался он и многих друзей — «иных уж нет, а те далече». Часто встречаем в рукописи слова о своей никчемности, негодности, а также о той, кто поддерживает его, кто укрывает от жарких лучей солнца, о той, кто, как «городской цветочек», пробившийся в узкую щель между камнями, расцвел и принес радость. Эти слова, эта благодарность относятся к Ирине Алексеевне Комиссаровой-Дурылиной (1900—1978), же-

не, другу Сергея Николаевича. Ирина Алексеевна, человек одаренный, незаурядный, с большим внутренним тактом, с чувством прекрасного, была его верной помощницей в каждом деле, надежной опорой и защитой в трудную минуту. Наделенная умным щедрым сердцем, она остро чувствовала, какая помощь нужна ему именно сейчас, в данный момент и отдавала все силы, чтобы помочь ему, поддержать его. Она готова была прийти на помощь не только Сергею Николаевичу, но и близким, и дальним.

В 1926 г. Ирина Алексеевна заболела, у нее нашли туберкулезные палочки, и по совету врачей она уехала на родину, в Смоленскую область. Ее отсутствие, беспокойство за нее усугубляли и без того тяжелое настроение Сергея Николаевича. Поэтому так много записей 1926—1927 гг. говорят о ней.

После смерти Дурылина Ирина Алексеевна много сделала для увековечения его памяти. Она собрала воспоминания о нем, добилась открытия в Болшеве библиотеки, носящей его имя, добилась издания его книг — «Нестеров», «Заньковецкая».

Тетрадь IV

[1] *Тернавцев* Валентин Александрович (1866—1940) — чиновник Синода, деятельный участник религиозно-философских собраний, впоследствии писатель.

[2] В работе «Восток, Россия, и славянство» (1885—1886) Леонтьев ратовал за объединение славянских земель, возрождение византийской культуры, в то время как официальная Россия отказалась от этой идеи.

[3] *Случевский* Константин Константинович (1837—1904) — поэт, прозаик.

[4] *Бруни* — не ясно, о ком идет речь: Лев Александрович (1894—1948), график и живописец; Николай Александрович (1856—1937) — живописец и педагог.

[5] *Чулков* Георгий Иванович (1879—1939) — поэт, беллетрист, драматург, критик и историк литературы, видный участник символистского движения.

[6] *Иванов-Разумник* Разумник Васильевич (1878—1946) — критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли, выразитель взглядов «неонародничества».

[7] *Страхов* Николай Николаевич (1828—1896) — публицист, литературный критик, философ, член-корреспондент Петербургской АН (1890), сотрудничал в журнале Достоевских «Время». Выступал с религиозно-идеалистическими воззрениями на мир, с неославянской доктриной. С 1871 г. близкий друг Л. Н. Толстого.

[8] *Говоруха-Отрок* Юрий Николаевич (1852—1896) — консервативный критик и публицист, сотрудник «Московских ведомостей», противник учения Вл. Соловьева.

[9] *Гершензон* Михаил Осипович (1869—1925) — русский историк литературы и общественной мысли.

[10] Из стихотворения Лермонтова «Поцелуями прежде считал...»

[11] Из названного выше стихотворения Лермонтова. Строка приведена не точно. Следует читать: «Как бы вечность им бросил мою!»

[12] *Ефрем Сирин* (конец IV — начало V в.) — один из учителей церкви, скорее оратор и поэт, сочинял молитвы, стихи, проповеди. Его сочинения еще при жизни переведены на греческий.

[13] *Минский* (Виленкин) Николай Максимович (1855—1937) — писатель-символист, в 1905 г. издавал большевистскую газету «Новая жизнь».

[14] *Волынский* Аким Львович (1863—1926) — литературный критик, искусствовед.

[15] *Шперк* Федор Эдуардович (1872—1897) — философ, поэт, критик. Видимо, под влиянием Розанова Шперк стал славянофилом, принял православие.

Тетрадь V

[1] *Оля* — Ольга Васильевна Пигарева, правнучка Тютчева.

[2] *Поэт — Гамлет* — имеется в виду Е. А. Боратынский (1800—1844).

[3] Неизданные произведения С. Н. Дурылина.

[4] Из стихотворения Боратынского «Смерть».

[5] Из стихотворения Лермонтова «Свиданье».

[6] *Пигарев* Кирилл Васильевич (1911—1984) — правнук Тютчева, исследователь его творчества, с 1949 г. директор музея «Мураново», литературовед и музеевед.

[7] *Иоанн Кронштадтский* (Сергиев Иоанн Ильич) (1829—1908) — священник, писатель, автор проповедей, бесед, поучений, пользовался широкой популярностью.

[8] *Шпет* Густав Густавович (1878/79—1946) — философ, эстетик.

Тетрадь VI

[1] *Соловьев* Сергей Михайлович (1885—1942) — поэт, прозаик, критик, племянник Вл. Соловьева.

[2] *Макс* — Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932).

[3] *Габричевский* Александр Георгиевич (1891—1968) — литературовед, историк искусства, доктор искусствоведения, переводчик.

[4] Из стихотворения З. Гиппиус (1869—1945) «Узел».

[5] *Разевиг* Всеволод Владимирович — рано умерший (1924) друг детства и юности С. Н. Дурылина.

[6] Из стихотворения Фета «В вечер такой золотистый и ясный...».

Тетрадь VII

[1] *Садовские* — семья русских актеров, творчество которых было связано с Московским Малым театром: Пров Михайлович (1818—1872), Михаил Провыч (1847—1910), его жена Ольга Осиповна, их дети: Елизавета Михайловна (1870—1934), Пров Михайлович (1874—1947).

[2] Речь идет о выпусках «Апокалипсиса нашего времени», задуманного В. В. Розановым как продолжение «Опавших листьев». Выпуск 1—10. Сергиев Посад, 1917—1918.

[3] Из стихотворения Алексея Константиновича Толстого (1817—1885) «В стране лучей, незримой нашим взорам...»

[4] Из стихотворения А. К. Толстого «Слеза дрожит...»

[5] *Гудзий* Николай Каллиникович (1887—1965) — историк литературы, профессор МГУ, член АН УССР, друг С. Н. Дурылина.

[6] *Остроумова-Лебедева* Анна Петровна (1871—1955) — гравер, живописец, литограф.

[7] *Сидоров* Алексей Алексеевич (1891—1978) — доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент АН СССР.

[8] Имеется в виду картина М. В. Нестерова «На Руси».

[9] Речь идет о Павле Дмитриевиче Корине (1892—1967).

[10] *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — писатель, критик.

Тетрадь VIII

[1] *Победоносцев* Константин Петрович (1827—1907) — государственный деятель, обер-прокурор синода, фанатический приверженец самодержавия.

[2] *Красин* Борис Борисович (1884—1936) — музыкальный деятель, композитор, этнограф, дирижер хора, педагог.

[3] *Богаевский* Константин Федорович (1872—1943) — художник.

Тетрадь IX

[1] Статья Л. Толстого «Царство Божие внутри вас» (1893).

[2] Следует читать: *Сутковой* Николай Григорьевич (1872—1930) — последователь Л. Толстого.

[3] *Хомяков* Алексей Степанович (1804—1850) — религиозный философ, поэт, публицист.

[4] *Леонтьева* Мария Владимировна (1848—1927) — племянница и наследница архива Константина Леонтьева, лучший знаток его рукописей. «Все важнейшие события внутренней и внешней жизни Леонтьева, его писательство и идейные блуждания сплетаются неразрывно с М. В. Леонтьевой»,— писал С. Н. Дурылин в комментариях к автобиографии К. Леонтьева (см.: Литературное наследство, т. 22—24).

[5] *Максимова* Татьяна Николаевна — компаньонка М. В. Леонтьевой.

[6] *Эллис (Кобылинский)* Лев Львович (1879—1947) — поэт, переводчик, критик из круга символистов.

[7] *Сиже*, «Сиже П.» (Маффе Ант. Авг.) — известный в то время портной.

[8] *Чертков* Владимир Григорьевич (1854—1936) — общественный деятель, издатель, друг Л. Н. Толстого.

[9] *Бирюков* Павел Иванович (1860—1931) — издатель, общественный деятель, автор четырехтомного труда «Биография Льва Николаевича Толстого» (1922—1923).

[10] *Иван Иваныч* — имеется в виду Горбунов-Посадов (см. примеч. 2 к Тетради II).

[11] *Трегубов* Иван Михайлович (1858—1931) — близкий знакомый Л. Н. Толстого.

Тетрадь X

[1] *Сютаев* Василий Кириллович (1819—1892) — крестьянин, основатель секции евангелистов в Тверской губернии.

[2] *Белоусов* Иван Алексеевич (1863—1930) — поэт, прозаик, переводчик.

[3] *Федоров* Николай Федорович (1828—1903) — русский философ, представитель русского космизма, автор «Философии общего дела».

[4] *Анисимов* Юлиан Павлович (1886—1940) — поэт, искусствовед, сотрудник Третьяковской галереи.

[5] *Морозова* Маргарита Кирилловна (1873—1958) — ученица Н. К. Метнера, общественная деятельница, жена крупного фабриканта М. А. Морозова, при ее участии и на ее деньги организовано издательство «Путь».

[6] *Эрн* Владимир Францевич (1881—1917) — религиозный философ.

Тетрадь XII

[1] *Энгель* Юлий Дмитриевич (1868—1927) — музыкальный критик, композитор, педагог.

[2] *Танеев* Сергей Иванович (1856—1915) — композитор, музыкальный теоретик, педагог, пианист, музыкальный деятель.

[3] *Черепнин* Николай Николаевич (1873—1945) — композитор, дирижер.

[4] *Катуар* Георгий Львович (1861—1926) — музыковед и композитор, профессор Московской консерватории.

[5] Из стихотворения Лермонтова «Ветка Палестины».

[6] *«Афеи»* — атеи — безбожники.

[7] *Варвара Дмитриевна* Бутягина (урожденная Руднева, 1864—1923) — вторая жена В. В. Розанова.

[8] *Имяславцы* — религиозная секта, возникшая в 1910—1912 гг. в православных монастырях Афона (Греция). Имяславцы считали, что, поскольку человек грешен, в молитвах он должен славить не Бога, а его имя. Были отлучены от церкви и сосланы в северные монастыри. После Октябрьской революции поселились на Северном Кавказе.

[9] Из стихотворения Лермонтова «Валерик». Разрядка С. Н. Дурылина.

Тетрадь XIII

[1] Строка из стихотворения Тютчева «Silentium». Разрядка С. Н. Дурылина.

[2] *С. Раевский* — псевдоним С. Н. Дурылина.

[3] *Бобров* Сергей Павлович (1889—1971) — поэт, переводчик.

[4] *Станевич* Вера Оскаровна (1890—1967) — переводчик, дебютировала как поэт в группе «Лирика», автор статей по теории перевода.

[5] *Никиш* Артур (1855—1922) — венгерский композитор, дирижер, педагог, музыкальный, общественный деятель.

[6] *Вюльнер* Людвиг (1858—1938) — немецкий драматический актер и певец. В 1910 г. выступал в России в концертах Кусевицкого.

[7] *Кусевицкий* Сергей Александрович (1874—1951) — контрабасист, дирижер, музыкальный деятель, основатель российского музыкального издательства, организатор «Концертов С. Кусевицкого», дирижер Бостонского симфонического оркестра.

[8] *Эттингер* Павел Давидович (1886—1948) — историк искусства, художественный критик.

[9] *Павлова* Каролина Карловна (1807—1893) — поэтесса, переводчица.

[10] *Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864) — литературный и театральный критик, поэт.

[11] *Кохановская* Н. (Соханская Надежда Степановна) (1825/1823?—1884) — писательница.

[12] *Саводник* Владимир Федорович (1874—1940) — историк литературы, был учителем словесности, писал стихи в символистском духе.

[13] *Виноградов* Георгий Семенович (1886—1945) — доктор филологических наук, друг С. Н. Дурылина.

[14] *Киреевский* Иван Васильевич (1806—1856) — религиозный философ, литературный критик и публицист, один из основоположников славянофильства.

[15] *Коля,* Чернышов Николай Сергеевич, ученик С. Н. Дурылина, художник, погиб на фронте Великой Отечественной войны.

[16] *Мокрицкий* Георгий Хрисанфович (? — 1919) — врач, писатель, на его фотографии С. Н. Дурылин написал: «Мой учитель в 1915—1916 г.»

[17] *Таня,* Розанова Татьяна Васильевна (1895—1975), дочь В. В. Розанова.

[18] *«Общество свободной эстетики»* (1907—1917) объединяло философов, литераторов, художников Москвы. Регулярно проводило доклады, музыкальные вечера, выставки.

[19] *Нилендер* Владимир Оттонович (1883—1965) — русский поэт, переводчик.

Тетрадь XIV

[1] *A realia ad realiora* (лат.) — от реального к более реальному.

[2] *Мантенья* Андреа (1431—1506) — итальянский живописец, гравер.

[3] *Екатерина Петровна Нестерова* (1879—1955) — жена Михаила Васильевича Нестерова.

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Николаевич Дурылин

В СВОЕМ УГЛУ:

Из старых тетрадей

Заведующий редакцией В. Пекшев
Редактор В. Акопян
Художник П. Сацкий
Художественный редактор И. Лопатина
Технический редактор Г. Бессонова
Корректоры З. Комарова, З. Кулемина

ИБ № 4795

Сдано в набор 24.10.90. Подписано к печати 28.03.91. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 18,45. Тираж 20 000 экз. Заказ 1284. Цена 4 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.


4 р. 80 к.